

ВРЕМЯ  
ИМЫ 148  
2000



НИНА КРАСНОВА  
ДЕВИЧИЙ ДИВАН

# ВРЕМЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

# и МЫ

ИЗДАЕТСЯ с 1975 ГОДА

Выходит один раз  
в три месяца

148  
2000

МОСКВА- НЬЮ-ЙОРК  
ИЗДАТЕЛЬСТВО ВРЕМЯ И МЫ

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ЖУРНАЛА  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

#### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ
ДМИТРИЙ БЫКОВ	ЛЕВ НАВРОЗОВ
(зам. гл. редактора)	ВОЛЬФГАН ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ДЖОН ГЛЭД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ВЛАДИМИР ДОБИН	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ	

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»  
129164, МОСКВА, ул. Кибальчича  
д. 2, корп. 4, кв. 85  
Тел.: (095) 286-96-45

Американское отделение журнала «Время и мы»  
409 Highwood Ave, Leonia,  
New Jersey 07605, USA  
Тел.: (201) 592-61-55

Израильское отделение журнала «Время и мы»  
Дизингоф 41/6. Тель-Авив,  
Израиль 64282, тел.: 03-620-07-96  
Заведующий отделением Ирина Фурман

По вопросам приобретения журналов обращаться:  
ООО издательство «Хроно пресс»  
121099, Москва, а/я 880  
Тел.: (095) 978-89-39, 978-49-16, 112-10-89

OCR и вычитка Давид Титиевский  
Библиотека Александра Белоусенко

#### СОДЕРЖАНИЕ

##### ПРОЗА

Виктор ПЕРЕЛЬМАН  
Откуда пошло наше славное «сегоднячко»?.....5  
Юрий РЯБИНИН  
Неизданная повесть.....17  
Владимир ФРИДКИН  
Два рассказа.....77

##### ПОЭЗИЯ

Товий ХАРХУР  
СТАССАТО.....101  
Нина КРАСНОВА  
Девичий диван.....113  
Комментарий к поэзии Нины Красновой.....124

##### ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, СВОБОДНЫЙ РЫНОК

Джордж СОРОС  
Кто потерял Россию?.....131  
Анна ГЕРТ  
Виноват не только Запад.....145  
Андрей НУЙКИН  
Есть ли в России частная собственность?.....147  
Владимир ШЛЯПЕНТОХ  
Некие странности перехода президентского правления.....165  
Игорь ЗОЛОТУССКИЙ  
Интеллигенция: роман с властью.....182

##### КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Вл. НОВИКОВ  
Невстреча с историей.....190  
Борис ХАЗАНОВ - Джон ГЛЭД  
Диалог о литературе в изгнании.....197

##### ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Владимир БАТШЕВ  
Дело Анатолия Кузнецова.....222

##### НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Н. БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА  
Дроби, мой гневный ямб, камень.....258  
А. БЕЛИНКОВ  
Свобода, которой угрожает смерть.....276

##### ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»

Живопись контрапункта.....286



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

## ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛО НАШЕ СЛАВНОЕ «СЕГОДНЯЧКО»!

*Историко-саркастическая драма в пяти киносюжетах,  
написанных по документам истории.*

### Сюжет первый

*Миф о Фанни Каплан и об историческом сортире, в  
котором замочим последнего чеченца*

(На фоне кадров из фильма «Ленин в 1918 году»)

Ведущий: В 1939 году, десяти лет отроду, мне случилось посмотреть исторический фильм Алексея Каплера «Ленин в 1918 году», в котором меня в самое сердце поразила сцена покушения эсерки Каплан на Владимира Ильича Ленина. Предательски укрывшись за машиной Ильича, Фанни Каплан, несмотря на свою незрячесть и окружающую темень, с первого выстрела из браунинга уложила вождя

революции. Наверное, я так бы и пронес до своего последнего дня эту душераздирающую сцену, если бы из западных источников не дошла до меня весьма неожиданная информация о том, что у этой горестной сцены, практически не было ни одного свидетеля (если не считать руки неизвестной, стрелявшей из-за машины), что чекист-комиссар Батулин задержал злодейку Каплан совсем не там, где стреляли в Ленина, что вместо браунинга у нее в руке был зонтик, что, полуслепая, она даже не могла разглядеть прохожих, а из-за гвоздей в башмаках не могла ступить и шагу и что первое, что она воскликнула, — «Это сделала не я!»

Но если не Фанни Каплан, то кто же в таком случае стрелял в Ленина? Факты говорят о том, что эсерка Лидия Коноплева! — заявляет профессор русской истории Тель-Авивского университета Борис Орлов в своем исследовании «Миф о Фанни Каплан», опубликованном во 2-м и 3-м номерах журнала «Время и мы». Итак, сущий пустяк, ничтожная описка истории: стреляла Коноплева, а казнили Каплан. О причинах и сути случившегося со всей пролетарской прямоотой поведала нам газета «Правда» в номере от 22 июня 1922 года: «Эсерка Каплан ранит товарища Ленина пулей, отравленной Рабиновичем..., — заявляет «Правда» — ...Рабочие пальцы крепко привязывают пальцы Гоцев и Гиндельманов к столбу вечног... несмываемого позора» «Не мы, русские, — продолжает эту светлую мысль Борис Савинков, — подняли руку на Ленина, а еврейка Каплан, не мы, русские, убили Урицкого, а еврей Кенегиссер...»

Не кажется ли вам, дорогие читатели, что все это мы уже проходили? Что ж, путь к нашему славному сегоднячку никогда не был усеян шипами, а все более сказками и мифами, в цепи которых миф о Фанни Каплан отнюдь не является единственным.

Давайте вспомним так и не ударивший никогда по Зимнему «Залп Авроры», зато открывший, под пером наших историков, эру Великого Октября.

Или 26 героев-панфиловцев, по утверждению Александра Кривицкого, голыми руками отбивших от Москвы трехмиллионную немецкую армаду.

Или так и не найденную современниками прославленную донецкую шахту, на которой в годы комсомольской юности трудился Никита Сергеевич Хрущев.

Или теперь уже всем нам родной, легендарный сортир, в котором замочим, наконец, последнего чеченца. С мечом пришел — от меча, террорист, и погибнешь! А ведь указанный родной сортир это уже не история, а наше славное, неумирающее сегоднячко; воистину мы рождены, чтоб сказки сделать былью!

## Сюжет второй

*Историческая четвертушка. «Ленин-Бланк в Цюрихе» и историографический подвиг Мариэтты Шагинян*

Роман «Ленин в Цюрихе» Солженицына, пишет знаменитый историк Борис Суварин, словно на трех китах, роман стоит на трех легендах. Миф опломбированном вагоне (который тайно доставил Ильича в Россию). Миф о германском золоте (на которое Ленин и большевики свершили Октябрьскую революцию). И, наконец, самый интригующий миф — о текущей в жилах вождя четвертушке еврейской крови.

Не из-за этой ли злосчастной исторической четвертушки 83-летний Борис Суварин и взялся за критику романа Солженицына, который, по его словам, приписывает главному действующему лицу книги свое собственное возбуждение, При каждом удобном и неудобном случае всегда хладнокровный Ленин из-за этой (будь она неладна!) четвертушки испытывает то, что Виктор Гюго называл «бурей под черепом». Именно она, эта треклятая четвертушка, по-видимому, и вызвала, с точки зрения Солженицына, Октябрьскую революцию. И тут, кажется, самое время нам обратиться к истокам и вспомнить писательницу Мариэтту Шагинян, которая в своей историографической работе, посвященной семье Ульяновых, обнаружила «вещественные доказательства» еврейского происхождения матери Ленина. (После чего московские остряки с упорством, достойным лучшего примене-

ния, стали называть вождя революции не иначе, как Ленин-Бланк.) Что касается Мариэтты Шагинян (которую Никита Сергеевич Хрущев в ответ на ее заявление, что в Тбилиси пропала копченая колбаса, назвал старой перечницей, так и сказал: «А ты молчи, старая перечница!»), — так вот, благодаря этой четвертушке, писательница Шагинян, кажется, на века обессмертила свое пронзительночестное имя.

Я долго думал, как мне в моей киноленте «проиллюстрировать» это сделанное ею открытие века, пока не вспомнил, как один мой знакомый, комсомолец 20-годов рассказывал о симпатиях известной советской писательницы к бригадам коммунистического труда. Было это еще в пору сталинских пятилеток, когда Мариэтта Шагинян содала свою бессмертную «Гидроцентрально», герои которой в своем труде следовали исключительно славным заветам Ильича. (Об этом, кажется, упоминал в свое время и достославный журнал «Советские профсоюзы», где по причинам, каким-то боком связанным с открытием Мариэтты Шагинян, оказался я в те славные годы.)

В связи с чем, следуя стилю художников-дадаистов, я нарисовал в своем сознании художественное полотно, на которое переместил Мариэтту Шагинян из ее писательского кабинета (где она открыла историческую четвертушку) на коммунистический субботник (где она вместе с Ильичом несла на своих слабеющих плечах историческое ленинское бревно). (В кадре — Ленин в депо «Москва - Сортировочная».)

По лицу Мариэтты Сергеевны текут капли пота. В глазах стоят слезы физических мук, доставляемых ей тяжестью ленинского бревна. О чем она так сосредоточенно думает? Не о том ли, какая на самом деле течет кровь в ленинских жилах, что он решил погнать ее, старую больную женщину, на коммунистический субботник? Или, может быть, о том, что, в некотором смысле, поспешила с открытием века? Но висевший над ней кумачовый девиз приободрил ее: «Лучше вкалываешь сегоднячка — больше получишь завтрачка» — и, вдохновленная гениальностью этих слов, она легко вскинула ленинское бревно и понесла его дальше. А я с облегчением подумал: воистину наше революционное сегоднячко, всегда с нами!

## Сюжет третий

*Роман 25 писателей «Большие пожары», или Россия, которую мы обрели.*

В кадре — взятая с передней и задней обложки 79 номера «Время и мы» серия документальных фотографий 25 авторов романа: Алексей Толстой, Леонид Леонов, Вениамин Каверин, Михаил Зощенко, Вера Инбер, Исаак Бабель, Борис Лавренев, Константин Федин, Михаил Слонимский, Владимир Лидин... будто все советские классики разом решились испытать свои великолепные перья.

Ведущий (на фоне охвативших г. Златогорск и всю Россию пожаров). В 1927 году, через десять лет после революции, Михаил Кольцов разослал группе из 25 писателей предложение написать коллективный роман, отражающий пафос новой социальной жизни и обладающий занимательностью детектива.

Самым занимательным было то, что перед написанием этой детективной эпопеи (беспрецедентный опыт в мировой литературе!) ее коллективные авторы не нашли даже нужным встретиться, не говоря уже о том, что не выработали никакого сюжета, никакой фабулы, все было пущено на самотек. Единственно, о чем договорились, была тема, да еще, пожалуй, заголовок романа «Большие пожары».

Первую главу «Станный вечер» написал Александр Грин, затем передал ее Льву Никулину, который свою главу назвал «Больная жемчужина», ее продолжил Алексей Свирский в главе «Петька Козырь из Стругалевки», Новиков-Прибой написал «Страшную ночь», Николай Ляшко «Сарочку Мабель», а Михаил Кольцов «Прибыли и убытки». На одном дыхании, передавая рукопись друг другу, они писали о поджогах, совершаемых в стране, о переделах собственности, о коррумпированных соваппаратчиках, об уголовных авторитетах и правящих в стране мафиях, о заказных убийствах и тайных сделках преступников с правоохранительными органами. Воистину это была штука посильнее «Фауста» Гете!

...Я думаю, что если бы авторы, ставшие в большинстве своем жертвами 37-го года, дожили бы до наших дней и окинули взглядом сегодняшнюю Россию, они были бы просто потрясены созданным ими детищем, ибо, сами того не сознавая, сотворили удивительно точный образ сегодняшней России, которую своими глазами никогда не видели. Это было чудо литературы. И тот же Станислав Говорухин, если бы задумал поставить по их роману киноэпопею (вослед созданному им фильму «Россия, которую мы потеряли»), мог бы назвать свое новое плотно «Россия, которую мы обрели», вынеся в титры название нашей исторической кинодрамы «Откуда есть пошло наше славное сегоднячко?» И вслед за Михаилом Кольцовым мог бы он от имени всех 25 авторов заключить: «Продолжение событий читайте в газетах, ищите в жизни, не отрывайтесь от нее, не спите. Большие пожары — позади. Великие пожары — впереди!»

## Сюжет четвертый

### *Исповедь Виктора Х и наше «сексуальное сегоднячко»*

Перед зрителем кадры из кинофильма Стэнли Кубрика «Лолита».

Ведущий: «Исповедь Виктора Х, русского педофила» ...Так озаглавлено эссе, принадлежащее перу Дональда Рейфилда, профессора литературы Квин Мэри колледжа в Лондоне. На первый взгляд, это эссе имеет весьма отдаленное отношение к теме настоящего сериала: «Откуда есть пошло наше славное сегоднячко?» Чтобы избавиться от сомнений, зададимся вопросом, кто же такой Виктор Х и какое он вообще имеет к отношению к нашему времени? По словам автора эссе профессора Рейфилда, это совершенно реальное лицо, выходец из России, который в 1912 году написал свою сексуальную автобиографию — одно из самых искренних и захватывающих свидетельств своего времени.

Все откровения автора о детстве, о России, об Италии, о греховности были не вздорными измышлениями циничной фантазии, а подлинным документом, который, по-видимому, и привлек внимание пионера сексуальной психологии Хавелокка Эллиса. Американские издатели Х. Эллиса предупредили ученого, что включение в «Исследование психологии секса» подобного материала может помешать выходу в свет его многотомного исследования. Видно, поэтому «Исповедь Виктора Х.» и была напечатана мелким шрифтом, безо всякой редакторской правки и к тому же помещена в приложении к самому невинному шестому тому Эллиса, посвященному сексуальной жизни в период беременности. Таким образом, этот интереснейший материал долгие годы оставался неизвестным современникам.

Как сообщает нам далее профессор Рейфилд, автор дневника не выставляет себя сексуальным гигантом, не прибегает в своих описаниях к обычным порнографическим штампам, но неизменно и не без оснований гордится своим интеллектом. Помимо родного русского, он владеет французским, итальянским, украинским языками, знает латынь и древнегреческий. Предрасположенность Виктора к девочкам далеко не страсть извращенца, видящего в нимфетках еще один источник наслаждений. Его исповедь - это не история болезни, а искренний человеческий документ, полный страдания и обращенной на себя критики. Место этой исповеди — среди оригинальнейших литературных произведений двадцатого века.

**«Мне около сорока. Последние восемь-девять лет я предаюсь безудержному сладострастию. Все эти годы я испытывал физическое наслаждение, но был глубоко несчастен. Я вынужден расстаться с женщиной, которую любил, и потерял надежду обзавестись семьей. По воле случая я жил самым вздорным образом, хотя был рожден — я в этом убежден — для спокойной моногамной жизни. Я заразился венерической болезнью, которая причиняла мне невероятные страдания как физические, так и моральные. Я стал онанистом. И это при том, что с детства больше всего на свете я боялся венерических болезней и онанизма. Я стал жертвой постыдных и жалких страстей. С тех пор, как я утратил целомудрие, здоровье мое расстроилось. Нервы на пре-**

деле. Меня мучат кошмары и бессонница. Даже секс стал для меня не более, чем стимулом к мастурбации. Я презираю самого себя. Жизнь моя бесцельна, я утратил интерес к чему-либо дельному, порядочному. Свои обязанности по службе я выполняю совершенно равнодушно. Мне все труднее и труднее работать добросовестно. То, что раньше давалось мне легко, ныне стоит мне мучительных усилий. Будущее кажется мне все мрачнее...»

В этих страданиях и тонком интеллектуализме просматривается много общего между Виктором Х и Набоковским Гумбертом Гумбертом, любителем нимфеток, и автобиографом, от лица которого написан роман «Лолита». Не потому ли у профессора Рейфилда не остается никаких сомнений, что набоковская «Лолита» своей темой, сюжетом, причудливой чувственностью во многом обязана Виктору Х., который и стал главным прототипом героя романа.

С другой стороны, исповедь Виктора Х представляет нам уникальную возможность ознакомиться изнутри с русским отношением к сексу, равно как и с моралью и нравами России конца 19 и начала 20 века.

**«Европейцы практически не представляют, насколько образованные классы России нерелигиозны и атеистичны. О России судят по таким исключительным фигурам, как Толстой и Достоевский. Между тем, их мистицизм, их христианство абсолютно чужды просвещенным слоям России. Женщины в нашей стране столь же не религиозны, сколь и мужчины. Мы, русские, не можем постичь, как образованные люди в Западной Европе, и прежде всего в Англии, могут настолько серьезно относиться к религии... Для нас удивительно, как разумный и порой образованный англичанин может ходить в церковь и выслушивать плоские и банальные проповеди. Разве мы можем допустить мысль, что религия необходима и неистоцима, если все наше образованное общество, цвет нации, миллионы индивидуумов живут, не чувствуя ни малейшей нужды в вере? Общепринятые нормы не слишком согласуются с российской этикой. Даже самые добродетельные дамы высшего света имеют весьма размытые представления о сексуальной морали и не в состоянии уразуметь, почему кто-либо может неодобрительно относиться к слабостям прекрасного пола. В России незамужняя мать не опускает глаз в**

**чем-либо присутствию. Ее всюду принимают, и она, если возникает необходимость, говорит, что она незамужем и что у нее есть ребенок».**

Естественно, на это нам могут возразить, что все это уже далекое прошлое, не имеющее никакого отношения к сегодняшнему дню. Ах, не будем забывать о связи времен, о том, что наше завтречко — хочется нам того или нет — уходит своими корнями в сегоднячко, а сегоднячко... впрочем, не буду продолжать, мысль эта и без того ясна.

В связи с этим есть смысл сослаться на недавнее исследование американского социолога Владимира Шляпентоха, озаглавленное «Россия и Моника Левински». Автор пытается выяснить состояние сексуальной морали в современной России по сравнению с Соединенными Штатами Америки.

(Голос ведущего на фоне одной из пленок, демонстрирующей интимные отношения Клинтона и Моника, другая пленка представляет сцену, в которой главным лицом является человек, очень похожий на генерального прокурора Скуратова)

Согласно социологическим опросам, на которые ссылается профессор Шляпентох, 90 процентов россиян поражены самим фактом возникновения в Америке «Моникагейта», поскольку супружеские измены в России уже давно воспринимаются как норма жизни. Постсоветский период, — продолжает социолог — принес с собой мощную волну сексуальной вседозволенности, которая, как мы помним, была противна натуре Виктора Х, так же, как она противна христианским воззрениям большинства жителей Запада.

Однако не станем впадать в крайности и лицемерие. Мы живем в свободном мире. И если наших соотечественников устраивает их «сексуальное сегоднячко», то и пусть их! Вряд ли есть смысл оспаривать их право жить так, как им хочется.



## Сюжет пятый

*Поэт и друг поэтов. Поэтическая драма сталинского «Пророка» с точки зрения Зигмунда Фрейда.*

«А ну-ка, Апостолов, назови нам десять сталинских ударов».

«Как подчеркивает величайший полководец всех времен и народов...» — начинает мой одноклассник, ученик 9 «А» Апостолов.

«Миру и без нас с тобой известно, что товарищ Сталин — величайший полководец всех времен и народов и он в твоих комплиментах не нуждается... — сердито прерывает Апостолова наш учитель истории Сергей Михайлович. — Я бы на твоём месте поскромнее был!»

Как я понимаю, мой одноклассник Апостолов явно недооценивал всей многогранности сталинского гения, например, что помимо полководческих талантов, он еще был гением в области языкознания и, что уж вовсе было неведомо бедняге Апостолову, был наш великий вождь еще и лирико-романтическим поэтом, чье стихотворение «Утро», начиная с 1916 года и чуть не по наши дни печаталось в сборнике «Деда Этна» — грузинской «Родной речи», считавшейся во все времена кладезем народной мудрости.

Впрочем, в отличие от выскочки Апостолова, товарищ Сталин, все-таки не решился объявить себя величайшим поэтом всех времен и народов (ограничившись своей исторической ролью в развитии языкознания). Хотя если бы захотел, то смог бы, он все бы смог, если бы только повел бровью.

Так, в другой публикации уже упомянутого профессора Рейфилда помимо стихотворения И. В. Сталина «Утро» приводятся стихи «Луне» и «Пророк»

Ходил он от дома к дому  
Стучась у чужих дверей  
Со старым дубовым пандури  
С нехитрой песней своей...

По мнению одного марксистского исследователя, молодой Сосело здесь не более не менее как развивает традиции М. Ю. Лермонтова — тот же накал эмоций, та же затаенная тревога. Впрочем, чуть ниже прежняя тень тревоги сменяется маниакальным убеждением, что великих пророков ожидает лишь травля и убийство, (правда, пока еще непонятно, кто кого готовится убивать).

Но вместо величия и славы  
Люди его земли  
Отверженному отраву  
В чаше преподнесли

И неясно пока, кто кому будет подносить отраву? И отчего эта тема так волнует молодого Сосело? Кажется, что подобные поэтические откровения (особенно, если к их истолкованию привлечь Фрейда) говорят о характере великого вождя куда больше, чем все его бессмертные речи на многочисленных съездах и пленумах родной коммунистической партии.

Однако в некоторых поэтических способностях, по мнению все того же исследователя, товарищу Сталину не откажешь. С этим можно соглашаться, а можно и не соглашаться. Но как часто, выросши под сенью бессмертной марксовской философии, мы не замечаем роли случайности в истории! И то ведь правда: если бы инспектор духовной семинарии не засек юного Сосело с книгой Виктора Гюго, то Грузия возможно обрела бы еще одного поэта-романтика, а Советский Союз заделался бы жертвой троцкистско-бухаринских двурушников.

Но эта уже другая тема, а пока заметим, что И. В. Сталин навсегда сохранил интерес к сфере своего юношеского увлечения, отдавая весь жар души своим коллегам по поэтическому цеху. Без связи с поэтами он просто не мыслил своего существования. Вспомним хотя бы его телефонный звонок Пастернаку, когда он пытался выяснить, что думает последний об аресте Мандельштама, вспомним его трогательную любовь, например, к Ахматовой и Лозинскому. Правда, его страсть к поэтам иногда принимала своеобразные формы, доказывая то неоспоримое

положение, что от любви до ненависти всего один шаг. (Свидетельством сему служит то, как кончили свою жизнь сердечные сталинские друзья поэты Лозинский, Тициан Табидзе, жена Галактиона Табидзе, Паоло Яшвили ).

В течение всей жизни И. В. Сталина не прекращала интриговать сфера его поэтических увлечений. Его возвышенная, поэтическая натура «Пророка» наложила отпечаток на всю нашу эпоху. Пусть и прозаично наше сегоднячко, зато сколько счастья, любви и поэзии вдохнул он в своих соотечественников в свое время! И не потому ли многие из них с такой любовью и гордостью выходят с его портретами на демонстрации. Истинные поэты бессмертны (а если они к тому же и величайшие полководцы всех времен и народов...), к ним, как сказал другой поэт — А.С. Пушкин, — не зарастет народная тропа — никогда! Ни вчера, ни сегоднячка, ни завтрачка! И не случайно самая оптимистическая песня страны Советов начинается с названия упомянутого выше стихотворения товарища Сталина «Утро». Помните, «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...»

Я сам всю свою сознательную жизнь вскакивал с постели именно под эту песню, а когда узнал, что это было не простое, а сталинское «Утро», то стало для меня во сто крат яснее и зримее, откуда есть, пошло наше славное сегоднячко.



Юрий РЯБИНИН

## НЕИЗДАННАЯ ПОВЕСТЬ

Право, не думал я поехать когда-нибудь в это тридцатое, в эти унылые места, в которые и едут-то чаще не по доброй охоте.

Впрочем, и мое путешествие в Лосинообинск было для меня негаданным, и поехал я туда без особенного энтузиазма.

Местное книжное издательство затеяло выпускать серию книг прозы молодых сибирских писателей. Серией своей они подобрали название, которое едва ли можно понять без мифологического словаря — «Гиперборейные берега». Ну, да это их дело. Недоумение и даже поначалу некоторое смущение вызвало у меня то, что я вдруг был назван молодым сибирским писателем. Первым делом я подумал, что вышла какая-то ошибка. Я родился в Москве, живу здесь, прописан. А тут: сибирский писатель. Странно это. Но оказалось, никакой ошибки нет. Они как-то узнали, что в свое время я заочно учился в аспирантуре Лосинообинского университета и в течение четырех лет периодически туда приезжал, чтобы исполнять

обычные в этих случаях формальности. О том, как я оказался в Лосинообинском университете, история малоинтересная, не имеющая отношения к этому повествованию. Почему и рассказывать её нет необходимости. Но, признаться сказать, я всегда тяготился посещениями Лосинообинска, ехал туда, будто в каторгу. И по окончании аспирантуры наибольшею для меня радостью была не степень кандидата истории, а отсутствие необходимости впредь приезжать в эту дыру. Но добрые издатели видимо решили, что альма-матер воспитала меня патриотом их края. Оттого и зачислили в сибирские писатели.

Вначале мне позвонили по межгороду и радостным криком довели до сведения, что я *поставлен* в какой-то там их план. Тут же они меня стали так восторженно поздравлять, словно после выхода этой книги в свет у меня будет только один путь — в Стокгольм, за премией.

Через некоторое время мне прислали объемистый пакет со множеством бумаг, которые я должен был заполнить, оформить, подписать и выслать обратно, что я и сделал.

Наконец, мне позвонили еще раз и уже пригласили в Лосинообинск для ближайшего участия в издании. Дорожные издержки, по их словам, не должны были меня беспокоить, равно как и иные расходы в этот период. Кроме того, понизив и уластив голос, что всегда означает переход на конфиденциальность, мне пробубнили в ухо о ждущем меня *маленьком празднике*, который издательство устраивает для группы авторов *в живописных таежных местах*. И для возбуждения во мне большего интереса к этому пасторальному мероприятию еще добавили, что там будет А. и, может быть, Б. Как бы, наверное, я их огорчил и даже, пожалуй, обидел, если бы сказал, что от частых опротивевших встреч с А., Б., В., Г. и далее по алфавиту у меня уже рябит в глазах. Но я не стал этого говорить.

Собирался я по своему обыкновению довольно долго. Несколько дней кряду посреди моей комнаты на полу лежал большой мягкий чемодан, с которым я ездил в Лосинообинск еще по делам аспирантуры. Я ходил возле него часами и раздумывал, что бы еще положить, хотя по

своему аспирантско-заочному опыту наверно знал, что значительная часть утраченных в чемодан вещей останется невостребованной и только даром со мною прокатается. Помню, однажды я взял с собою путеводитель по Москве. Мне казалось, что в ностальгические минуты путеводитель будет умерять мои страдания напоминанием о родных пенатах. Но сколько я тогда был в Лосинообинске, я так и не достал ни разу путеводителя из чемодана. А в припадке тоски просто валялся в общежитии на раскладушке и смотрел в потолок.

Вот и теперь я был целиком поглощен собиранием и компоновкой багажа. Я укладывал и многократно перекладывал в поисках оптимального их размещения свои рубашки, джемперы, брюки, белье, домашние туфли, туалетные принадлежности, всякие свертки, кулечки и другие необходимые вещи. Особую статью моего багажа всегда составляли книги. Не знаю уж отчего, но у меня выработалось устойчивое представление, что в долгой дороге, под размеренный стук колес, чтение делается более вдохновенным занятием, нежели при других условиях. И хотя опыт постоянно опровергал это представление, доказывая мне, что дорога ничуть не способствует восприятию печатных текстов, потому что бегущий за окном пейзаж от самого вокзала начинает бороться с книгой за мое внимание и неизменно побеждает, а в темное время суток шушуканье или кряхтение соседей по купе интересует меня больше самого занимательного романа, несмотря, повторяю, на этот опыт, отправляясь в путь, я всякий раз иллюзорно представляю, что теперь-то я начитаюсь вдоволь, поэтому и беру с собою книг побольше.

Я положил в чемодан том Достоевского, стихотворения Батюшкова, сборник «Романсеро», избранное Колетт, Октава Мирбо, Новый Завет, журналы «Грани» и «Мулета», «Историю античной литературы».

Немного погодя я выбросил «Античную литературу». Ну ее! Я и прежде неоднократно пытался изучить эту книгу, но, увы, всё безрезультатно. Никак не удавалось мне уяснить все эти мелики, алкеевы строфы и прочее. Пожалуй, только раздел о фаллических шествиях как-то еще

отложился в моей голове. Во всяком случае, я живо представлял себе эту картину. Вместо антички в чемодан лег альбом «Памятники архитектуры Молдавии». Не помню точно, по какому случаю я его приобрел несколько лет тому назад, но так до сих пор и не удосужился исследовать альбом основательно, а ограничивался лишь беглым просмотром иллюстраций. И вот, наконец, настал его черед. Теперь-то я буду знать памятники архитектуры этого дивного уголка не хуже любого молдаванина. Времени для этого у меня предостаточно.

Мучаясь сомнениями, я сделал еще несколько витков вокруг чемодана. И вынул из него Новый Завет. Вагонная полка не место для чтения этой книги, рассудил я. Такого рода литературу надо читать в уединении, в тиши кабинета, может быть, даже вслух. А при свидетелях, хотя бы это были и близкие люди, вслух читать как-то не совсем удобно. К тому же это дополнительная забота: мало того, что сам едва понимаешь нелегкий, в общем-то, для восприятия библейский текст, еще необходимо радеть и о слушателях, чтобы и для них декламация моя была доступной. А если, не приведи Господь, они еще будут что-то переспрашивать, то и дело просить объяснений и комментариев, то и вовсе беда. Одним словом, чтение этой книги в дороге я нашел занятием положительно не соответствующим обстановке.

Потом я совершенно справедливо усомнился в возможности прочитать французов за время пути и выбросил их вон из чемодана. Вслед за ними полетели вон «Грани» и «Мулета», в которых, в сущности, не было ничего замечательного, кроме качественной европейской печати на изумительной бумаге. Но зато я взял три переплетенных воедино, *стреноженных*, как я шутил, номера «Вопросов философии», в чем впоследствии сильно покаялся, поскольку так и не прикоснулся ни разу к этому фолианту ни в дороге в Лосинообинск, ни в обратном пути, ни тем более в самом Лосинообинске.

Не скажу наверно, случилось ли в какой-то момент в голове моей счастливое прозрение или, напротив, счастливое затмение, в любом случае мне очень повезло, потому

что в результате я выложил из чемодана «Памятники архитектуры Молдавии». И благодарил потом за это судьбу.

Дольше других отказников продержался в чемодане сборник «Романсеро». Это было симпатичное миниатюрное подарочное издание. До такой степени симпатичное, что его не столько читать хотелось, сколько любоваться им, с благоговением держа в руках и нежно поглаживая переплет и атласные странички. И не взял я эту чудокнигу только потому, что вдруг усомнился в санитарно-гигиеническом состоянии отечественного подвижного состава. Лучше, подумал, не рисковать.

Итак, в Лосинообинск со мною поехали Достоевский, Батюшков и *стреноженные* «Вопросы философии». А прочитал за всё время путешествия я только «Подростка». И то не до конца. Потом дочитывал в Москве. Что же касается Батюшкова, то, к счастью, он был невелик размером и совсем меня не стеснял.

Здесь я хотел бы попросить особенного внимания, ибо должен сообщить о немаловажном обстоятельстве, сопутствующем мне в поездке. Я не один поехал в Лосинообинск. Я поехал туда с женой. Прошу не подумать, что я уделяю внимание жене после рассказа о содержимом моего чемодана с расчетом показать её — жены — второстепенность в своих интересах. Как раз, напротив, я и разделался-то прежде с предметами малозначительными, чтобы рассказать о жене, как раньше говорили, «в особицу».

Чехов как-то сказал, что если бы ему случилось писать рассказ с персонажем-матросом, он дал бы ему фамилию Кошкодавленко. Очень такая матросская фамилия.

Я к тому припомнил этого чеховского несуществующего персонажа с говорящей фамилией, что, возьмись я за рассказ об этой женщине, разумеется, не как о своей жене, а как о совершенно постороннем человеке, то быть бы ей там под фамилией Николодворская. И не только потому, что судьба отвела ей участь бессребреницы и бесприданницы, это само собою, но главное-то, ни кола, ни двора у нее, несчастной, не было в голове. Скажу больше, супруга моя, как писала в своих воспоминаниях жена одного известного писателя-эмигранта о жене друго-

го известного писателя-эмигранта, *была не средне-глупой, но исключительно глупой женщиной*. Это несомненно злое замечание всегда очень помогало мне в моей семейной жизни. Если, скажем, она со скуки пыталась учинить скандал, я всегда вспоминал об её исключительной глупости и не ввязывался в разборки, а ловко их избегал. И, подозреваю, это было для нее худшим наказанием. Потому что она тотчас, как бешеная, бросалась искать себе жертву. И тут уж доставалось и ее родителям, и ее бабушке, у которой мы жили одно время. Как ликовала у меня душа в такие минуты! Это всё равно, как пожар в доме ненавистного соседа или мор во вражеском стане.

Такие приступы агрессивной меланхолии повторялись у нее регулярно по разным причинам, часто и вовсе без причины.

Но не лучше были и те периоды, когда она впадала в восторженное настроение духа. Тогда она становилась деятельной и мне было впору прятаться. Она давала мне советы! Она для моей же пользы, как она считала, выдумывала что-нибудь такое, что я должен был сделать. Всякая её инициатива, из череды множества инициатив, начиналась словами: а почему бы тебе не... Не написать, например, того-то, не сходить туда-то, не попросить там-то. И как-то же мне было объяснять ей, почему я всё это не!..

Но самым худшим было её состояние, когда она пребывала в таком тупом непредсказуемом смирении. Это могло обернуться чем угодно. Одинаково и грозой, и фальшивой игрой в покорную жену, что выглядело особенно непривлекательно. Я боялся таких минут. Дело в том, что она была законченная пошлячка, что, собственно, легко объясняется её глупостью. И пополнялся запас её пошлостей — ежечасно, ежеминутно — всякими отбросами так называемой массовой культуры, страстной и, конечно, бездумной почитательницей которой была и она сама, и равно круг её знакомых.

Вообще, повествование на тему «Моя жена и культура» нужно начинать издалека. Лучше с самого её детства. Как впоследствии выяснилось, в школе она была дремучей двоечницей. Но родители вместо того, чтобы всячески

влиять на успеваемость отроковицы, еще и придумали отдать ее *на музыку*, как говорят дети, или точнее *в класс скрипки*, как уже она сама мне авторитетно рассказывала в начале нашего знакомства. Думается, родители при этом руководствовались теми же приблизительно мотивами неверно понимаемого ими престижа, какие подвигли в свое время несчастного Журдена заниматься разными эстетическими экзерцициями. Никакой скрипачки из нее, разумеется, не вышло, ввиду совершенного отсутствия способностей и трудолюбия. И в некотором смысле их семье даже повезло, что её определили именно в класс скрипки, а не фортепьяно, например. Так как на ветер вылетела сумма существенно меньшая. Потому что классы фортепьяно стоили, как мне потом сказали умные люди, что-то на порядок дороже. А может быть, по этой-то причине её и отдали на скрипку.

Помню, как обезображивалось её и без того страшненькое личико, когда она в припадке нежных чувств ко мне показывала свое мастерство. Левая щека у нее перекашивалась, как у параличички, а короткая от природы шея совершенно втягивалась в плечи. Я уже не говорю о самой игре. Это было что-то такое в манере Шерлока Холмса.

Читала она, нужно сказать, довольно много, — признаюсь, больше моего, — но литературу преимущественно низкосортную, вроде любовных романов. И если в этих сочинениях и были какие-то крохи для души, то в её душе они, как в редком решете, не задерживались. Зато, на мою беду, в её памяти оседали все самые примитивные, пошлые, подчас вульгарные «литературные» штампы. И не только из этих гнусных книжек. Но решительно отовсюду. Из любой области жизни. Из фильмов, из сериалов, от нашей дешевой эстрады, поклонницей которой она является, ну и само собою, от её стоеросового окружения.

Вначале я пытался как-то влиять на нее, подсовывал ей нужные книжки, объяснял тонкости, различающие «артистичное» и «театральное» и тому подобное, но всё напрасно. И в конце концов я отступился. Я решил не противоборствовать её естеству и по возможности не обращать внимания на разные ее режущие слух высказывания.

Но легко сказать: не обращать внимания. Попробуй-ка не обращать, когда мне самую судьбой было решено сделаться главным потребителем её попугаичьих идиом.

Так, сидим мы, бывало, на диване и смотрим телевизор. Смотрит-то, в основном, она, а я, пользуясь её занятостью, витаю в каких-то там своих мирах, и не всегда высоких, по правде сказать. И вдруг она прижимается ко мне, зазывно так, снизу вверх, заглядывает в глаза и говорит: скажи мне что-нибудь. Так очень часто делают героини мелодрам. И ей, как человеку, не имеющему ни малейшего представления о типическом, кажется, что так должно быть и по эту сторону экрана. Но каково мне! Говорят, Бах пробуждался тотчас от самого глубокого сна, едва сыновья его брали фальшивую ноту. Я же не сплю даже! Мне приходится наяву сносить ее несусветную фальшь. Я отвечаю ей не сразу. Я еще какое-то время заинтересованно смотрю в телевизор, в надежде увлечь этим и её. И иногда подобные приемы удаются. Если, например, в эту секунду на экране появляется какая-нибудь певичка. Но чаще всего мне приходится выкручиваться самому. Стараясь быть по возможности нежным и в то же время едва не скрипя зубами от всех этих стандартных словес, я спрашиваю: ну что же я тебе скажу?.. И тогда, даже с некоторой обидой на мою бесчувственность, она добивает меня репликой: «Что-нибудь доброе и вечное». Я, насилию сдерживаясь, обнимаю её за шею и крепко прижимаю к себе так, чтобы рот её пришелся мне куда-нибудь в плечо, и она замолчала бы таким образом. Этот способ её угомонить хорош вдвойне. Потому что она еще и думает, будто это я делаю в порыве страсти, будто это такой, знаете ли, нежный, но по мужски суровый, без лишних слов, мой ответ ей.

Но это еще не худший вариант. Здесь она разыгрывает покорную жену, почему мне легко и удается совладать с нею.

Но бывают случаи, когда она начинает чудесить вроде бы без повода, а значит, и неожиданно для меня, причем довольно-таки агрессивно.

Помню как-то утром мы вышли на кухню завтракать. Беды, казалось, ничто не предвещало. Больше того, прошедшая ночь, по моему разумению, должна была на более или менее продолжительное время умиротворить её. И вдруг она, не поворачивая ко мне лица, со злобой, как бы приглашая меня к скандалу, быстро так говорит: тебе нужно только *перепихнуться!*

От такого вульгаризма распутной пэтэушницы и к тому же ошарашенный внезапностью его оглашения, я на какое-то мгновение потерял дар речи. И это мне сослужило добрую службу. Потому что этого самого мгновения мне достало, чтобы взять себя в руки и не принимать её игры. Я опустил на табуретку и якобы задумался, дабы показать свое безынтересное отношение к навязываемой дискуссии. Она же, не услышав от меня ожидаемого по всей видимости резкого ответа, вначале сникла, а затем, сделавшись, как по волшебству, самую любезностью, бросилась отплачивать добром мое непотворение. Уж тут она меня и потчевала, и заигрывала со мной, и ластилась. Кажется, захоти я только, она прямо здесь на кухне готова была бы сделать то, в чем минуту назад так безрассудно меня упрекала.

И вот подобными штампами она сыпала беспрестанно, по всякому поводу и без повода. Действительно, для иной восприимчивой природы всё это могло бы плохо кончиться. Какой-нибудь там нервной лихорадкой. Я же старался относиться к такому её самовыражению с пониманием и даже с некоторым сочувствием. Хотя, признаюсь, мне приходилось нелегко.

Иногда в нашем с ней общении возникали удивительные такие паузы. Недолгие, к несчастью. Нет, не ввиду какого-либо отдельного времяпрепровождения или разлада. В том-то и дело, что мы могли оставаться вдвоем и быть в это время вполне благорасположенными друг к другу. Могли, например, идти по улице. Или сидеть дома. Но при этом никак друг к другу не относиться. Порою по полчаса — по часу. Такие минуты, особенно в домашней обстановке, были для меня просто-таки подарком судьбы, причем я испытывал почти полный душевный комфорт. Но

я бы многое отдал, чтобы узнать, а какие такие мысли блуждают в это время у нее под копною масти соломы? О чем она может думать? Ведь для того, чтобы думать, необходим какой-то первоначальный интеллектуальный капитал. Без него, как пламя без искры, не возгорится самый процесс мышления. Но, по-видимому, в такие паузы рассудок её был, как бы это сказать... обесточен, почему сама она превращалась в совершенную мою тень, то есть абсолютно копировала все мои сиюминутные пошутки и движения, чем порою даже ставила меня в неловкое положение, если это было на людях.

Кому, к примеру, не знакомы зимние московские тротуары с их вечным грязным месивом, делающим наши повседневные променады занятием столь же затруднительным, как, скажем, побег каторжника с ядрами на ногах. Человек выбирается обыкновенно из этой каши на относительно чистое место и энергичными такими притоптываниями отряхивает налипший на ботинки снег. Картина знакомая. Так же делаю и я всегда. Но я заметил вот что: когда мы идем по улице вместе с моей половиной и я стряхиваю обычным порядком с ботинок снег, она — половина моя — делает то же самое точно следом за мной. Я несколько раз экспериментировал: выбравшись из заноса, я не стряхивал снега, и — удивительно! — не стряхивала и она. Но стоило мне притопнуть ногами об асфальт, притоптывала и она. Это вообще выходило забавно. Со стороны это, наверное, смотрелось, будто из сугроба выбралось некое четырехное существо и попарными ударами сбило снег со всех своих четырех копыт: топ-топ! — топ-топ!

Как-то раз наша десятилетняя дочка принесла из школы тетрадку, в которой они с подружками отвечали на вопросы нехитрой детской анкеты, ими же и придуманной. В чем задача этого анкетирования, я не понял, а спрашивать не стал, потому что проблема-то была действительно пустячная, чтобы еще осмысливать её. Скорее всего, это их детское подражание всяким модным нынче газетно-журнальным «взрослым» анкетам. Пункты там были следующие: 1. Как тебя зовут? 2. Сколько тебе лет? 3. Твоя

любимая книга, 4. Твое увлечение, 5. Твой любимый фильм, 6. Твое любимое число и 7. Твой любимый цвет. Сама дочка ответила на эти вопросы так: Таня, 10 лет, «Простоквашино», играть, (пункт о фильме она не заполнила), 19, голубой. И, надо сказать, мне показались ее ответы небезынтересными. Ну, первые два вполне формальные. Это ясно. Третий ответ совершенно характерный детский. Дети почти всегда назовут любимой последнюю прочитанную книгу. Необычное, при всей видимой его простоте, содержится в четвертом ответе. Вообще-то, в десять лет — это я по себе и по своим одноклассникам помню, — ребенок достаточно искушенный уже, чтобы ответить на этот вопрос как-то оригинально, с некой претензией. Например, в зависимости от увлечений и возможностей, написать так: заниматься каким-то спортом, музицировать, в крайнем случае — рисовать. Но тут просто «играть»! В этом чувствуется определенный вызов. Вы ждете от нас «правильности», детской серьезности, а вот получите-ка: играть мы любим! Просто играть и не более того! С фильмом тоже не всё так просто. Где-то с год назад она мне сказала, что любимый её фильм — «Кавказская пленница». Очень естественный, без претензий, выбор. В меру компетенции десятилетнего дитя в области киноискусства. Но как же можно в анкете, которую прочитают в классе, для того, собственно, она и заполняется, как можно там указать какую-то старомодную отечественную комедию — «детскую»! — когда уже и такое понятие, как Голливуд, имеет для них какое-то значение. Другое дело, что вряд ли они еще знают, каким бы содержанием это понятие наполнить. Пока еще оно для них довольно-таки туманное. Оттого, думается, и остался пропущен в этом пункте анкеты третьеклассницы. Кстати, если бы на эти вопросы ей пришлось отвечать спустя год-полгода, то пятым пунктом там наверно был бы «Титаник». Потому что как раз через полгода где-то по Москве, и среди школьников младших классов особенно, прокатилась настоящая волна «Титанико»-мании. Шестой, довольно-таки пустой в содержательном отношении, пункт она заполнила предельно просто. Но, в сущности, единственно возможно.

Девятнадцать — это дата её рождения. Наверное, в классе все так писали. И, наконец, седьмой пункт. Любимый цвет — голубой. А какой еще может быть любимый цвет у десяти-двенадцатилетних, как не голубой? Точно так же, как в пять лет все любят красный.

Естественно, тетрадка эта, едва появилась дома, тотчас легла передо мною, и пальчиком с неровно обрезанным ноготком мне было указано, где я должен что-то писать. Я написал свое имя, возраст — 33 года, любимая книга — «Воскресение», увлечение — пишу письма, любимый фильм — «Женитьба Бальзаминова», любимое число — три, любимый цвет — желтый, красный. Кое-что здесь требуется пояснить. Но чуть позже.

Дочка ничего занимательного для себя в моих ответах не нашла. Да и вообще забава эта ей, похоже было, уже поднадоела.

Несколько дней тетрадка провалялась на моем столе. И вот однажды, от нечего делать, я её так просто взял в руки, полистал. И вдруг среди знакомых записей мне бросилась в глаза еще одна. Новая. И по почерку и тем более по первым двум заполненным пунктам я без труда узнал работу жены. Самое удивительное, — для меня-то, впрочем, не удивительно, — что заполнила она эту детскую анкетку совершенно добровольно. Дочка, во всяком случае, её этого делать не просила, как выяснилось.

И вот что она там написала. Для большего удобства восприятия её ответов позволю себе повторить и самые вопросы. 1. Как тебя зовут? — Виолетта. 2. Сколько тебе лет? — 32 года. 3. Твоя любимая книга — «Идиот». 4. Твое увлечение — горные лыжи. 5. Твой любимый фильм — «Москва слезам не верит». 6. Твое любимое число — «7». 7. Твой любимый цвет — голубой, желтый.

Первые два пункта, как и в предыдущих случаях, нечего объяснять. Оригинальным именем своим она обязана единственно родителям, поступившим совсем в духе «бывших рабочих» и подыскавшим дочке своей имя аристократически-кинематографическое, не имя, а романс. Но уже затем все без исключения пункты нуждаются в комментариях.

Я даже не сомневаюсь нисколько, что ответы её прежде всего противопоставлены моим ответам. В них во всех чувствуется скрытая полемика со мной. Почему, например, она написала, что любимая её книга «Идиот»? Почему не назвала роман какого-нибудь другого крупного автора? современного, модного? Могла бы и зарубежного. Мне представляется, что в таком её ответе отчетливо угадывается желание, ни в чем не уступить оппоненту, то есть мне, быть с ним, то есть со мной, вровень. А какой автор может составить полноценную конкуренцию Толстому? Естественно, только Достоевский. Так же, как с Пушкиным, может быть сопоставим только Лермонтов, с Камю — только Сартр и т. д. Это называется феномен «литературной пары», о котором жена моя не имела ни малейшего представления, как не имеет его и теперь. Оттого и появился её «Идиот». Наверное, напиши я «Онегина» — она бы ответила Печориным.

Очень любопытный четвертый пункт — о любимом увлечении. В отличие от предыдущего, она ответила уже не просто вровень со мной, а в пику мне. Здесь уже чувствуется прямой вызов, с некоторым даже уколom, о очевидным намерением уязвить меня. Хотя, так получилось, что невольно спровоцировал этот вызов я сам, своим странным, может быть, ответом о письмах.

Действительно, для меня переписка со многими знакомыми по всей стране и даже по Москве (воображаю, каким чудачеством посчитают переписку по Москве те, кто не понимают ни с чем не сравнимой прелести этого занятия), для меня переписка была настоящим захватывающим увлечением и имела важнейшее профессиональное значение. Да, именно профессиональное значение. Должен сказать, что собственно писать, то есть самую прозу писать, я стал в значительной степени благодаря предшествующей активной и многолетней переписке. Это было моей писательской школой, литинститутом, чем угодно. И любовь к этому занятию у меня осталась, в общем-то, и теперь, но, к сожалению, по многим причинам переписываться с людьми я стал гораздо реже, чем когда-то.



Но если мой ответ — согласен, не без оригинальничанья ответ — был лишь участием в дочкиной игре, то «горные лыжи» жены это уже не что иное, как вполне откровенная отповедь мне. Ей хотелось ответить уже не просто адекватно, как в случае с любимыми книгами, а так, чтобы её вариант был для меня точно таким же недостижимым, как мой для нее. Замечу попутно, что способности к письменному изложению своих мыслей и чувств у нее отсутствуют напрочь, и не то что письма написать, не знаю, смогла бы она телеграмму простую составить. Я во всяком случае не помню, чтобы она кому-то когда-нибудь отправила телеграмму или письмо. Она не написала, например, что её увлечение — вождение автомобиля, хотя это больше соответствовало бы действительности. Но ведь это нехитрое занятие и мне вполне по плечу. У нее же должно быть такое увлечение, которое подчеркивало бы, что не во всем я преуспел, не во всем первый, кое в чем и уступаю ей. Я и в самом деле к спорту отношусь довольно безучастно. К стыду своему и к сожалению. Да и некогда уделять этому особенного внимания. Единственное, я дома разминаюсь иногда с гириями, но активными спортивными занятиями я объективности ради это называть не стал бы. Но опять же объективности ради я бы и не назвал «горные лыжи» сколько-нибудь серьезным увлечением своей жены. «В горы» (это её выражение) она ездила всего два раза: один раз до нашего знакомства и второй, в прошлом году. Эта последняя поездка и стала судьбоносной. Назад моя горнолыжница возвратилась вся в синяках, с пятнистым облупившимся носом и с решительным намерением бывать там ежегодно. Я, было, обрадовался, что так теперь и будет, и у меня появятся в году две дополнительные недели абсолютного спокойствия, а значит, и продуктивной работы. Но, увы, оптимизм мой был преждевременным. Уже следующий сезон она пропустила. Похоже, намерения её только и остались намерениями. Однако это не помешало ей объявить «горные лыжи» своим увлечением.

Не иначе, как упрек, как новую «колкость» в мой адрес, я понимаю её ответ о любимом фильме. И вот поче-

му. «Москва слезам не верит», как не раз уже о картине было сказано, это современная сказка. Почти по Шарлю Перро. Героиня страдает, терпит притеснения, крест её тяжек, но в конце концов безропотное её покорствование судьбе вознаграждается сторицею. И мне не просто кажется, я безусловно уверен, что в этой трогательной любви моей жены к упомянутой картине таится недвусмысленный намек на её собственную горькую участь, в которой виноват, естественно, я. Конечно, это от меня она настрадалась, это от меня она натерпелась притеснений, это я её тяжкий крест.

Пункт о любимом числе она опять же собезьянничала с моего. Эти два числа — тройка и семерка — испокон были подобны. В смысле традиционного своего сакрального наполнения. Где тройка, там и семерка. Признаться сказать, у меня лично нет любимого числа. Конечно, это совсем детская постановка вопроса. Какое еще может быть любимое число? И зачем? И я написал «три» только для того, чтобы не оставлять пункт незаполненным. Но поскольку я написал-таки что-то, то жене непременно нужно было чем-то отвечать. Убежден, что не поставь я ничего в этом пункте, и в её анкете на этом месте остался бы пробел.

Аналогичным образом объясняется и последний, седьмой вопрос анкеты. Она на него дала два ответа. Точно так же, как и я. Все предыдущие анкетированные имели по одному любимому цвету. Я первый написал два. И таким образом дал жене волю выйти за пределы стереотипного подхода к решению этой задачи. И я опять не скажу, что так уж люблю эти два цвета. Ну, желтый я, предпочитаю лишь потому, что все остальные цвета мне меньше нравятся. Только и всего. А что касается красного, то я его вписал из солидарности со своим любимым дедушкой — неугомонным весельчаком, балагуром, Теркиным запаса, — умевшим смеяться прежде всего над самим собой. Я однажды подарил ему рубашку красного цвета, но тут же и засомневался: хорошо ли это будет для пожилого человека. Но дедушка, с обычной самоиронией, совершенно в своем духе, разрешил мои сомнения, ска-

зав: а дурак любит красное! Но о бабушке рассказ впереди. Ведь он же живет как раз в Лосинообинске. И уже ждет-не дождется внука в гости. А любимые цвета жены — голубой и желтый — это полнейший абсурд. Я понимаю, чем она руководствовалась при подборе такой антигаммы. Она взяла дочкин любимый цвет и мой и объявила их своими любимыми цветами, подчеркнув тем самым, что она в конце концов выше всех этих суетных противоречий и противоборств, что она оставляет за собою роль быть в семье неким всеобъемлющим началом, великодушным третейским арбитром. Когда бы так было на самом деле!

Портрет этой женщины был бы неполным, если бы я не описал её внешности. Из всего сказанного о ней выше как-то само собою напрашивается и внешность её изобразить в том же духе, в тех же уничижительных красках. Но справедливости ради нужно отметить, что наружность её выгодно отличалась от душевных свойств. Нет, она не красавица, конечно — зачем же тешить себя такими иллюзиями, — но уж и не дурнушка во всяком случае. Не касаясь черт её лица, могу прямо сказать, что фигура она имеет довольно привлекательную. Особенно выразителен, на мой взгляд, её тазобедренный пояс. Поэтому ей очень идут джинсы и выглядит она в них, не побоюсь сказать, даже соблазнительно. Однажды мы шли по Тверской, в самом её начале, где народу особенно густо всегда. Что-бы нам не идти шеренгой — это там просто не получится, — я пропустил её вперед, а сам пошел чуть поодаль сзади. И вдруг у самого моего левого уха раздался голосок, тембр которого выдавал происходящую с ним в настоящее время ломку периода полового созревания. Отсосная телка! — продребезжал голосок. Я как ревностный почитатель женской красоты и, соответственно, неутомимый наблюдатель за женщинами мгновенно оглянулся, чтобы перехватить взгляд говорящего и таким образом и самому испытать удовольствие от лицезрения случайно незамеченной мною в толпе красотки. И каково же было мое изумление, безусловно приятное изумление, когда я увидел, что горящие взоры двух рэпперов, следующих за нами, прикованы к затянутой в джинсы кормовой части моей же спутницы.

Я сразу сделал вид, что я одинок в этой толпе и что это не со мной. Хотя юнцы и без того не подозревали, что мы с ней заодно. Я шел, опустив голову, и как заклинание повторял про себя: только бы она не оглянулась, только бы не оглянулась. Потому что если она оглянется и покажет своим зачарованным воздыхателям небесспорный свой профиль, то весь эффект пойдет на смарку, весь мой триумф будет сведен на нет.

Дальняя дорога для меня не в диковину. Мне немало пришлось поехать по нашей необъятной. С самого детства. Вспоминая эти поездки, я теперь только спохватился, что, оказывается, мы никогда никуда не ездили втроем — родители и я. А всегда либо мама меня брала с собой — в Крым ли на курорты, в тот же Лосинообинск, где маминой родни живет, как говорится, полгорода, — либо я ездил с отцом по его командировкам. В шестидесятые годы отец был довольно известным спортсменом, входил в сборную страны. Потом стал тренером и возил свою команду по всему Союзу. Иногда брал и меня с собой. И побывал я с ним, наверное, в десятке разных мест, в том числе и в таких экзотических, как Урал, Карпаты, Бакуриани. Но вообще-то дальние дороги я особенно не люблю. Я больше домосед.

Западная Сибирь, куда я теперь отправлялся за успехом, славой и эксклюзивной попойкой под кедрами, экзотики, по-моему, лишена абсолютно. Пейзажи там довольно унылые. Еще более унылые, нежели у нас в Подмосковье. Ну, конечно, исключение составляет Обь. Мне, жителю маловодных мест, этот размах просто непонятен: как это такое может быть? И, как всё непонятное, заставляет относиться к себе с настороженностью и с подобострастным почтением. Зато уж сам Лосинообинск я, как истый московский сноб, почитаю полнейшим захолустьем. В старину населенные пункты, имеющие больше одной церкви, называли слободами. Так вот в Лосинообинске, если только ни ошибаюсь, теперь действующие аккурат две церкви. Хотя когда-то, конечно, было много больше. Так что теперь самый подходящий статус для него именно слобода, по моему разумению. Однако пора туда и отправиться.

Поезд с Казанского отходит на Лосинообинск уже много лет неизменно с первого пути. И в здании вокзала, и на площади у поездов я всё ждал, а предложит ли жена, прежде чем нам очертя голову бежать на первый путь, взглянуть на табло: не изменилось ли что-нибудь, вдруг «Лосинообич» стоит в другом месте. Но нет, она и бровью не повела. Зачем ей думать о чем-то, когда есть кому думать решительно обо всем. У меня мелькнуло тогда: а хорошо бы, чтобы нашего поезда на первом пути не оказалось, пускай эта безголовая потаскается со своей «лыжной» сумкой по вокзальному многолюдью. Но «Лосинообич» стоял на своем законном месте.

У вагона проверяли билеты две проводницы. Одна солидного уже возраста, а другая лет тридцати. И едва я увидел эту тридцатилетнюю, тотчас понял, что сегодняшней вечер, а может быть, и вся поездка будут омрачены мучительными раздумьями о том, где же я видел это лицо прежде. Это вообще в последние годы сделалось моей напастью. Хоть из дому не выходи. Я стал очень часто — на улице, в транспорте — встречать будто бы знакомые лица. Может быть, я и действительно где-то случайно видел уже этого человека. А может, он мне только показался знакомым. Во всяком случае несколько часов вслед за этим я решительно не могу думать ни о чем другом, а лишь страдальчески пытаюсь припомнить, где я его? когда? и при каких обстоятельствах? И чаще всего не вспоминаю.

Проводница, кажется, почувствовала, что мой интерес к ней не исчерпывается лишь отношениями клиента к должностному лицу. Но поняла она это по-своему. И отреагировала соответствующим образом. Она одарила меня взглядом, в котором верно читалось: все вы об одном и том же; но ты-то с бабой, какого же еще глазеешь на другую...

В купе меня ждал сюрприз, с моей точки зрения, не из приятных. Попутчиками нашими оказалась пара одних приблизительно с нами лет, может, чуть помоложе, с симпатичной смугленькой девчушкой дошкольного возраста. Это означало, что мне нечего было и думать, чтобы побыть в пути наедине с самим собою, поразмышлять, помечтать.

Теперь всю дорогу придется слушать детское щебетание и родительские воспитательные тезисы. Еще хуже, если главе семьи — как выяснилось, водителю самосвала с какого-то там всесоюзно-известного химического гиганта и в общем-то хорошему, по всей видимости, правильному, надежному парню, за которым жена, наверное, по-настоящему чувствует себя за мужем, — еще хуже, если ему вдруг вздумается установить со мною приятельские отношения, какие, по мнению некоторых, и должны быть у соседей по купе, ровесников к тому же, обреченных несколько дней кряду находиться в непосредственной близости, и для скорейшего установления которых у него, наверное, отыщется и бутылец в запасе. После чего мы сделаемся своими ребятами, будем выходить в тамбур на перекур и вести там разговоры «не для женщин».

И чтобы избежать этого сентиментального братания, едва-едва мы разместились, я объявил жене, что иду в ресторан и что она, если желает, может присоединиться. Еще бы ей было не желать! Она выпорхнула из купе за мною мгновенно. Кажется, она даже была польщена, потому что глаза её счастливо засверкали, а на щеках появился румянец, будто в предвкушении скорого упоительного приключения. Много ли человеку надо...

Когда мы проходили мимо купе проводников, я услышал, как мою неопознанную знакомицу её напарница назвала Галей.

В ресторане, на удивление, оказалось полно народу. В лучшем случае за столиками сидели по двое. Нас официант посадил напротив двух плечистых, коротко стриженных парней в одинаковых спортивных костюмах. Они сидели молча и только дружно работали своими мощными, начисто выбритыми челюстями. Ничего такого вино-водочного, я обратил внимание, перед ними не стояло. И еще я заметил, что все присутствовавшие в ресторане старались не смотреть на них или бросали совсем уж мимолетные взгляды, чтобы случайно не встретиться с ними глазами. Мы сели, и я без улыбки, на полном серьезе, пожелал им приятного аппетита. Они оба чуть ни поперхнулись. Видно было, уж чего-чего, но этого они

не ожидали и» вероятно, вообще услышали такое в свой адрес впервые. Кажется, им сделалось неловко. Они что-то замычали и закивали в знак признательности. И больше на меня не смотрели. Меня они, я в этом уверен, сразу определили как «лоха», выражаясь на их диалекте. А такие им не интересны, насколько мне известно, даже в качестве объекта досужего третирования. Тем более я мог не волноваться за жену, потому что всё, что у нее имелось выше стола, скорее, могло охладить пыл, нежели вдохновить кого-нибудь на какой-то подвиг.

Я перестал есть на ночь с недавних пор, поэтому заказал себе коньяку, кофе и шоколадку. Дама же моя пожелала яичницы с пивом. Еще она, было, пожелала и с коньяком мне помочь. Но я ей объяснил, что коньяк под её блюдо не идет. Если уж она так хочет, я могу взять ей «беленького». Она отказалась и обиженно уткнулась в свою яичницу. При других обстоятельствах она бы сопроводила это еще какой-нибудь язвительной банальностью из небогатого своего репертуара. Но при наших меланхолически жующих сотрапезниках она воздержалась от обычного своего последнего слова.

Наконец-то я мог отключиться от всякой суеты. Я выпил рюмку. Что же это за Галя? Я стал припоминать своих знакомых, с кем я работал, или учился, или еще каким-то образом был связан. Но ни у кого из моих знакомых не было этого, довольно-таки редкого теперь, имени. Значит, понял я, она не из числа знакомых. Может быть, просто встретился с ней где-нибудь случайно и запомнил лицо. Скорее всего там же, в Лосинообинске. Не в Москве же. Может быть, в университете где-нибудь?.. В общежитии?.. И вот тут-то я всё и припомнил. Общежитие подсказало. То есть оно подсказало мне, что я её никогда не встречал на самом деле, как ни странно. А лицо её мне знакомо по фотографии. Забавно получается. Очень даже. Меня она не знает совершенно. Зато я её знаю неплохо. И не только в лицо. Один отрезок её жизни, примерно десятилетней давности, мне известен едва ли не по дням и с такими пикантными подробностями, которые может знать, наверное, только самый близкий человек.

Между тем желающих отведать лакомств кухни «Лосинообича» всё прибавлялось. И незанятых мест уже совсем не оставалось. Наши наводящие на публику оцепенение визави расплатились, совершенно синхронно, будто специально тренировались, поднялись из-за стола и вышли, нагло озираясь по сторонам, после чего всем в ресторане сделалось будто бы уютнее. Но не мне. Потому что на их место тотчас сели два друга, чей бойкий трёп достиг моего слуха еще из тамбура. И мне пришлось их слушать. Из их разговора я понял, что оба они были в Москве в командировке. Оба инженеры. И когда-то вместе учились. Друг с другом не виделись уже сто лет. А тут чудесным образом вышло, что обратные билеты у них оказались в один и тот же поезд и даже в один и тот же вагон. Только что они уговорили человека поменяться с кем-то из них местами, чтобы им еще и в одном купе ехать. И теперь пришли отпраздновать нечаянную свою встречу. Они прямо-таки наглядеться не могли друг на друга. А уж наговориться им трех ночей, верно, не доставит. Встретились же они на мою беду! От этих говорунов мне была, правда, некоторая польза — жена, нейтрализованная их присутствием, так и не могла выплеснуть в мой адрес накопившее. А когда они начали с ней любезничать, она вообще воспрянула духом, что давало мне основание надеяться сегодня уже не услышать её до обидного неостроумных и поэтому всегда раздражающих меня колкостей. Командировочные хотели, было, и меня втянуть разделить радость их исторической встречи. Но я притворился уже хорошим: поставил локти на стол, кулаками подпер голову, взгляд мой сделался рассеянным, — и они не стали меня трогать.

Да, пожалуй, лет десять назад это было. Или что-то около того. Я отучился в аспирантуре тогда, кажется, уже три года. И приехал в очередной раз в Лосинообинск с ворохом бумаг, чтобы показать научному руководителю проделанную работу и согласовать дальнейшую. Диссертацию я писал на тему, которая только-только вышла из-под запрета — о белой эмиграции, так называемой «первой волне». И поскольку тема эта была почти не разработана,

простор для меня открывался поистине необъятный. И занимался я ею с превеликим удовольствием. Только этим и жил. Иной раз так считаешься в открывшемся спецхране Ленинки всяких эмигрантских изданий, преимущественно газет, так вольешься в ту жизнь, что выходишь потом на улицу и не сразу понимаешь, где и среди кого ты находишься. И встречные красотки сплошь кажутся благородными девицами, старики — дворянами, лишившимися своих поместий и имеющими в перспективе лишь Сен-Женевьев де Буа, а таксисты — бывшими врангелевскими офицерами, как это было в Париже в 20-30-е годы.

Помню, я тогда что-то задержался и в Лосинообинске появился в разгар экзаменационной сессии в университете, когда уже понаехали со всех волостей студенты-заочники, абитуриенты и общежитие было настолько перенаселено, что даже и для аспирантов места находились с трудом. Казалось бы, у меня-то какие могут быть проблемы, когда в городе живет родной дедушка. Приехал — и напрямик к нему. Я так обычно и поступал: приезжал — и сразу к дедушке. Но лишь потому, что мне не терпелось посидеть с ним, поговорить, послушать его рассказы, многие из которых я уже слышал, и не раз, но он умел рассказывать так упоительно и красочно, что они никогда не надоедали. Но вот оставаться у него на ночь, в этом старинном бревенчатом двухэтажном доме в самом центре Лосинообинска, на фасаде которого была набита табличка «1896», было бы для меня непосильным испытанием, потому что дом, извиняюсь, кишел клопами. Причем к самому дедушке они относились на удивление гуманно. Если ему верить, то клопы его абсолютно не беспокоили. Он по этому поводу смеялся всегда: «А они своих не трогают — берегут на черный день». Зато уж гостям дедушкиным от злых насекомых пощады не было.

В общежитие я пришел от дедушки уже под ночь. Я даже не сомневался, что легко устроюсь: комендант Виктор был моим добрым знакомым. Но получилось, что я и Виктору задал задачку. Мест решительно не оказалось. И тут он хватился: слушай, говорит, только сегодня приехал Игорь, и я поселил его в камере хранения, не пойдешь ли

к нему туда? Что за вопрос?! Да лучшего варианта невозможно было и придумать. Едва я услышал, что Игорь уже приехал и уже поселился в общежитии — всё равно где: в камере ли хранения, в чулане, хоть в лифтовой шахте, — я тотчас поспешил к нему.

Собственно, эта камера хранения оказалась обычным номером, вдоль стен которого были устроены деревянные стеллажи, и на них хранились чемоданы и рюкзаки студентов. На одной из нижних полок чемоданы были сдвинуты и там лежал с книгой в руках бородатый человек. Я не сразу его и заметил, когда входил в комнату. Думал, здесь никого нет. Думал, пусто. Но нет, вдруг вижу: откуда-то снизу, из-под полка, из-за чемоданов на меня смотрит пара лукаво улыбающихся глаз. Это и есть Игорь.

Он был тоже аспирантом. С философского факультета. Когда я впервые появился в этом общежитии, меня поселили к нему в комнату. С тех пор мы и сдружились. Игорь жил не так далеко от Лосинообинска. В соседнем областном городе.

Это был удивительнейший человек. И образ жизни он вел совершенно необыкновенный. Игорь никогда не расставался со стареньким, надтреснутым «ВЭФом». И прослушивание различных радиопередач, преимущественно зарубежных, по затраченному на это времени являлось его главным занятием дня. Вторым по значению занятием был сон. Если он кого-то в чем-то хотел убедить, и в качестве аргумента ему нужно было сослаться на свою опытность, на собственный авторитет, он говорил не работай с моё или поучись с моё, а — поспи с м о ё . Это действовало на собеседника безотказно. А радио он слушал действительно очень помногу. Причем большей частью ночью. Просыпался он где-то в обеденный час. Или даже позже. Я в это время обычно уже возвращался из университета и заставал Игоря очумевшего от долгого сна и почему-то всегда стоящего на ногах посреди комнаты. К вечеру он оживал окончательно и уже тогда шел по своим делам. Но иногда он никуда не выходил из общежития по несколько суток подряд. Разве в магазин за кефиром и буханкой хлеба. Эти два продук-

та, кажется, составляли весь его рацион. Честное слово, не помню, чтобы он ел еще что-то кроме этого. Ну, а часов с десяти вечера он принимался за свое основное занятие, к которому он относился необыкновенно ревностно, как к исправлению какой-нибудь очень ответственной должности. Он включал потихоньку приемник и слушал его до самого утра. Бывали случаи, когда я уже вставал и уходил в университет, а Игорь еще не ложился спать. И вот так уже много лет, по его собственному признанию, этот сибирский философ жил в часовом поясе западной Европы. Я по этому поводу шутил: ты, Игорь, в Португалии живешь. На что он отвечал, что ночь и день в принципе понятия очень условные. Человек не должен подчинять свою натуру формальному суточно-астрономическому циклу, если это не соответствует его индивидуальным особенностям. Сутки должны строиться естественным образом. Так, как это целесообразно для наибольшего и наилучшего самовыражения индивидуума. Собственное же самовыражение Игоря, замечу, было таково, что в аспирантуре он учился до нашего знакомства года, кажется, два или три, и когда я уже надел мантию к.и.н., он всё еще продолжал там самовыражаться. И насколько мне известно, он так эту учебу и не закончил.

Естественно, с таким человеком не могло быть не интересно и не весело. В Лосинообинске, кроме бабушки, Игорь был моим самым желанным собеседником и товарищем. И думаю, если бы мы проводили с ним вместе в году не месяц, а больше времени, то я, наверное, рано или поздно, тоже переселился бы куда-нибудь в Португалию.

В тот год, когда нас с Игорем приютили в камере хранения, я познакомился с одной очень интересной судьбой. Судьбой, как я тогда уже обратил внимание, удивительным образом сочетающей в себе трагическое с комическим. Но разве мог я предполагать, что когда-нибудь это заочное и к тому же одностороннее знакомство получит продолжение. Удивительно же иногда жизнь распоряжается.

В нашем прибежище наук, как называл Игорь камеру хранения, у двери стоял большой полиэтиленовый мешок

с мусором — со всякими бумагами, студенческими конспектами и т.п. Мы с Игорем долго не обращали на мешок внимания: стоит и стоит себе, Виктору всё недосуг выбросить его на помойку, — но вдруг однажды, лежа на раскладушке и в очередном ностальгическом припадке отрешенно блуждая взглядом по незатейливейшему убранству нашего жилища, я, среди бумажного хлама, заметил в мешке уголок почтового конверта. Я немедленно обратил внимание Игоря на такое важное обстоятельство. И тогда, посоветовавшись, мы решили достать из мешка этот конверт и посмотреть, а не содержится ли в нем и самого письма. Письмо оказалось на месте. Но прежде чем начать читать его, мы убедили себя в том, что действия наши не являются неэтичными. Если тот, кому письмо было адресовано, рассудили мы, не только не сохранил его, но даже и не уничтожил за ненужностью по прочтении, значит, он, этот человек, вполне безразлично относится к дальнейшей его судьбе и насколько не заботится, что выброшенное письмо могут прочитать или еще как-то использовать. Вот так, лишь подведя под это моральное обоснование, мы приступили к чтению. И едва мы прочитали письмо, как тотчас оба бросились к мешку искать продолжение этого удивительного повествования. Если бы мы ничего больше не нашли, мы были бы, наверное, раздосадованы, совсем как дети, когда, невзирая на их мольбы, взрослые в положенное время выключают телевизор на самом интересном месте и отправляют их спать. Но к нам судьба оказалась куда как благосклоннее, нежели к тем детям. В дополнение к прочитанному в мешке обнаружили еще девять писем. Одно занимательнее другого.

Это были письма некой Гали Есиповой, учившейся в свое время на биологическом факультете, а теперь распределенной в «лесхоз», где-то совсем уже в глухомани, к своей подруге и землячке Марине, студентке филфака. Но когда мы эти письма нашли, уже и легкомысленная филологиня распрощалась с университетом.

И вот десять лет спустя я повстречал эту самую Галю в форменном железнодорожном берете в вагоне поезда

дальнего следования. Если для меня было мучением не помнить, где я видел эту проводницу раньше, то вспомнив-таки её, еще более мучительно стало не знать, а как же сложилась её жизнь в дальнейшем. Как вышло, что из лесхоза она перебралась в вагон «Лосинообича»? Нет, я вполне осознавал, что ничего такого эпического в её истории скорее всего не будет. Наверняка что-нибудь обыкновенное обывательское: семья, дети. Ну самое незаурядное — это загадочная переквалификация из лесовода в железнодорожные работники. О таких превратностях судьбы люди, склонные к драматизации, обычно рассказывают: и побросала же меня жизнь... Но, несмотря на очевидное для меня безынтересное продолжение биографии Есиповой Гали, свербящее, как у всех собирателей сплетен, чувство неудовлетворенности от неполного знания жизни всякого мало-мальски знакомого человека так и подмывало меня разузнать, а что же все-таки было у нее за эти десять лет.

Вообще завязать с ней беседу и поговорить, что называется, за жизнь мне было не сложно.

И я не раз уже пользовался этим приемом. У меня имелось с полдюжины, наверное, удостоверений разных московских газет, в которых я числился внештатным корреспондентом. И очень часто, когда мне нужно было разговорить очередную жертву, я ссылался на задание редакции. Это, кстати, обманом почти и не было. Потому что большинство таких бесед впоследствии в той или иной форме доходило до какой-нибудь редакции. А люди в массе своей всегда очень охотно открывают душу газетчику и стараются рассказать побольше всякого. Доверчивые наши сограждане уверены, что печать, как и в прежние времена, может что-то изменить к лучшему. Да и просто многим хочется выговориться.

На вторые сутки нашего путешествия, *случайно* проходя мимо купе проводников в то время, когда их дверь была не закрыта, я, пользуясь возможностью, поблагодарил их за прекрасный чай, чего они, кажется, никогда не слышали даже от самых испытанных вагонных остряков. Помоему, моя Галя немного смутилась. Но, конечно, же не

от напоминания о пресловутом железнодорожном чае — этим их вряд ли смутишь, — я думаю, она за два дня и сама уже догадалась, по моим выразительным взглядам, что я проявляю к ней повышенный интерес и, вероятно, рано или поздно решусь объясниться.

И вот я решился. Я представился сотрудником одной московской еженедельной газеты и сказал, что хочу писать очерк о людях, избравших тяжкую и героическую профессию обслуживать пассажиров, часто непомерно взыскательных и привередливых, в долгой дороге, в течение нескольких подряд суток, причем, сказал я, хорошо бы в центре повествования была яркая такая рабочая биография, способная заинтриговать читателя. И прежде, чем они отмахнулись от меня, как от назойливой мухи — а по их попостневшим лицам я видел, что именно так, едва закончится моя тирада, они и намерены поступить, — опередив их, я предположил, что это могла быть, например, такая судьба: кто-то долго учился, выучился на кого-нибудь и даже, может быть, отработал довольно по своей специальности, но его о жизненные обстоятельства сложились так, что он — этот человек — бросил всё и оказался здесь, в вагоне. Едва я это проговорил, Галина напарница оживилась, повеселела, будто поняла, наконец, насколько безобидны мои посягательства на их покой, и, кивнув на свою товарку, сказала: а вот девонька училась аж в университете, вот с кем поговорите, пускай расскажет о себе. Я несказанно обрадовался такой быстрой удаче и очень, конечно, удивился: как? даже в университете? Подумать только... А где, если не секрет? В Лосинообинске?! Да мы же с вами, как говаривал незабвенный Петр Иванович Чичиков, *однокопытники*. Да, представьте, и я тоже. В аспирантуре. На истфаке. А вы? Надо же. Как интересно. С биологического я, правда, никого не знал. Но с вами мы скорее всего встречались случайно где-то. Не помню только где. Ваше лицо кажется мне знакомым как будто. И мое вам тоже? Ну вот видите... Я же говорю...

Это было время вечернего чая, которое для проводников, как известно, всегда является горячей порой, поэто-

му мы договорились перенести разговор и собраться ближе к ночи. Причем я категорически объявил, что по случаю этой удивительной встречи вроде бы не знакомых, но в то же время и не чужих, как выяснилось, людей, я намерен устроить небольшую такую дружескую пирушку. В ресторане или прямо здесь, у них в купе. Где им удобнее. Удобнее оказалось в купе. Добрая Галя даже сказала, чтобы я в таком случае пригласил и жену. А то нехорошо как-то получается.

Когда вагон угомонился, я взял сходил в ресторане бутылку, закусок и заявился со всем этим к нашим проводницам. О присутствии здесь жены, разумеется, не могло быть и речи. Иначе это превратилось бы для меня в примитивное захудалое застолье, а мои цели были совсем другими.

Не знаю, сколько мы просидели с проводницей Галей — на какой-то большой станции мы еще выходили на улицу и в полном одиночестве гуляли по платформе, — но к себе в купе я возвратился, когда там уже все спали. Не откладывая на завтра и невзирая на головокружение от выпитого — слишком уж велико было нетерпение, — я схватил вечную мою спутницу — толстенную папку — и, рискуя разбудить соседей, принялся рыться в бумагах, где, среди прочего, были и те самые письма из мешка с мусором. Не подлинные только, а копии, отпечатанные на машинке. И при свете ночника на своей верхней полке я еще долго их читал, отыскивая события перекликающиеся или прямо предшествующие тому, что я сейчас услышал от своей героини. Я прочитал письма... и не смог уснуть до самого утра. Это у меня такое бывает — в голове начинает роиться столько всяких мыслей и идей, что от возбуждения сон отступает.

Еще через сутки мы прибыли в Лосинообинск. С Галей мы распрощались очень дружески. Я, как это полагается делать, оставил ей телефон, она точно так же оставила мне свой адрес и, конечно же, просила выслать газету со статьей. Я, имея печальный опыт несоблюдения такого рода обязательств, ответил на это что-то неопределенное, ни к чему меня не обязывающее. Но тут же

пообещал, что на обратном пути мы постараемся подгадать так, чтобы попасть к ней же в вагон, хотя уже решил назад лететь самолетом. Впрочем, это же всё формальные любезности, и кто осудит за их невыполнение?.. Собственно, Есипова Галя меня больше не интересовала. Она теперь и навсегда осталась лишь одноименным прообразом. А я уже был совершенно поглощен именно образом. Мною владела теперь только одна пламенная страсть — реализация родившегося образа. И так владела, что я едва не забыл о своей первой и неизменной заботе в Лосинообинске — о визите к дедушке. Но жена, большая любительница бывать в гостях, всё равно у кого, она не забыла. Честно сказать, мне бы хотелось пойти к дедушке одному, потому что он мне так дорог, он для меня настолько единственный, что всякие прочие люди, помимо мамы, конечно, присутствующие при наших встречах, кажутся мне вторгшимися в наш с ним мир захватчиками. Но жене я пообещал показать дедушку. А если ей что-то обещано, то уже никаких причин не исполнить этого не может быть.

Еще в вагоне, после разговора с Есиповой Галей, у меня возникла неожиданная, лишившая меня в ту ночь сна, идея. Я подумал, стоит ли мне ехать на край белого света для того, чтобы переиздать там какое-то свое старье, когда можно выпустить что-то новое. И издателям должно быть интереснее, по моему мнению, выпускать нечто еще не опубликованное, чем перепечатывать уже изданное. К тому же это не просто новое, а родившееся во многом благодаря самой поездке и в конечном итоге благодаря тем, кто мне организовал путешествие, то есть лосинообинским издателям. Это же довольно занятно: сами издатели оказались частью композиции нового сочинения автора. И что за беда, что оно, сочинение, еще не сочинено. Даже правильно сказать, оно именно сочинено, разве только пока не записано. Но, думаю, записать его мне хватит недели — двух, прямо здесь в Лосинообинске.

На другой день, с утра, я отправился в издательство. Оно размещалось в большом, неожиданно для провинциального издательства большом, новом здании. Очень уча-



стливый пожилой вахтер рассказал мне, как найти директорский кабинет, но тут же добавил, что самого директора сейчас нет в издательстве и не будет ни сегодня, ни завтра и вообще скоро не будет. «Он уехал в Москву!» — сказал вахтер так важно и с таким благоговением, как, наверное, раньше говорили в глубинке о передовиках производства и всяких ударниках, отправленных в столицу на Сельскохозяйственную выставку. Впрочем, это мало меня интересовало. Я же не лично к директору приехал. Хотя приглашал меня лично директор. Собственно, с авторами занимаются редакторы, а директор это так, чисто представительная фигура.

На месте оказался его заместитель. Он меня принял с почти натуральной любовью на лице. Он усадил меня в глубокое и страшно неудобное кресло, велел себя чувствовать как дома и... ушел. Причем ушел, как мне показалось, навсегда. Прошла, кажется, уйма времени. Я, наконец, не выдержал и вышел к секретарше, чтобы узнать, что мне делать дальше. Я такой-то... Вот явился... Но диалога с секретаршей не получилось, потому что в этот самый момент влетел зам и опять увел меня в свой кабинет и опять усадил в ненавистное кресло, придающее всякому в нем сидящему позу, уместную больше в других помещениях. Зам таким оптимистичным жестом показал, что сейчас всё устроит, и принялся куда-то звонить. Там очень долго было занято. Наконец ему удалось соединиться. И он попросил кого-то срочно подойти к нему. Пока этот кто-то шел к заму, я решил хоть немного прояснить ситуацию с их проектом. Ведь я, в сущности, ничего об этом не знал. Я поинтересовался, а кто еще будет включен в серию? Есть ли известные имена? «А как же! — бодро так начал зам, — этот... как его... Он тоже будет включен в серию. Да... И другие поэты». Я помотал головой, как человек не понимающий, о чем идет речь. «Позвольте, — сказал я, — но я не поэт. Туда и поэты тоже входят? В серию?» Теперь уже зам меня не понял. «А кто же вы?» — очень удивился он, как будто у нас, как в гомеровские времена, существует только одна поэзия. «Я пишу прозу, — ответил я, — рассказы, повести...» — «Напечатаем!» — коротко ответил зам.

Кажется, скажи я ему, что я математик и составляю какие-нибудь там интегральные логарифмы, он бы и на это точно так же ответил: напечатаем!

Тут в кабинет вошла женщина и зам передал меня на её попечение. Это была редактор отдела, который и готовил «Гиперборейные берега». Она увела меня в свою комнату на другой конец здания. И мы тотчас сели с ней за стол в характерную позицию «автор-редактор», которую лучше всего изображает дословный перевод известного выражения *tete-a-tete* - «голова в голову». Звали её Анна Сергеевна. По дороге в отдел она мне, между прочим, заметила, что она «очень неплохой литературовед». Я ей ответил, что для меня это стало очевидно с того самого момента, когда я узнал о её решении включить меня в свою серию.

На вид Анне Сергеевне было лет сорок пять. Наверное, она была симпатичной женщиной. Я говорю «наверное», потому что симпатичной она, по моему мнению, должна была казаться всем, у кого не пробуждала никаких воспоминаний и ассоциаций. Но у меня, увы, пробуждала. Мне Анна Сергеевна живо напомнила мою научную руководительницу в университете, которая при внешней миловидности была натурой очень желчною. Помню, она всё любила щеголять двумя словечками: «сублимация» и «реминисценция» — причем ставила в тупик не шибко подкованных студентов. А такая симпатичной быть не может. Но сразу-то этого не поймешь. Для этого нужно прежде узнать человека. Так вот, к сожалению, Анна Сергеевна внешне очень напоминала ту доцентку, почему и душевные свойства последней я неосознанно перенес на Анну Сергеевну. А на самом деле, возможно, она «чудесная женщина», как сказал бы дедушка.

Анна Сергеевна положила на стол папку, раскрыла её, и я увидел там вырезки из газет и журналов с моими публикациями. И там же была целая стопка корректуры книги. «Вот, — сказала она, — что мы подобрали для сборника. Листов десять где-то получается. Но давайте займемся конкретно текстами. Вот посмотрите, в этом рассказе, в самом начале, как вы употребляете форму управляемого слова...»

Так мы просидели до вечера. Я, как водится, отстаивал каждое свое слово. Она, также по обыкновению, пыталась мне доказать, что надо что-то изменить, переделывать, убрать, заменить. И чаще всего я соглашался.

Наконец, когда мы решили на сегодня уже работу закончить, я изложил Анне Сергеевне свой план. Я прежде всего сказал, что по-настоящему потрясен её редакторским мастерством. А сделать лучшую подборку своего избранного я бы не смог и сам. Но, как мне кажется, это издание только выиграет, если в нем появится новое, неопубликованное произведение. Если нельзя в книгу ничего поставить сверх того, что она готовит к печати, то я согласен снять три-четыре старых рассказа, а вместо них напечатать одну небезынттересную вещицу, которую я сочинил, представьте, по дороге в Лосинообинск.

Мое предложение восторга у Анны Сергеевны не вызвало. Понятно, это ей доставляло новые хлопоты. Это ей теперь еще что-то надо было читать, редактировать, опять согласовывать со мной каждое сомнительное *управление*. Да и потом, возможно, содержание сборника было уже утверждено тем же директором или редсоветом. И всякие перемены в содержании требовали каких-то формальностей. А уж когда я ей сказал, что эта вещица еще не написана, она даже развеселилась. Ей всё стало ясно со мной. Шутник этот автор! О чем же тогда говорить...

Но я попросил её выслушать меня хотя бы. Я был убежден, что рассказ мой покорит редактора, и она после этого сделается горячей патриоткой моей ненаписанной ещё вещи. Начал я издаека. Я напомнил ей, как часто теперь *литературоведы* отмечают неспособность или нежелание современной прозы находить, открывать характерного героя, как часто созданные нынешними авторами образы бывают надуманными, неживыми. Я же, осмелюсь утверждать, открыл яркий типичный образ нашей современницы. С пороками и добродетелями. С душой, в сущности, нежной, но облаченной в броню напускного цинизма, как того требует среда. Натуру противоречивую. С жизнью безотрадной, как у истинного продукта нашего безвременья. Но неизменно надеющуюся на что-то эфе-

мерное лучшее. Причем раскрыть этот образ я хочу при помощи редкого довольно приема — в повествование свое я включаю будто бы найденные когда-то мною письма моей героини. И уже она — героиня — в этих своих якобы письмах сама себя преподносит. И письма уже готовы. Вот они — со мною. Дополнить же их текстом рассказчика, построить какое-то дальнейшее развитие судьбы героини, это уже не сложно. Это, действительно, уже всё *придуманно, сочинено*, и мне осталось только сесть и записать. Это готовая повесть. «Хотите, я могу даже вам сейчас её подробно рассказать?» — спросил я.

Анна Сергеевна смотрела на меня сочувственно. И одновременно с усталой безучастностью. Я могу предположить, что она думала. И чего это мне неймется? Что я загорелся так? Наверное, в этот момент она испытывала род жалости по отношению ко мне. Конечно, авторы всегда уверены, что последняя их вещь удалась, как никакая другая. И кто относится к этому с недоверием и не горит желанием хотя бы рукопись выклянчить прочитать, тот доставляет автору смертельную обиду. Редактору ли этого не знать. И Анна Сергеевна, как истинный редактор, сказала: «Хорошо. Дайте мне посмотреть ту часть, что уже готова. Но только я вам ничего не обещаю. Книга уже набрана и смаетирована. Вряд ли наше руководство согласится всё переделывать».

Начало, конечно, было плохое, что и говорить. Если она уже настроена к моему плану безынттересно и берет-ся читать *часть* повести только из снисходительности, то едва ли у нее поменяется отношение по прочтении. Надежды, откровенно сказать, никакой. И тем не менее я передал ей письма Есиповой Гали. Ведь бывают же иногда чудеса. А вдруг и теперь случится такое.

И вот сейчас, я думаю, настало время обнародовать эти самые письма. Коли уж я дал их читать одному человеку, то нет смысла больше скрывать письма и от прочих. Перепечатывая их, я старался максимально сохранить авторское своеобразие корреспондентки. В том числе я не всегда исправлял и грамматику, если считал, что грамматические фивольности дополнительно характеризуют мою героиню. И так, вот ее письма.



\* \* \*

Здорово, прелесть моя!

Это я. Чё не поешь? Мне так нравится получать твои письма, как ничьи.

Сегодня получила от Анны Игн. письмо. Новости мне написала. Веня женился на Овчаренко. Пришли в сваты 12 человек. А мать их выгнала. Ленка схватила немного шмоток своих, убежала к нему, теперь у них живет. Вот так-то. Жених наш один улетел. Ха-ха 2 раза.

Маринка, у меня горе. Я по беллютню снова. Прибила палец в лесу на посадке. Мужики цепляли сажалку, а я положила руку на неё. Тракторист гидравликой поднимал её: как дернул и мне палец — фить. Я его сама выдернула еще как-то, оторвало бы на хер, вот делов-то было б. 2 ночи не спала, пошла в больницу, (сегодня снег идет), нарывать стал и не гнется, я решила пойти. Прихожу, хирург — такая прелесть. Говорит, ну Галка, будем его срывать. Я говорю: «Больно ж». «Обезболим». Укольчик поставил, ножницы взял, да как дернет. Так крови полно и с гноем. Забинтовала мне его баба, чувствую, падаю, сознание не потеряла, но как мне было плохо. Сидела минут 5, пошла, выхожу, у меня голова кругом, бух на сиденье, потом прошибло всю, не знаю, что делать. Вышла эта баба, как глянула на меня, шары выпучила и бегом, смотрю врачи бегут, 2 укола прямо в коридоре всадили в руку. Там какие-то 2 молодых стояли, смотрят на меня все. Я кое как одыбалась, обулась, руки трясутся. По лестнице спустилась, стала одеваться, глядь в зеркало - бледная, как стена. Потом укол стал отходить, ломит всё, рука отнимается. Я зашла в магазин, взяла бутылку, пришла, 2 таблетки димидрола заглотила, стакан водки кое-как выпила и спать.

Минут 30 помучилась и уснула, не помню как. Проснулась — темно, палец не болит, а голова трещит и зуб. Я еще стопку выпила и в 12 дня встала, да на перевязку скорее. Вот такие пирожки. Своей смертью не помру, лесиной придавит на хер.

Стала чаще думать о смерти нелепой почему-то. И родить-то не придется, и мужа-то не будет. Ой, страшно. Да ладно, всё хуйня.

Как делишки? Погодка нравится? Хоть бы на пляж разок сходить за лето.

Ты хотела, что б я сфотографировалась. Смотри, да не падай. Это я после 1-го из дома приехала, пошла на профсоюзный новый фотографироваться, меня соблазнили сфотографироваться, да прическа хуёвая была, дождь как раз шел. Уж не могу, так не лезла бы. Не могли сказать, что б я не лупила глаза. Но хер с ним. Домой надо отправить. Мамка пусть поглядит, скажет: грустная, домой, может скажет, приезжай.

Пиши. Спать опять сейчас лягу. Погода дрянь, барабанит дождь и снег. И вязать не могу, читать нечего.

Ну пока. Целую. Привет девчонкам всем. Когда приедешь?

Не могу вспомнить, когда у Женьки день рождения — 13 или 4 (4 вроде у Кости или наоборот). Все-таки, наверное, 13. Поздравить не забыть надо его. А Костиного адреса нет. Ну пока.

Напиши индекс свой. До сих пор не знаю. 4 или 41, или как.

\* \* \*

Здравствуй, радость!

Это я, лошадь старая. Слова и впрямь у тебя ласковые. Радостно на душе от слов таких.

Слава богу, хоть твое письмо дошло, теперь я хоть немного уверена, что живу вместе со всеми. Дела у меня не очень: писем нет более 2-х недель уже. Как пришли с твоими тогда много писем и всё. Как будто я от мира оторвана, как будто для меня почта другая. Звонила Татьяне своей, говорит 2 письма написала, еще в начале мая одно, второе после 15-го. Уже 6 июня, я их еще не видела. От Олега ничего нет. Я тоже не стала писать. Писались каждый день, а потом нет и нет, день, два, три... Пиздец! Разлюбил? Возможно. Последнее 20-го было, короче. Бабуля ворожит. Притомила. Ни

хера не соображает. Пиздит — и не смеется. Говорит, дама у него есть червовая, по пьянке, но думает он обо мне и останется со мной. Ха-ха. Я, в принципе, не переживаю. Не умею я переживать. Всё. Отрафировалась душа и сердце, никого не принимают. Так тебе и надо, коза. Поменьше надо было хвостом вертеть-то с 6-го класса.

Сначала в ящик заглядывала с трепещущим сердцем, а теперь иду с работы и равнодушно — в ящик, по инерции. Вот так-то. А ты говоришь — нужен. Да кто мне теперь нужен, разве только на время, по потребности, и то, вот уже 3 месяца, 4 даже, живу без мужиков, даже думать о них противно. С Олегом, конечно, что-то не так. Понравилось просто, как мы с ним время провели. Набалделись, наржались, весело было. Разлука — всему конец. Как вместе люди — всё как положено, стоит расстаться, думаешь - подумаешь, что свет клином сошелся. Нашлась вот, наверное, какая-нибудь в Михайловке. Бабы же сейчас резкие как понос, стоит задом вертонуть пару раз и ты — мой. Вот и закрутили, наверное. Я уж и так и сяк думала (просто собственные мнения по косточкам разбираю), решила: не мог он бросить писать просто так — или они до него и до меня не доходят по милости чьих-нибудь рук, или... или не знаю. Да и бог с ними: и с письмами, и с Олегом. Не судьба. (Не смейся). Знаю, скажешь, судьбой руководит все-таки хоть немного сам человек. А я не борюсь за свое счастье. Чему быть, то и будет. А вообще мне неизбежно приходит конец. Я что-то трогаюсь понемногу. Работа. Ты не представляешь, какая замечательная у меня работа. Не везде только можно работать, чтобы она была замечательной. В Юколе — это мрак. Всё давно продано и пропито. Душа болит, да ладно, мне здесь не работать, я так думаю. Мысли что-то скачут. Ничего определенного. Вчера ром пила. Поехала делянку отводить ДСУ (дорожно-строит. упр.). Они ром взяли где-то кубинский, обычный. (Но здесь его нет). Я им более менее классный лес отдала. Выпили малость, на природе, тепло было, хорошо. Мужики тоже интересные (в отцы годится один, а другой шофер ничего, лет 30, 32). Лисят видели 5 штук бегают, а лиса лает поодаль стоит, завывает, не подпускает. Хотели поймать, где ж, догонишь их. Как тараканы бегают.

Фотографию получила? Поставь на божничку и любуйся каждое утро. Как глянешь — настроение сразу на весь день. Ха-ха. (Шучу, спрячь ее подаль, чтоб не видел никто). У меня вот тоже рядом с Олегом стоит. (Он высылал армейскую, такой бравый). Я как встаю утром, ну чё, Есипова, ха-ха 2 раза, и она меня понимает. Шевельнется даже, кажется, и улыбается, мигает.

З/плату сегодня получила 171 р. 78 коп. Летом-то хорошо, а вот зимой — на 130 жить буду, 120. Не разгуляешься. Холодно опять сегодня. Весну хочу. А ты? Хочешь? Если захочешь вдохнуть аромат садов в цвету, распахни... первые странички 1 тома «Тихого Дона». Такая прелесть весенней природы ворвется в твою душную городскую комнату. (Читала где-то, не помню, было такое?)

Веню-то жаль? Такого парня в руки халатные отдать. Ну да пусть поживут. Глядишь — родится кто-нибудь. С Веньки бутылку сдерём.

#### Лирика

*Холодно вато пахнет мята,  
Деревья клонятся ко сну (и я тоже)  
И ночь на краешек заката  
Плывет, как щука на блесну.*

Поздно вато. Но я еще потреплюсь. (Надеюсь, мозолей на языке не будет).

Во, видишь, опять тоску напевают. «Что, — говорит, — тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой». (По радио поют). А зачем ее благодарить, за что, с кем она только нас не сводила, да, радость моя? Разве ж только удачнее всего было давным-давно, когда она, слава богу, свела меня с тобой, да с Мих. (Мих-ва молчит, какая выдра, так и передай ей, чертенок. Всё с Женькой у них, нет, еще решено-то? Когда свадьба? Суки — еще не пригласят).

*Так что ж тебе подарить, человек мой дорогой?  
Что тебе подарить,  
Кроме верной любви?*

Конфетка вот у меня «Василек» и «Кара-кум» в красивых обертках, но я ж тебе ее в письмо не всуну при всем желании.

Кстати, 21-й год приближается, скоро стукнет по голове сверху и ты... старуха, считай. Морщинки скоро появятся, и мальчики смотреть уже не будут. Ох уж эти годы.

Ну а пока нюхай фантики. Я твою «Белочку» когда-то еще в студентах нюхала. Что-то спрашивала ты там в письме, сейчас прочту еще, отвечу на вопросы.

А, опять о любви. Надо ж, о любви забыла. Ну да я уже ответила на счет нужен — не нужен. Не знаю я, Мариночка, милая, ничего не знаю, буду по течению плыть, куда волна занесет. А тот парнишечка... Увижу я еще того «парнишечку». Красивый, гад, и гордый очень. Люблю таких. На сессии встретимся. Он сейчас в Тюмени, леса устраивает. Может напишет — да бог с ним.

А то, что «жалко» ли Олега — нет, Марин, я ж говорю, мне сейчас ничего не надо, не жалею я никого, не думаю ни о ком по-человечески. Одно знаю, предложил бы мне сейчас Олег замуж за него выйти — вышла бы, не задумываясь. И то, только за него, кто другой — нет. Погулять хочется. А с Олегом мы вместе бы гуляли. Веселый парень, да. Согласна. Золото. Но... видишь, как оно выходит у нашего брата: не по-людски, кого не надо — есть возможность на аркан взять, а кого надо — ха-ха 2 раза. Кто-то другой берет.

Ну опять об этом. Всё. Всё письмо, о чем не следует.

Не спишь? Ты брось, Маринка. Дня не хватает, что ли. Так высохла, как стебелек, заработать хандру хочешь. Вылезут годиков через 10 твои фокусы. У меня вот уже начинают вылазить. То ноги, то голова, то печень, живого места нет.

А не спали-то мы с тобой, наверно, вместе в ту ночь. Я с пальцем мучилась, читала, вязала — ничего не получалось, крутилась на кровати, выйду курякну, снова лягу, в 5.30 встала, а утром в больницу. Сейчас вроде все в порядке. Ноготь еще расти не думает. Он, говорят, месяца 3 расти будет. Сегодня замерз — заболел опять. Беречь надо, а то еще отнимут на хер.

«Бежишь, говоришь, в неживые леса! И никто не гонится».

А ты не думай, что за тобой никто не гонится. Ты беги, беги, беги вперед, а впереди тебя счастье будет поджидать, может где-то под лесиной, или на березке стройной сидеть будет, или за стволом толстым. Все равно - впереди. А сзади и не надо. (Шутки всё, но в них что-то есть).

Балда я, говоришь, не понимаю, что ты «человек». Ошибаешься. Все равно для меня мое начальство, директор туповатый и областное управление, все дубы и бляди. Неужели и ты рядом с ними. Ха-ха.

Может и помнить-то тебя так долго никто не будет, как я (если раньше не лягу туда, откуда не встают).

Так что это ты, радость моя, балда. Я тебя даже полюбливаю. Вот.

Бабуля зашла, спрашивает: «письмо было?» (Не спится ей, бок болит). Тоже ждет. На фото Олега каждый день смотрит. Я говорю: «да нет, от подруги». «Ты, поди, плачь», - говорит, - да, я не вижу, ты, миленькая моя, не плачь, это зря, чего по ним плакать».

А я вот и задумалась: как давно я не ревела, ужасно давно, даже не вспомню. У меня давненько уже такая причуда. Чуть плохо то есть становится, я подхожу к зеркалу, киваю головой и говорю: «Терпи, Галька, - ты еще повоюешь». И смешно становится. Настроение много, но поднимается. А в принципе, всё это - лирика.

Кто пишет тебе еще? Пиши. Жду очень. Пиши чаще и скорее. Я на необитаемом острове, куда доходят только ваши письма, мадмуазель. Пока!

ГАЛЧОНОК (ха-ха).

Ой, забыла, у меня же сегодня еще стирка. Заболталась. А болтать-то мне когда? Некогда! Ха-ха 2 раза.

\* \* \*

Привет, Маринка! Я это. Кедр из Юколы. Как живешь? Как живот? У меня что-то побаливает. Сегодня травы всякой нажралась, вместо щавеля, наверное. На природу ездили. На посадку отправили всех, а сами на озеро. После получки гудим 3-ий день уже.

Приехала, замерзла, захожу — бабка сидит в фуфайке возле нетопленной печки, посинела от холода блядь, а дрова все-таки экономит. Э, думаю, иди ты к свиньям, отперла дрова и топить давай. Сейчас она спит, приболела что ли. А я сижу — не спится, выходной завтра, а в воскресенье на посадку (по очереди в выходные во время посадки). Подожди, в печке помешаю. По радио «Сатира и юмор» — «С улыбкой» начинается. И все языком трепят. Вот опять. Веселые деньки, солнечные, молодые, каждый — подарок. Все сверкает, все нарядно. Спасу нет, подарок лето с весной, так уж подарок. Я тащусь. Сижу возле печки, ноги в горячей воде в тазу, чай пью (с похмелюги-то) и гора фантиков на столе. Картина. Ха, ха, Мариночка. Я начинаю, однако, погуливать основательно. Каждый день, каждый день. Втянулась уже. Иногда, конечно, и необходимо не хочется, да заставят. Приезжай, с тобой попьем. С девчонками приезжай. Я рада буду очень, очень. Числа где-то 27 еду домой. Ты 26-го где будешь, почему молчишь? Если дома — я приеду, я сама себе хозяйка. Так что напиши.

А танцевать хочу! Кто бы только знал. Одичаю, ей-богу одичаю здесь.

Как на любовном фронте дела? Влюбилась в кого-нибудь? А то я разрешаю — слегка.

*Приезжай ко мне на реку Ловать.  
Хоть бы раз тебя мне поцеловать.*

Ха-ха 2 раза. 100 лет не целовалась. Не умею даже, давно разучилась. Тьфу, срам, не хочу вспоминать даже и представлять. Разве только тебя в щечки.

А спать хочу. Ой как хочу спать. В детство хочу, Маринка. Золотая пора. Белый фартучек, бантики, косички.

Да, знаешь, вспомнила. Видела сегодня сон. Будто С.Филатов женится. На ком — не известно. Пустовалова свидетельница. Протас — свидетель. Я Ленке говорю: «Ты ж замужем, тебе нельзя». А она мне: «Тихо, мне надо Толю срочно окрутить». Всех видела что-то (класс), бегали все, орали.

А дня 3-4 назад видела такое: собралась ехать домой и стою на профиле, жду автобус. Потом пошла за сумкой, (а была в летнем платье и туфлях каких-то), да как упала в

грязь, встала, и автобус идет. Я скорее под краном обмылась, обмылась и в автобус. Хуевый сон. А автобус — не помню, к ссоре или к разлуке снится.

Да, кстати, забыла. Получила письмо от Алки Ивановой (думаю, что-то ж надо тебе написать), ну вот, она пишет: (между нами) заходит как-то в биб-ку т. Вера Самусь и спрашивает: «Алла. А что у Г. Есиповой с Колобатовым? Они дружат?» Алла говорит: да нет, просто на празднике вместе были». Она-то и сама толком не знает ничего. Я ж сейчас не распространяюсь даже близко знакомым и друзьям. За исключением любимых — (тебя с Мих. то есть). Аллка говорит: я думаю, к чему это она спрашивает? А она: «Ты скажи ей, Алла, что он влюбляется с одной женщиной в Михайловке (ходит к ней и ночует там). Ей сказала подруга её из Михайловки. (Т. Верина).

Ха-ха 2 раза. А я грешным делом подумала, что Олежа — колокольчик. Вот тебе и «золотой». Ну как?

Мое счастье да-а-а-вно мимо пролетело, как фанера над Парижем.

Мих-ва приехала? Расспроси-ка у нее там поподробнее, или пусть напишет. Она-то наверняка знает все.

Пусть напишет, что за баба хоть. Лучше меня-то? Тогда пусть.

Хочешь анекдот? Рабочие мои мне травят такие вещи. Лягушка, значит, прыг, прыг по болоту. Встречает ее утка. Спрашивает: ты кто? Я лягушечка-блядушечка. А ты кто? А я уточка-проституточка. Давай вместе жить будем. Сделали себе какой-то там шалашик с хвороста. Живут. Заяц мимо бежал. Остановился.

Кто, кто в шалашике живет? Я лягушечка-блядушечка. Я уточка-проституточка. Заяц: возьмите меня к себе. А ты кто? Я заяц без яиц. Пошел на хуй, нам калеки не нужны.

Смеешься? Балдей, балдей. Смех-то хуевый. Заяца жалко.

Ну ладно, мать. Пошла я, наверное, ложиться. Трубу закрываю и... на ночлег. Как здорово все-таки, что есть выходные. Ни вставать рано, ни собираться, ни торопиться. И в то же время их 2 для меня — убийство.

Схожу с ума. Хорошо, хоть в воскресенье на работу.

Ну чао. Целую. Пиши. Жду. Привет бабкам. Чао. Галчонок.

\* \* \*

Привет, радость!

Продолжаю сегодня. Выходной — делать нечего. Вернее, есть что, да неохота.

Вяжу юбку — разноцветную. Все клубки собрала. Вяжу просто — изн., лиц. Надоело уже вязать, глаза болят. Сходила в баню, на почту (телеграмму дала). Свадьба сегодня у моих одноклассников (он из моей, а она из параллельной). Можно было съездить. Аж 2 приглашенных прислали. Галка, говорят, приезжай, скучно будет без тебя, а я не поехала. И так ни хера не работаю, то беллютень, то еще что. Отгулы берегу ко дню Молодежи.

Слушай, Маринка, совсем забыла. Выпускной же в школе. А какого числа? Ты не в курсе? Можно было б сходить. А он, наверное, не в ДК, тогда хуже — в школу не пустят, порядки всё новые.

Ну так чё, приедете домой-то, давайте, бабоньки, соберайтесь, погудим.

Покурить бы сейчас, бабка где-то на улице шараёбится, я у нее в дровнике шалю по-малеху, когда она спать ложится. Когда-нибудь засекет. Она меня вообще ромашкой считает. Я у нее — девочка прелесть.

Ха-ха 2 раза. Все гадают. А про Олегову «даму червовую» верно она тогда нагадала. Помнишь, я писала?

Ну а ты там чё? Сдаешь. Молодец. Так держать, старая.

Я кофту связала в полоску (писала?) Хреново что-то, маловата что ли. Сойдет по Юколе-то.

Ты уж, наверное, в лагере. Попробуй не приедь домой на день Молодежи. Может последний раз увидимся. Ой - ей.

Ну пока. Пиши, пиши и еще раз пиши.

Чао-какао.

Галя Есипова (я т.е.)

\* \* \*

Маринка, Мариночка, Маринок, Машка — приветствую вас всем своим существом. (Ха, помнишь «знаменитого» поэта — «Всем существом своим приветствую тебя...» Что-то вспомнилось вдруг) Да, пустяки. Приезжаю, значит, с гостей (с Чумачков-то), письмецо лежит и плачет горькими слезами. Все мокрое от слез. «Читай меня скорее, Есипова», — говорит. Я прочла. Жаль, что так поздно, я бы обязательно поддержала тебе дух (с твоими пионерами очень полезен был бы даже и приезд), но... при всем желании я не знала где? что? когда? Вообще мечтала погулять с тобой на день 30-й (Молодежный т.е.). Тебе наверняка интересно, как я провела этот день? Не поверишь — никак! Никак! НИ-КАК. Вот. Даже носа не высунула. На огороде до обеда, правда, была. А потом... Ждала с моря погоды! Она так и не изменилась до вечера. Ну да это пустяки, только... Так что, как видишь, без Вашего величества нажраться-то и не получилось. А хотелось. С Танькой весь вечер предмолодежный мечтали. Вовка интересовался Красникин...

Ой, Маришка, пиздец, ёб твою, холера. Ревизия явилась, жданная-долгожданная. Кто-то у нас полетел, точно. Прости гадину, теперь уж, конечно, не до письма, как видишь.

Ну, привет еще раз. Вечер все тот же — 8-й день июля. Скоро лету конец. Ужас, просто ужас какой-то. Так на чем мы остановились? В.Красникин интересовался тобой. Когда, когда приедет? Когда, говоришь, дома-то будет? Я говорю — август. А что? Он: «Да так, ничё, ничё, ехай дальше». Ах, думаю, сука, мне б дома быть, я б Маришке помогла ему мозги заклепать. Жаль, жаль, что все так вышло. Ни дня в Чумачках мы не побыли вместе.

Михалева вот еще тоже придумала. Замуж приспичило не вовремя. Ну да ладно погуляйте там, что б все по уму. Я в командировку снова скоро умотаю, так что погулять мне, наверное, не придется. Я свое отгуляла. Приехала — у директора шары на лоб: «Привет! Ну и нагулялась с женихом со своим?» (Когда Кабаков приезжал, мы мимо дома его раз 100 прошли (без нуля)). Бесцеремонный



мужик. Ну да черт с ним. Дело-то не в том, я попытаюсь, конечно, смогу, возможно и успешно, но навалят работы. А одна я. В отпуске лесничий. Тут уж куда ни кидайся — обвал полнейший. И опять же дело не в этом... Да, потом Михалева мне малеха не пондравилась. Я понимаю, дела, работа, счастья куча сразу, да и вообще некогда. Но... могла б хоть проводить прийти. Весь выходной катались, подбыхали, я думаю, ну зайдут сейчас, а они развернулись и дальше, но могли б на секунду... Я в тот день все-таки уезжала. Знали же прекрасно. Да и вообще деловая какая-то. Первый день приехала ничё была, а тут... Да и опять же не в этом дело. Ты ей не говори ничего, конечно. Я знаю, она человек хороший была всегда и будет. Только обидно мне было очень уж до слез. Не надо вообще об этом с ней, настроение портить, а то слово за слово и может заикнешься невзначай. Лучше ничего не говори. Вам все равно того не понять. Тебя не было, а она занята. Да и глупости всё, ладно. Дело опять не в этом. Дело-то в чем? Я бы хотела, очень хотела приехать. Почему? Ну скорее всего — Наташка все-таки, да и Женька родной стал последнее время. Я уж согласилась с тобой давненько. А потом... потом там субъект один будет. Повод приехать домой. (А то мы ведь с мамой последнее время р-р-р-р). Вот дело-то в чем. Я, Маринка, признаться, домой не хочу. Говорю вот только. Олега увидеть. Он что-то не приехал в день отъезда моего. Обещал, да мотоцикл же разбил, упал малеха. На день Молодежи в Чумачки собрался, а его по пути попоили хорошо. Да и работал, наверное. Да и мама моя еще роль сыграла. Не знаю. В общем не приехал. Причина какая-то. Я говорила тебе, что все это так в принципе и будет. Будь спокойна, Кабанихой я ни в коем разе не стану. Это исключено. Ну дело опять же не в этом.

Дело в том, что я скучаю. А это уже очень, очень, повторяю, плохо. Были бы переживания, куда легче и лучше, но они меня давно не мучают. Я железная с неких пор. А вот просто по-людски, по-бабьи, что ли, скучно. А все потому, наверное, что немножко далековато всё зашло. Сколько раз я говорила себе: «Есипова, не делай глупости, милая». Но жизнь берет своё и не

обращает внимание на твои упрямства, желания и прочее. Ужасно скучно. Вот дело-то в чем. А отсюда: и настроение дрянь, и работать не хочется, и видеть никого, и вообще все, все, все не так. Ни тебе все это пояснять. Да ладно об этом.

Ты знаешь, Маринка, сегодня же я приехала и ужасно удивилась. Чему?

Не хотела уезжать сюда. В Чумачках все думала: как не хочется — приедешь, опять рожи те же самые одни каждый день (5 раз в неделю), работа и т.д. и т.п. А когда приехала, вышла с автобуса — даже сердце засмеялось внутри. Что-то родное все-таки и близкое уже. И так хочется в лес, на работу. Прибежала домой и скорей в лесхоз. А там пустота. Скукота. Мужики мои, говорят, богу молят, чтоб я еще недельку погуляла. Прореживание делать надо, а им не хочется, естественно. Скорее бы их на покос и делу конец.

От командировки бы как отбрехаться. Никак, чую. Мой семинар, как ни крути — мой вплотную. (Меня касается). А ехать-то аж в Воронеж. Ой, жуть бродяги. Надо уж было тогда в лесоустроители подаваться. Геологом же я как-то хотела быть. Кем я только не хотела, господи.

А тебе, Маринка, не педагогом надо быть, не филологом, а воспитателем д/сада или защитником в суде.

Любви в тебе к людям много. И жалеешь ты всех. И доброты. Счастливая. У меня этого или не было, или исчезло куда-то. Одна ненависть осталась да презрение к людям. Я в новом человеке незнакомом скорее плохое узнаю и вижу и пытаюсь узнать сначала плохое, а на хорошее потом не остается ничего. Вот и получается: нет людей хороших. А ты молодец.

Ну и что касается личной жизни, в Юколе в особенности, все по-прежнему. Никуда не ходила, до отъезда тем более не хочется никуда идти. Приходила сейчас бабца с работы, молодая, 26 лет, 2-ое детей, новости малеха рассказала. На свеклу гоняют, оказывается, всех. И мы завтра едем. Как все нехстати. Снова уставшая с букетом цветов идешь домой — приятно, конечно. Если б делать дома ничего не надо, а то стирка, варка, бабка... Ой-ёй-ёй. Знаешь, когда посадка у нас начиналась, я последние 2 дня не ездила, так мужики мне (тракторист тот и еще

один (29) молодой) ведро цветов приперли. Тогда еще (стародубка по народному) горюцвет весенний цвел, незабудки и подснежники (только не те, которые мы называем, а настоящие подснежники на высоком стебле, белые-

белые). Я тебя вроде как-то уже информировала. Так вот приперли в контору ведро, я чуть со стула ни рухнула. Распихла их по кабинетам, да домой букетик поставила. У меня вазочка красненькая, симпатичная (скромненькая). Завтра надо будет нарвать букет, а то пустота, лесом не пахнет в доме лесовода.

Спать надо ложиться. Наверное, заболталась я с тобой. А болтать мне когда, мне болтать-то некогда.

Ольга Селяюнайте, слышала, замуж выходит в августе или где-то здесь.

Да и последнее.

Поговорим о тебе непосредственно. Ты там с умом действуй. Все по полочкам разложи, как полагается.

Сильно строго не поступай и деликатничать с ним нечего. В общем смотри сама. На свадьбе не пей. Танцуйте, гуляйте по улицам, на речку его своди, сильно на психику не дави, не воспитывай, а улыбайся чаще и говори ему нежные ласковые слова. Скажи ему: «Мой ласковый и нежный... зверь». Последнее слово можно с ехидцей. Все это шутки, Марин.

Ну да серьезного тоже кое-что есть. А главное до 27-го отношения поддерживай, а то настроение будет не ахти. А так нельзя. Балдеть надо.

Вот, пожалуй, и всё. Очень хочу видеть тебя, радость моя. Приезжай, что ли. Ждать буду. Очень.

Ну пока. Не спавши же ночь, сейчас отрублюсь моментом. Спать еще больше стала.

А ты давай береги себя. Маме помогай главное. Хоть часика 2 огороду уделяй, прополи грядки, поливай.

Ой, что-то сердце кольнуло здорово.

Ну всё, всё, всё. Пиши. Жду. А лучше самуё. Приветов, пожалуй, никому не надо.

Да еще. Помнишь Сонечку (училась со мной, через стенку жила, энцефалит у которой), дочь у неё родилась, без мужа. Танюшей назвала.

Ну пока. Целую. Г.Е.

\*\*\*

Здравствуй, Маринка.

Мой ты кумир! Идеал мой! Гений! Ладно, нос понизе, а то Чумачковские тучки проткнешь, дождь польет, гулять, дружить, радоваться, по грязи — уже не то. Ну, ближе к делу.

Чего я пишу-то тебе. Шла я сейчас с работы, вернее с работы, да в магазин (с бабами пошли болтаться), да с магазина домой. Ну а так как ты моя прелесть, я ведь редко когда забываю (может часок, два в день наберется) о тебе. Вот шла и думала, что тебе хреново может быть иногда в Чумачках-то (да и вообще черти знает где ты — дома или нет, должна была, говорят, со дня на день появиться). Вот и думаю хоть чиркануть ей малёха, а то писем-то мало получать сейчас будишь, ты же без них не могёшь. Вот и пишу. Гляди, какая хорошая я. Постриглась сегодня, как пацан, ей-богу стала, и челочка коротенькая до бровей. На работе сегодня от силы 4 часа была. В 11.30 как ушла, в 5 пришла поглядеть, чё творится, и все дела. Вчера с ревизией ездили, смотрели культуры, порядок (вернее беспорядок) в лесах. Документацию с утра трясли сегодня. Вроде все в порядке. А почему? Потому что лесничий хоть и в отпуске, а дело свое знает — рыбой всю комиссию подкупил. Благо что бабы одни. Были б мужики, чем бы я откупалась? Мне бы ведь пришлось... (Шучу).

Чем дышишь, Леонидовна? Как погода Чумачковская? Как танцы? Начались? Хотя нет, говорили, в четверг открытие будет, значит сегодня. Ха. Завидую. Танцевать будете. Ох, ведьмы, домой хочу, на родину, в родные края.

Кто кого любит-то там? Любить-то некому и некого. Евсеева только что там. (Ну она меня любит, это уж на век. Была б я мужиком. Эх.) Самохвалова не собирается под венец?

Любовь, любовь. Та же радость. Как луч солнечный светит, светит всему живущему, сквозь все печали и горести, и неудачи, и страдания. Ну да пусть хоть засветит.

Прошла наша любовь, завяли помидоры. И земля нынче сырая, насквозь пропитана, а не растет и не цветет: ни помидоры, ни любовь.

Ох, лирика. Замучилась я уже с ней. На работе — лирика, дома — лирика, в письмах — снова лирика. Хорошо, когда настроение лирическое. Даже очень хорошо.

Во, жених пошел. Живет через дом, симпатичный малый, 10 кл. кончил. Даже звать не знаю как. И мотоцикл есть. Как едет, в окна всё заглядывает. Была б я помоложе» можно было бы и заняться. Но, увы, нету времени, желания и даже глазки соорудить не умею теперь что-то. Да, пустяки. Без глазок тошно.

*Я в них смотрю,  
Как в чистые озера,  
Где крохотные камешки на дне,  
Где водорослей тонкие узоры,  
Где сам я отражаюсь в глубине.  
(Ваншенкин что ли. Не помню).*

Пиши, Маришка, чем занимаетесь. (Про огород не забыла. Уделяй внимания побольше). Ну дружите, а еще что? Как дружите? Наверное, так:

*Понимающие друг друга  
С полуслова, с полувзгляда.  
Разорвавшие замкнутость круга,  
Эти двое, идущие рядом.  
Окруженные светом и садом,  
И весной, и грозой мгновенной,  
Эти двое, идущие рядом,  
Двое рядом — бессмертье Вселенной.*

Пока писала тебе эти листочки, съела полкило «Маскарад» — карамель. Затошнило даже, ой не могу.

Спать хочу. Сегодня часика 2 днем спала, вчера с 11 до 8 ночью и всё спать хочу. А ночью сплю — не разбудишь пушкой. Кстати, вспомнила. Сегодня во сне нас стреляли. (Я видела во сне). И кто думаешь? По-моему С. Лижняк и кто еще — не помню, или незнакомый кто-то. И мы будто были в Михайловке. Значит выстрелили в

нас по очереди (я, ты, Михалева как обычно, и кто-то еще из девок, не то Иванова). В общем, я бегом в медпункт, бегу, спрашиваю, где он есть. Забегаю. Там сидит Наташка Разбаш-Грымова. Давай смотреть меня. Я говорю: «Да машину скорей, там девочки». Тут все собрались что-то: и В.Бочаренко (как встретились? Хотя, забыла, он же со мной уехал, может приехал уже. В Курган, где Михалыч был, собирался что-то), и Нестеров Ю. В общем муру всякую во сне смотрю. Но главное-то что? Лижняк стрелял. Вообще мне такие сны иногда снятся — в кино ходить не надо.

Хочешь яблоко? На. Кисленькое, правда. Жру по страшному. Потолсте-е-ела. Ужас. Не на морду, так.

Надо что-то предпринимать.

Маринка, ты знаешь, чуть не забыла про главную новость. Я вроде кое-как начинаю отбрехиваться от командировки. Не знаю, что получится. Директор балдеет. Поедешь, поедешь. Билет уже взят на самолет. Ох, не хочу.

Знаешь, хочу на свадьбу. Представила. Хоть ты и подруга вообще-то наверное, но попить с тобой хотелось бы. Мало вероятно, что из того выйдет. Но ладно. Хватит по свадьбам разъезжаться.

*Ты меня не любишь? И не надо. Думаешь, я буду умолять. Так хотелось быть с тобою рядом. А вообще не стоит и страдать...*

Пиши. Пиши. Пиши. Хотя, где там. Напишешь ты! Тебе ж некогда всё. Днем в огороде, в делах, а вечером — любви кругом.

Ну, пока.

Пришла бабка. Сидела на скамейке. Говорит: «Пишешь еще? Я думала, ты уже написала». Знает прекрасно, сколько писем приходит и «написала» говорит! Ох и бабки.

Ну, пока. Смотри, В.Н. чтоб не прочитала, а то я всякую фигню пишу.

Пока, целую.

\* \* \*

Ну здравствуй, милость!

Весь день пытаюсь начать сегодня письмо тебе, вот к вечеру собралась. В доме одна-одинешенька! Бабка уехала к дочери в баню. Придет завтра. Хоть футбол гоняй, да не с кем. Кот куда-то убежал. На блядки всё мылится. Хоть бы меня разок взял с собой. Ой, батюшки, как люди одни живут. Не представляю. Завтра улетаю в командировку. Вот хоть разгуляюсь малёха. Напекла себе на дорожку бисквитных пирожных. Ничего получилось. Объеденье. Сейчас нацарапаю вот тебе и спать зарюхаюсь перед дальним плаваньем. Мужичка бы под бочек — и порядок. (Шучу). Только вот думаю, кто письмо это бросит. Я ж и ящика не знаю, кроме почты. На работе кому-нибудь дам задание.

Нового по-прежнему ничего. Ромашек вот принесли мне сегодня. Букет целый. Гадаю — никто не любит. Ха-ха. Докатилась Галька Есипова. Вот это да! Сенсация. Директор меня, правда, любит. Даже окружающие заметили такую вещь. Улыбается всё, глазки строит. Ему, оказывается, не 34 года, а в ноябре только 32 будет. Сопляк со всем. Так можно было б закадрить. Да и толку-то с него. Ничего ни достать, ни пробить — что это за любовник. Правда? Это вообще-то я все шучу, не обращай внимания. Лирика, лирика, лирика... Куда без неё веселому, жизнерадостному человеку, мне то есть. Ха!

И ты меня по-прежнему не любишь? Вот это уж ты зря. Жаль я не мужик. Ох и разыскала б я тебя в любом конце страны — попадись ты мне на глаза хотя бы 1 раз в жизни.

А что! С меня б кавалер получился. Правда? И еще какой. Я бы так же как мои «лесхозовские поклонники» дарила всем женщинам ромашки, а незабудки — тебе. Ты же любишь незабудки? А, признаться, я и не знаю, какие из цветов ты больше любишь. Ну я бы спросила тебя и доставала их зимой даже. Вот какой с меня был бы мужчина. А женский пол что? Фу! Только переживать за

все жизненные неудачи и препятствия. А впрочем, на нас земля держится. А на таких, как Кириленко наша... Ох и кадр! Такие далеко идут. Это ж надо — дернуло её так влипнуть, а? Да гори он синим пламенем, коммунизм этот. Захотела чего. Коммунизм построить. Отправилась. Лучше б ко мне в гости нагряднула. Я б ей тут такого коммуниста откопала. Есть один на примете. Я все так и думаю — ну пара нашей Натальи. Женат, правда, был. Но парень ничего. Серьезный. Где-то что-то около 30. Самый раз. Шепни ей там. Хай катит! Чего говоришь? И тебе найти? Ну, девочки, вы тут всю Юколу разворуете. Вас допустит.

С тобой-то мы уж каких-нибудь «шарамыг» найдем — только в кино раз ходим. Есть у меня тут паренек на примете и тебе. Славик, кажется, зовут. Живет недалеко. Импортный весь. Стройенький. Короче — шайтан. Вот только, кажется, молодой. Что-то не знаю, в Армии был или нет. Я его и видела-то раз 7 всего. Это еще девчонки здесь жили, так показали мне его. А вчера вот с бани шла и носом столкнулись. Такой лапонька. Обернулись даже разом. Глазки ехидненькие.

Ох, трепало я, трепало. А чё еще делать. Хоть потрепаться. Всё время идет. Да и не так скучно.

Кончать надо. Спать, как всегда, хочу. Сегодня на работе сидела, глаза закрываются, еле ручку держу. Сидят все спят. Тогда Танька приперла п/машинку и давай брякать. Весь сон прошел. Еле выперли её с конторы с этой бряколкой.

Ох, дружок, ты б меня видела. Толстею. Как на дрожжах. Аэробикой срочно надо заняться.

Ой, Мариночка, ко мне кажется гости идут. Батюшки. А я думала, он пошутил, тракторист-то. Вот это да. Как по заказу. Я ж одна. Ладно, пока. Всем привет там. Цел. Пиши скор. и обязат-но. Г.Е.

\* \* \*

Здравствуй, чудо-юдо!

Так и не попрощались мы. Где ж было ваше сиятельство? Писать, Марин, много не буду, т.к. не знаю о чем.

Голова кругом. У меня в принципе все нормально. Двигаюсь по наклонной вниз, да так резко, аж ужасно страшно упасть.

Чем занимаетесь? На танцы ходили? Пиши, что нового. Видела С. Дорошенко. Сестру провожал. Они с отцом приехали на машине. Проводил меня, поболтали чуть-чуть.

Дождище пошел сегодня ужасный, как из ведра. Напакостил опять. Сегодня в лесу была. Так хорошо. Жить в лесу хочу. В шалаше, с милым. Ох и рай. Милого только нет.

Ну пиши, милая. Целую крепко, крепко. Дела идут без особого успеха. Завтра пойду опять в заведение медицинское. Вчера была уже.

Ну пока. Приезжай, только обязательно.

Чаво. Я.

Вот такое было у меня знакомство. Так я узнал Галю Есипову. Честно сказать, когда я затем, в Москве уже, перечитывал эти письма, перепечатывал их, снова перечитывал, у меня появлялись разные идеи, как можно было бы их обыграть, что можно этакое на их основе соорудить. Я даже думал, а не поехать ли мне в тот самый лесхоз в «творческую командировку»? — найти там мою героиню, увидеть самому людей, о которых она рассказывает, и каким-то образом решить продолжение изложенных в письмах событий и изображенных судеб. Сделать такую запись с натуры, как говорят художники. Но это, конечно, были фантазии. При моей-то неподвижности ехать в какой-то забытый богом лесхоз... Это маловероятно. Поэтому случайная встреча с Галей в поезде была настоящим чудом, настоящим подарком судьбы. Всё вставало на свои места без особенных с моей стороны усилий.

До понедельника, то есть до следующего визита в издательство к Анне Сергеевне, у меня было в запасе еще почти три дня. И я засел в номере писать продолжение к

Галиным письмам, чем совершенно разочаровал жену, которая, видимо, рассчитывала, что эта поездка станет неким подобием медовых дней, и я буду заниматься всё время только ею. Но я быстренько составил для жены туристический маршрут и отправил её бродить по городу.

Я, действительно, эти два дня почти не поднимался из-за стола. И даже не спал почти. Потому что у меня сон отступает, когда хорошо пишется, когда буквально хмелеешь от извержения чувств, переживаний и рука не успевает за потоком текста. Вообще, думаю, это настает такой род невроза.

И я написал вот что. Галина судьба сложилась очень непросто. Драматично даже. Хотя поначалу всё как будто выходило счастливо. Сбылось-таки самое, судя по письмам, Галино желанное — в том же году она вышла замуж! Страдания её окончились. И не просто вышла, а, можно сказать, удачно на редкость вышла.

Здесь уместно напомнить фрагмент её письма; «Во, жених пошел. Живет через дом, симпатичный мальчик, 10 кл. кончил. Даже звать не знаю как. И мотоцикл есть. Как едет, в окна всё заглядывает. Была б я помоложе, можно было бы заняться. Но, увы, нету времени, желания и даже глазки соорудить не умею теперь что-то».

Этого симпатичного малого звали Романом. И он был на четыре года младше Гали. И, разумеется, — это, наверное, ясно из всего выше изложенного, — не она «занялась» им, а совсем наоборот. Когда Галя написала, что *теперь* у нее нет желания глазки соорудить, конечно же она рисовалась, изображая из себя пожилую, многоопытную, перегоревшую в своих страстях даму. Глазки соорудить она никогда не умела. Потому что, кто умеет это делать, для того и в преклонных годах нет такой проблемы. Сам это неоднократно наблюдал.

А Роман не стал ограничиваться одними только переглядываниями с симпатичной соседкой. Однажды утром, чуть свет, едва Галя вышла из дома, он лихо осадил перед ней своего железного коня и предложил отвезти её на работу в лесхоз. Специально же встал пораньше мальчишка! А вот здесь я уже процитирую самого себя, свою

рукопись, что я настроил за выходные для Анны Сергеевны. Вот каким, думаю, было их первое объяснение. «...Рома сказал ей держаться за него покрепче и рванул с места, будто спешил избавиться от неловкости, спешил поскорее оставить позади свое и Галино смущение. Ехать им было недолго. Но и этого времени им достало, чтобы понять самое главное, понять, что они уже вместе. Галя сцепила руки у него на груди и крепко прижалась к худенькой мальчишеской спине. У нее кружилась голова. И не столько от ветра, хлеставшего её по лицу и трепавшего короткие волосы, сколько от нахлынувшего нового приятного дурманящего чувства. Она не была больше одинокой. И тоскливо ей больше не было. Она уткнулась лицом ему в плечо. «Это что же? — мелькнуло у нее, — это мой мужчина?!» И не вслух — упаси боже! — а единственно руками, ладонями, щекой, всем дрожащим телом своим она спросила у него: это так? ты теперь мой? И так же дрогнувшие острые лопатки молодого человека ответили ей: да, я твой... Злился завистник ветер, бежали прочь две темные зеленые стены по бокам, а старенький «Восход» ревел голосисто и подпрыгивал на ухабах и не было конца дороги для двух счастливых...»

Вскоре они поженились. Галя во все концы, всем знакомым отписала приезжать на свадьбу. Сколько уже свадеб было у её подруг. И свадьбы эти в последнее время уже скорее огорчали её, чем радовали. Но вот, наконец, и её час торжества настал. Теперь она уже может с гордостью сообщить всем: у меня свадьба, я выхожу замуж. Конечно же, помимо прочих, приехала и лучшая подруга Марина Лижняк. И даже осталась еще погостить на недельку. А после её отъезда Рома сделался, как говорят, сам не свой. То грустит, то раздражается по пустякам. Уже и поругались несколько раз из-за всякой ерунды. И однажды, после очередной склоки, Рома ей заявил, что уходит. И не просто уходит, а уезжает в Чумачки к Марине, которая, оказывается ждет его и зовет к себе с тех пор, как побывала у них. Потому что они здесь с Мариной сильно подружились. Особенно они дружили, пока Галя носилась по делянкам в своем лесхозе. Вот так эта добрая, достойная быть воспи-

тательницей детского сада или защитником в суде, филологиня Марина на поверку оказалась злодейкой-обольстительницей. Аккурат подвела под монастырь свою подругу. А несчастная жертва двойного предательства, не снеся позора, оставила лесхоз, бабу с котом и переехала в Лосинообинск. Кто-то её надоумил идти в проводники на междугородние линии. И откаталась она уже в проводниках лет восемь. Замужем больше не была.

Вот с таким рассказом я в понедельник пришел в издательство. В комнате у Анны Сергеевны сидел уже знакомый мне замдиректора. Перед ними на столе были разложены гранки моей книги, и, судя по этому, они говорили обо мне. Я сразу приступил к делу. Хотя без слов уже было видно, что Галины письма моих издателей не вдохновляют, я все-таки полюбопытствовал, как Анна Сергеевна нашла эту историю. Она ответила, что да, действительно, там *просматриваются* характеры, и в первую очередь, конечно, *реализуется* сама повествовательница, но в её *речевом потоке* нет главного — *проблемы*. А это важная, *сюжетобразующая канва*. Поэтому использовать письма как *жанровую доминанту* произведения едва ли *продуктивно*. К тому же там просто много вульгарного, не говоря уже об *обильной* ненормативной лексике.

Помилуйте! — не согласился я. Я ожидал чего угодно, но только не такой причины завернуть мою идею с письмами. — Всё ненормативное и вульгарное это прежде всего часть характеристики персонажа. Да, вот, она такая. А не другая. Была бы другой, то и *реализовывалась* бы, как вы говорите, по-другому. А что касается проблемы, то проблема здесь, по-моему, кричит, вопит. Конечно, если понимать под проблемой хроническое невыполнение лесхозом плана по заготовке древесины, что является предметом постоянной заботы героини, её раздумий и мук, то такой проблемы, нужно признаться, здесь нет. Но разве само безотрадное её существование, среди пошлости, безнравственности, повального пьянства, которые, кстати, сама она считает нормой жизни и стремится не отстать от такой жизни, разве это не проблема? Вы обратили внимание, насколько инородными в её *речевом потоке*, опять же как вы говори-

те, ощущаются стихи, которые она несколько раз цитирует. Их даже совестно читать в данном контексте, как иногда бывает совестно на людях поднять из грязи монетку. Но именно вот такие неловкие эстетические потуги героини еще более подчеркивают то, что я называю проблемой. И по-моему эта проблема вполне типична. Мне во всяком случае подобные примеры известны.

Выслушав мою горячую речь, Анна Сергеевна принялась доказывать что-то обратное, что-то такое в пользу своего мнения, но мне уже это было не интересно. Я не люблю и не умею вести долгую осаду оппонента, если мне не удастся сразу склонить его на свою сторону молниеносной атакой. Анна Сергеевна еще приводила какие-то аргументы, убеждала меня в чем-то, но я уже толком её и не слушал. Зачем? Я отступился. А тут еще и замдиректора вмешался и окончательно (и слава богу) увел разговор от судьбы писем Есиповой Гали. Он сказал, что мне не надо ни о чем беспокоиться. И так всё получается очень хорошо У меня выходит прекрасная книга. Большим тиражом. Он взял со стола страницу гранок и, глядя в текст, сказал буквально следующее: «Вот, смотрите: хорошая гарнитура, бумага номер один, твердый переплет будет. Виниловый. Куда лучше. Мы С. и того так не издали».

Я беспомощно оглянулся на Анну Сергеевну. Но она на меня не смотрела. Пусть так убого, но все-таки начальник её поддержал в сущности. Они меня убедили, переломили. И может быть по этому ей было немного неловко. Я их гость. Приехал по их просьбе едва ли не с обратной стороны земного шара. Но стоило гостю о чем-то попросить хозяев, ему тут же отказали. Возможно, Анна Сергеевна подумала вот так. Впрочем, не знаю. Не уверен. Я попросил Анну Сергеевну позволить взять мне корректуру с её пометками и замечаниями с собой, чтобы я мог дома самостоятельно над ней поработать, потому что теперь, сказал я, у меня разболелась голова. Конечно, она не отказала. *Пожалуйста. Как вам удобно.*

Когда я выходил из комнаты, она спросила то, что я ждал, то, что она непременно должна была спросить: «А скажите, вы эти письма действительно нашли? Или сами

сочинили?» После этого вопроса мне сразу стало легче на душе. Не ошибся я в Гале и в её письмах. Верно знаю теперь, что не ошибся. Этот вопрос о происхождении писем для меня был дороже самой их публикации. Честное слово, но я выходил из издательства с чувством редкостной удачи, выпавшей на мою долю. А Анне Сергеевне я ответил в том роде, что, де, это тайна писательская...

Из издательства я побрел, куда глаза глядят. Историческая часть Лосинообинска дивная. В основном деревянная. И в основном прошлого века. А некоторые улочки просто восхитительные. Своими резными наличниками Лосинообинск славится не только в Сибири. Я вышел к польскому костелу в самом центре города. Еще недавно там был устроен планетарий, но теперь это снова костел. Он стоит на горке и видно его отовсюду. Он издали напоминает константинопольскую Ай-Софию. Такой же коренастый, приземистый, такие же плавные формы. Чтобы попасть в ограду костела, нужно пройти шагов двести по крутой кремнистой дорожке вверх. Идти по ней страшно неудобно, потому что замощена она сто лет назад даже не булыжником, а необработанными гольшами. Но уже наверху, в ограде, ты счастлив и нем. Как на ладони лежит перед тобою старинный городок. О таких пейзажах говорят: Мекка художников. Русская провинция. Где-то справа проскрипел трамвай и больше его час не услышишь. Внизу, в одной из улочек, из тесовой почерневшей от дождей калитки вышла старушка и стоит смотрит, как щенок играет в траве. Петух пропел. И снова тихо. Видна местами река. Но на ней пусто. Ни кораблика, ни баржи. А за рекой сплошь тайга. И вперед, и направо, и налево. И так бесконечно далеко видно её, что, кажется, видишь даже как земля закругляется.

Кто знает, может быть мне еще повезло, что не заинтересовались издатели моей новой повестью. Письма-то письмами. А всё остальное? То что «от автора». Это же всё такое скороспелое. Быстро робить — слепых родить. Да, конечно, я это понимаю, продолжение Галиной истории я придумал вполне «литературное». Как полагается, с интригой, с кульминацией, с развязкой. Старался сделать

это, как требует жанр, насколько возможно драматичнее. Отсюда и муж — десятиклассник вчерашний. Отсюда и коварное предательство лучшей подружки. И сцена дружбы мужа с подружкой. И прочие эффектности. На самом же деле Галя мне рассказала совсем другую историю. По литературным правилам абсолютно *непродуктивную*, как сказала бы Анна Сергеевна. Галя вышла замуж за Олега — давнишнего своего дружка, — который, судя по всему, не прижился у бальзаковской женщины — «червовой дамы». Они переехали в Лосинообинск, потому что кто-то здесь Олегу посулил лучшие условия. У них сынок. Школьник уже. Олег пьет. Иногда дерется. А так всё нормально. Всё обыкновенно. Со своей подружкой Мариной Галя переписывается, но крайне редко, стало не до этого. Да, еще бабка в Юколе, у которой Галя жила, померла. Вот и всё. О чем тут писать.

Я пошел и взял на завтра билеты в Москву. Утром мы улетели. Корректуру своей книги я оставил в номере. Настроение было паршивое, поэтому я плюнул на эти их издательские дела. Сами издадут, как знают. Если захотят. Мне очень хотелось забыть корректуру в гостинице. Это было бы эффектно. Это было бы как раз очень «литературно». Но забыть не получилось. Я всё время о ней помнил. Поэтому и пришлось просто и злобно её оставить в тумбочке.



Владимир ФРИДКИН

## ДВА РАССКАЗА

### Последняя любовь

В июле 1852 года князю исполнилось шестьдесят. Петр Андреевич тяжело переживал возраст. На людях он старался держаться молодцом, острил, курил трубку. А про себя боялся смерти и признавался в этом только княгине Вере. Вслух говорил, что зажился, что Дельвига, Пушкина, Баратынского — друзей юности давно нет на свете. И только что вслед за ними ушел Жуковский... А он сам все коптит небо. Когда оставался один, с ревнивым страхом гляделся в венецианское зеркало, вывезенное из Италии в 1835 году, в год смерти дочери Пашеньки. Из зеркала на Вяземского смотрело курносое лицо старого дамского угодника с глубоко сидящими прищуренными глазами. Князь всегда щурился, когда смотрел на себя. Волосы его пореди и поседели на висках. Теперь он, скрывая лысину, причесывался взаймы: на прорбор, низко сидящий у левого



уха. Весь год князь маялся животом, и врачи советовали ехать на воды в Карлсбад. В начале августа он и Вера Федоровна уехали в Дрезден. Княгиню на несколько дней задержали друзья, и Вяземский отправился на воды один.

Дарья Федоровна Фикельмон, Долли, вернувшись из Вены, жила с мужем и дочерью Элизалекс в Теплице. Вяземский знал ее Элькой, красивой девочкой. Он не помнил, сколько ей было тогда в Петербурге, шесть, восемь? Тогда он подарил ей немецкую заводную куклу. В шестнадцать лет она вышла замуж за князя Эдмунда Кларии-и-Альдрингена, отпрыска старинной семьи, имевшей австрийские и чешские корни, хозяина теплицкого замка. Теперь она была матерью четырех детей. Вяземский помнил, что Долли тоже в шестнадцать лет вышла замуж за графа Шарля-Луи. Старый граф был старше Долли на двадцать семь лет. В Петербурге поговаривали, что Долли несчастна в браке. До князя доходили слухи о ее романах с Пушкиным, с Григорием Скарятиним... Но Вяземский не верил этому. Он знал по собственному опыту, как Долли умеет очаровать и обнадеежить словом, но ласково удержаться на расстоянии.

Узнав о приезде Вяземских, Долли послала в Дрезден 15 августа письмо:

«Дорогая княгиня, посылаю вам сегодня по почте два журнала за июнь месяц. Отшлите их, прошу вас, сегодня же вечером спешной почтой в Карлсбад. Дилижансом пакет дойдет позже. Позже я вам пришлю июльские номера, майские остались в Вене. Я очень рада тому, что могу немного помочь развлечь нашего Вяземского — пусть Бог поможет тому, чтобы Карлсбад восстановил его здоровье, а Теплиц завершил этот курс лечения! После вашего отъезда меня очень волновало здоровье Фикельмона и я очень о нем беспокоилась. Сейчас он чувствует себя немного лучше, и я надеюсь, что выздоровление будет продолжаться. Голицыны уже уехали из Дрездена через Берлин, Кенигсберг, Гумбинен и Псков — варшавская холера заставила их изменить план и направление. Напишите мне еще о Вяземском и о том, начинают ли воды помогать. И оставайтесь верны обещанию приехать сюда перед отъездом.

Все мои шлют вам наилучшие пожелания. До свидания, дорогая княгиня, целую вас и шлю сердечный привет вашему мужу. Долли.»

Вяземский не видел Долли и Эльку почти 15 лет, с тех пор, когда австрийская посольша уехала из Петербурга в Италию. Он познакомился с ней 14 марта 1830 года на приеме у ее матери Елизаветы Михайловны Хитрово, дочери Кутузова. И с тех пор состояние робкой и почтительной влюбленности не покидало его. Впрочем, князь испытывал влечение ко всем красивым женщинам. И, уверенный в себе, смело шел навстречу этому чувству. Но откуда почтительная робость? Нет, не высокое положение внуки Кутузова и дочери Курляндского графа было причиной. Рюрикович по отцу и ирландский дворянин по матери, князь держался в свете просто и независимо. Его сдерживали ум Долли, ее необыкновенная проницательность. Она умела читать мысли. Недаром в свете графиню называли всевидящей Сивиллой. А князь в глазах Долли был русским Казановой. Те же литературный талант, блеск и остроумие полемиста, успех у женщин. А впрочем, был ли он, этот успех, на самом деле? Еще только в первый год знакомства с Вяземским она написана в дневнике: «Вяземский, несмотря на то, что он крайне некрасив, обладает в полной мере самоуверенностью красавца мужчины; он ухаживает за всеми женщинами и всегда с надеждой на успех. Но ему желаешь добра...» Будто отвечая ей, Вяземский позже писал ей в Петербург из Остафьева: «Я постоянен в любви — по-своему, разумеется. Мое сердце не похоже на те узкие тропинки, где есть место только для одной. Это широкое, прекрасное шоссе, по которому несколько особ могут идти бок о бок, не толкая друг друга... можно быть одновременно влюбленным в четырех особ, быть постоянным в своем непостоянстве, верным в своих неверностях и незыблемым в постоянных изменениях».

Еще только собираясь в Карлсбад, Вяземский думал о свидании с Долли. Когда он познакомился с ней в Петербурге, ему было тридцать семь, а ей — двадцать пять. Тогда в России он называл ее «австрийской красавицей».

Каким найдет его Долли сейчас, как встретит? Княгиню Веру встреча вовсе не волновала. Она все знала об ухаживаниях мужа, а к графине относилась с холодным равнодушием. В сентябре Вяземские получили в Карлсбаде от Долли еще одно письмо. Графиня послала его из Теплица 3 сентября.

«Дорогая княгиня, дорогой Вяземский, спасибо за ваше письмо, которое передал мне Ротшильд вместе с журналами. Вот июльские, которые сегодня же отправятся по вашему адресу. Затребуйте на почте, если вам их не доставят, и верните лично, так как я очень надеюсь, что мы с вами еще увидимся здесь. Фикельмону лучше, и я надеюсь, что вы его найдете совсем выздоровевшим. Надеюсь, что также будет и с вами, дорогой Вяземский, и что чудесная вода окажет на вас действие! ... Когда вы приедете, выбор помещения будет легким, потому что публики уже очень мало. Советую вам остановиться не в гостинице «Почта», а в «Принце де Линь», где есть хорошие комнаты и обеды лучше, чем в других местах, или же в «Городе Лондоне». Там чище и лучше, чем в «Почте», и, кроме того, ближе к парку. Прощайте, до свидания, я надеюсь!

Долли Ф.»

По дороге в Теплиц Вяземский терялся в догадках, почему Долли не пригласила их погостить в своем замке. Из-за болезни мужа? Но граф выздоравливал. Из-за княгини Веры, с которой у Долли так и не наладились отношения?

Они не послушались советов Долли и остановились в гостинице «Три лилии». Отдохнув с дороги, княгиня Вера уехала в соседний Ловошиц к гостившим там Лобковицам, старым петербургским знакомым. Вечером слуга Долли принес в гостиницу записку, и наутро Вяземский подъехал к замку со стороны церкви Иоанна Крестителя. Он поднялся по широкой лестнице мимо большого панно Антонио Саккетти с видом Теплица, и Долли встретила его в галерее, выходящей окнами в парк. Она протянула ему обе руки, и он поцеловал правую, задержав ее в своей руке. Потом они долго стояли и молча глядели друг на друга. Долли изменилась. Нет, бархат ее пре-

красных итальянских глаз не выцвел, густые темные волосы не поседел. Но лицо похудело и как будто высохло, у губ пролегли морщины.

— *Mieux vaut tard que jamais\** — первой прервала молчание Долли. Графиня не говорила по-русски. В отличие от своей дочери, приехавшей в Россию трехлетней девочкой и выросшей в Петербурге. Потом Долли справилась о княгине.

— Тысяча извинений, — сказал Вяземский. Она уехала на день в Ловошиц и завтра же будет у вас. Если это не нарушит ваших планов...

— Разумеется, дорогой князь. Я полагаю, вы погостите в нашем Теплице.

Она повела его в гостиную и усадила за небольшой стол красного дерева. Вяземский обратил внимание на его резные ножки: верхом служила женская головка, а основанием — звериная лапа с четырьмя пальцами.

— Почему пальцев только четыре? — спросил Вяземский.

— Вот уж не знаю. А вас не удивляет, что у зверя женская голова?

— Ну, в свете это встречается часто, — парировал князь.

Они оба рассмеялись. Вяземский огляделся. Стены были обиты красным штофом. Почти как в особняке Салтыковых на Дворцовой набережной. Он узнал Брюлловский портрет Эльки и портрет молодой Долли на фоне Капитолийского холма. Он их помнил по Петербургу. Рядом с молодой Долли висел портрет старого генерала в мундире и орденах. Вяземский не узнал лица и только догадался, что это граф Шарль-Луи. Справился о его здоровье.

— Слава Богу, лучше. Он обещал спуститься сегодня к обеду.

У стены, ближе к окну, стояло фортепьяно «Bosendorfer». Над ним — незнакомый портрет юной красавицы. Увидев вопрос на лице князя, Долли сказала:

— Это Шарлотта-Генриетта фон Остен, вышедшая замуж за Клари-и-Альдрингена, прабабушка нашего Эдмунда. Когда-то эта комната служила кабинетом его отцу. Это его фортепьяно. На нем здесь играли Шопен и Лист.

\* Лучше поздно, чем никогда (фр.)

Потом они говорили о разном. О смерти Жуковского (и Долли сказала, что у нее не достало духа послать письмо Рейтерн во Франкфурт), о Пальмерстоне и книге Фикельмона, запрещенной в России, о русофильстве графа и предательстве Меттерниха, о революции в Вене и преследованиях семьи из-за ее русского происхождения.

— А что нового в России?

— В России я оставил старость и одиночество. Но скоро вернусь к ним. Москва увлечена спиритизмом и столоверчением. Известные вам Погодин и Даль вызывают дух Наполеона и Пушкина...

— Ну этого и здесь хватает. И знаете, о чем все это говорит? О скорых переменах в обществе. Так всегда бывает на разломе. Только бы не новая революция...

— Не приведи Бог. Но вы ведь Сивилла флорентийская, предсказательница будущего. Вот и скажите, что ждет меня, старика.

— Предсказать вашу судьбу, князь?

Долли задумалась. Потом улыбнулась.

— Знаете ли вы, что в этом замке провел свои последние годы и встретил свою последнюю любовь Джакомо Казанова?

— Соблазнитель всей женской половины Европы и автор знаменитой «Истории моей жизни», до сих пор не опубликованной?

— Да, он. Добавьте к этому, знакомец Вольтера, Гете, Дидро и всех царствующих семей Европы, собеседник Екатерины Великой, с которой он обсуждал введение нового календаря. К тому же человек низкого происхождения, родившийся в Венеции, в семье актеров. После изгнания из Венеции он объездил в поисках места всю Европу. Какое-то время служил секретарем у Фоскарини, венецианского посла в Вене. И, наконец, кажется, в 1785 году, принял предложение графа Вальдштейна и поступил к нему на службу библиотекарем в замок Дучков. Это рядом с нами, в пяти верстах отсюда. Хозяином Теплица в те годы был дед нашего зятя — князь Иоганн-Непомук Клари-и-Альдринген. Казанова проводил каждое лето в нашем замке и писал здесь свои мемуары. Здесь он и

умер в страшных мучениях от какой-то мужской болезни. Так и не увидел свою любимую Венецию. Это случилось в 1798 году. Ему было 73 года. Его могила на кладбище в Дучкове, в капелле Святой Варвары. Поезжайте туда, это рядом. И приложите ладонь к надгробной плите. Говорят, это приносит счастье в любви.

— Но вы, Долли, как раз с любви и начали, с его последней любви.

— Да. Так вот, незадолго до смерти Казанова встретил в нашем замке Элизу фон дер Рекке. Вы, конечно, знаете это имя. Сейчас оно потускнело. Но в те годы слава этой писательницы распространилась по всей Европе. Элиза была моложе Казановы, кажется, на 27 лет, а может быть, еще моложе. Вы ведь понимаете, как это много...

Вяземский понимал. Он хорошо помнил разницу в возрасте Долли и ее мужа. И думал, случайно ли Долли вспомнила об этом.

— Разница была не только в возрасте, но и в происхождении, — продолжала Долли. — Элиза фон дер Рекке, урожденная фон Медем, происходила из знатной и богатой курляндской семьи. Ее сестра Доротея была замужем за герцогом Бироном. Элизу рано, семнадцати лет, выдали замуж за нелюбимого и старого человека. Его звали Петер Магнус фон дер Рекке. Муж был нетактичен и груб, подавлял ее и насиловал. Элиза страдала и в утешение завела себе кошек. Однажды муж натравил собак на ее любимую кошку, и они разорвали ее на куски. После десяти лет несчастного брака они расстались. С той поры Элиза воспевала идеальную платоническую любовь и презирала физическую близость с мужчиной. И вот, представьте, Казанова, этот всеевропейский Дон Джованни, здесь, в этом замке, пробудил ее страстную земную любовь. А сам пережил свое последнее любовное приключение. Перед его смертью Элиза не отходила от его постели, и он умер на ее руках.

— Мне помнится, — сказал Вяземский, — она написала памфлет, разоблачавший фальшивого графа Калиостро и его сверхъестественную силу, того Калиостро, который был замешан в краже бриллиантов Марии-Антуанетты.

— Именно так. Она писала и про другого «волшебника» — Сен Жермена, того самого... Помните у Пушкина в «La Dame de Pique»? И заметьте, все эти авантюристы пробудились в канун французской революции. Дай Бог, чтобы нынешнее столоверчение не накликало новую кровь...

— Так как же с вашим предсказанием, дорогая Сивилла?

— А вас, князь, еще ждет любовь.

— Вы находите что-то общее между мной и Казановой?

— Только одно: талант. И еще ваш хлесткий юмор. Они отойдут вместе с вами в вечность. Но поверьте, это будет не скоро. Вы будете жить долго... А сейчас простите меня. Я покину вас на минуту, чтобы кое о чем распорядиться.

Вяземский подошел к окну. Окна гостиной выходили на замковую площадь. Слева, перед гостиницей «Принц де Линь» стояла колонна «чумной памятник», поставленный в начале прошлого века в честь избавления города от чумы. Справа площадь шла под уклон мимо Иоанна Крестителя и переходила в крытую камнем улицу, спускавшуюся в город. На горизонте городские крыши, уходившие вниз террасами, подступали к порогу лесистых Рудных гор.

Он услышал шаги и оглянулся. На пороге рядом с Долли стояла стройная белоплечая красавица.

— Вы не узнаете меня, князь? Тогда позвольте представиться. Я — Элька. Может быть, вы помните, что когда-то, в гостях у бабушки, подарили мне куклу. Это было в России. Еще недавно с ней играла Эдмея, моя старшая. В Теплице завод у куклы испортился и мы отдавали ее чинить.

Элизалекс говорила по-русски. Княгиня Клари была похожа не на мать, а на бабушку Елизавету Михайловну. Он вспомнил «Лизу голенькую» и подумал, что сходство это не простое, а карикатурное. Перед ним стояла молодая двадцатисемилетняя женщина в расцвете красоты. Он сразу же подумал о себе. Каким видит его Элизалекс? Уж не карикатурой ли на него самого, на того, каким он был пятнадцать лет назад?

Вечером был обед. Граф Фикельмон говорил о тренингах между Англией и Россией, об интригах против него в

Вене и о желании переселиться из Теплица в Венецию. Узнав о планах графа купить палаццо в Венеции, Вяземский вспомнил рассказ Долли о Казанове. Он поймал себя на мысли, что хочет, но боится часто смотреть на Элизалекс, сидевшую напротив него рядом с молодым мужем. Князь Эдмунд был моложе его больше, чем на двадцать лет, а Элизалекс — на тридцать три. «Другое время, другое незнакомое поколение, — думал Вяземский, — тридцать три — это слишком много. Больше, чем двадцать семь.»

Через несколько дней Вяземские уехали из Теплица. Они не знали, что прощаются с Долли и старым графом навсегда. Неизвестно, послушался ли тогда князь совета Долли посетить могилу Казановы в соседнем Дучкове.

Прошло одиннадцать лет. Фикельмон и Клари купили палаццо в Венеции. Граф Шарль Луи умер через две недели после своего восьмидесятилетия. Долли умерла рано. Она пережила мужа всего на шесть лет. Их похоронили в деревне Дуби, рядом с Теплицем. А Элизалекс и Эдмунд жили в Теплицком замке и в палаццо Клари в Венеции, переезжая из одного города в другой.

Старый Вяземский встретил в России новое царствование и стал сенатором. Преследуемый одиночеством и бессонницей, настоящими и мнимыми болезнями, князь метался по Европе. Подобно Гоголю, которого он не любил, Вяземский уповал на дальнюю дорогу, как на избавление от тоски и мыслей о смерти. Весной 1863 года, вскоре после смерти Долли, князь, которому перевалило за семьдесят, приехал в Венецию. На пьядца ди Рома он сел в гондолу и велел плыть в сторону, противоположную Сан Марко, туда, где канал Джудекка вливается в широкий простор Адриатики. Он сошел на пристани Ле Дзаттере. Трехэтажный палаццо стоял возле церкви Санта Мария дель Розарио и небольшой trattoria со столами, придвинутыми к самой воде, к полосатым столбам с привязанными гондолами. Вяземский вошел в ворота, прошел увитый виноградом внутренний дворик под открытым небом и позвонил у дверей. Слуга провел его в гостиную...

Вяземский любил и знал Венецию, но Элизалекс и ее подруга Марина Персико хотели показать ему то, чего он еще не видел. И Вяземский с удивлением открывал для себя незнакомые шедевры Кановы, Тициана и Тинторетто. Вечерами они гуляли в толпе по piazzetta Сан Марко и слушали музыку уличных оркестров. В один из вечеров после концерта в церкви Вивальди на Славянской набережной, они вдвоем долго гуляли в лабиринте узких улиц за Дворцом дождей. Уже поздно ночью сели в гондолу. Впереди был Мост вздохов. Неожиданно для себя самого Вяземский сказал:

— Я как-то слышал здесь про любопытный обычай. На восходе солнца влюбленные должны поцеловаться под этим мостом. Тогда их ждет счастье на всю жизнь.

— Итак, князь, вы предлагаете подождать здесь до рассвета? Я правильно поняла вас? — смело спросила Элизалекс и рассмеялась.

— Вы поняли меня правильно, княгиня, — ответил Вяземский. И сердце его упало, как уже падало много раз.

— Но до рассвета ждать еще очень долго, — сказала Элизалекс. Она привстала с бархатной подушки и поцеловала его в сильно лысеющую голову, туда, где когда-то был пробор...

По дороге в гостиницу Вяземский задержался на мосту Риальто. Стояла теплая ночь. Полная луна дробилась в волнах Большого канала, расходившихся от плывущих лодок. В центре канала у самого моста съехалось несколько гондол. В них сидели влюбленные пары. На задранном носу одной из гондол высокий широкоплечий гондольер пел под гитару «Санта Лючия». На правом берегу канала за цветочной изгородью траттории играла мандолина. Там пили вино и смеялись. Вяземский посмотрел под ноги. Бродячая кошка терлась о его панталоны.

— Тебе тоже не хватает ласки? — спросил Вяземский, — Или ты голодна?

Его охватило чувство, которое испытывает одинокий человек в шумной нарядной толпе, которой до него нет дела. «Это старость, — думал он. — С ней нужно примириться или умереть». Он вспомнил рассказ Долли о Казанове. «Нет, я не Казанова. Долли тогда ошиблась». Ночью в гостинице он написал стихи:

Беда не в старости. Беда  
 Не состареться с жизнью вместе;  
 Беда — в отцветшие года  
 Ждать женихов седой невесте.  
 Беда — душе веселья ждать  
 И жаждать новых наслаждений,  
 Когда день начал убывать  
 И в землю смотрит жизни гений;  
 Когда уже в его руке  
 Светильник грустно догорает  
 И в увядающем венке  
 Остаток листьев опадает.  
 Вольтер был прав: несчастны мы,  
 Когда не в уровень с годами,  
 Когда в нас чувства и умы  
 Не одногодки с сединами.

Предсказание Сивиллы исполнилось: Вяземский дожил до глубокой старости. Он умер осенью 1878 года в возрасте 86 лет. И в том же году умерла Элизалекс, княгиня Клари-и-Альдринген, не дожив до пятидесяти трех. Потомки Фикельмон и Кутузова жили в Теплицком замке до конца второй мировой войны. Весной 1945 года правнук Долли князь Альфонс Клари-и-Альдринген не стал дожидаться советских войск и переехал в венецианское палаццо Клари. Там потомки Фикельмон живут до сих пор. Первые два этажа палаццо они сдают французскому консульству. Во дворике под открытым небом в ожидании французской визы томятся нынче российские туристы. А под Мостом вздохов по-прежнему целуются молодые влюбленные пары. Они ждут здесь рассвета, когда солнце, вставая из-за острова Сан Джордж Маджоре, зажжет море. Чтобы сохранить счастье на всю жизнь\*.

\*Переписку Вяземского и Долли Фикельмон изучил Николай Алексеевич Раевский, работая в архиве Фикельмон в довоенной Чехословакии и Остафьево. Французские письма и их русский перевод незадолго до смерти он передал Татьяне Григорьевне Цявловской. После ее смерти друг Цявловской, профессор — педиатр Екатерина Александровна Надеждина, подарила их автору. Два письма, которые Фикельмон отправила Вяземским из Теплица, ранее не публиковались.

## История болезни

Сергея разбудил телефонный звонок. Он посмотрел на часы: час ночи. Из Москвы звонил брат. Брат сказал, что накануне умерла мать. Мать болела недолго, ей было за девяносто. Сергей ответил, что вылетает сегодня. В запасе был один день. Через два дня его вызывал по какому-то важному делу шеф, и отложить встречу Сергей не решался. Разница во времени с Москвой — девять часов. Чтобы похоронить мать, в Москве оставалось меньше суток.

Сон отлетел. Сергей подошел к окну. Небо было чистым, звездным. В темноте под ветерком шептались американские дубы-великаны. Пахло сиреню.

Сергей не видел матери уже лет пять. В Америку он приехал в девяносто четвертом. Ему тогда исполнилось тридцать лет. Хотелось продолжать заниматься физикой. А в России было не до науки. В московском академическом институте, где он работал, зарплату не платили. Сотрудники разбегались кто куда. В институте оставались немногие. Их почему-то называли энтузиастами, хотя работать было невозможно.

К тому времени первая волна надежды давно спала. Но вспоминая прошлое, московские интеллигенты еще вдохновлялись неожиданно пришедшей свободой. В августе девяносто первого Сергей две ночи стоял в живом кольце вокруг Белого дома. Свобода забрезжила на расвете двадцатого августа, когда люди в кольце поняли, что штурм не будет. И уже на следующий день вечером Сергей сидел в институте у раскрытого окна, курил, смотрел на шпиль сталинского университетского небоскреба, на Ленинский проспект, по которому, как ему казалось, в панике проносились кортежи черных «волг», и думал: «А ведь хватило всего трех дней, чтобы жизнь здесь, наконец, изменилась. Три четверти века и три дня». А через несколько дней смотрел по телевизору «Взятие Бастилии». Из подъезда дома на Старой площади, окруженного милицией, выбегали испуганные партийные чиновники, прижимая к груди портфели. Сергей узнал секретаря МК Прокофьева, робко пробиравшегося по узкому коридору в

улюлюкавшей толпе. И вдруг поймал себя на нехорошем. Он не только торжествовал, но и злорадствовал.

Москва изменилась будто в одночасье. Рынки обросли развалами заграничного тряпья, которое «челноки» свозили с восточных базаров в Турции. Теперь здесь можно было одеться с головы до ног. Однажды на Черемушкинском рынке Сергей видел такую сцену. Толстая рыжая девка, стоя в резиновых сапогах в густой жидкой грязи, примеряла норковую шубу. Продавец держал перед ней зеркало. Шуба не сходилась. С дороги из-под колес на нежный мех летели брызги...

Нижние этажи московских домов оделись в мрамор. У мраморных подъездов ресторанов и магазинов в ожидании клиентов покуривали коротко стриженные молодые люди в белых рубашках и черных галстучках. У супермаркетов в два ряда стояли припаркованные «мерседесы» и «вольво». В самих супермаркетах деловито скучали охранники в маскировочных костюмах. Охранников было больше продавцов: в Москве грабили и убивали. Как грибы, росли ночные клубы и казино. За миллионы долларов строились и продавались особняки. Продавалось все. Деньги стали зелеными, и слово «дефицит» исчезло. Зато появилось слово «престиж»: престижный район, престижная квартира после «евроремонта». «Евро» — значит, европейский. Про деньги «евро» тогда еще не знали. Престижными называли некоторые театры, например, Ленком. Престижным стало ходить на концерты знаменитых гастролеров в Большой зал консерватории. Партер был заполнен деловыми людьми в малиновых пиджаках и ярких галстуках. Во время концерта, когда над залом повисало нежное скрипичное тремоло, то и дело раздавались телефонные сигналы. Деловые люди доставали из малиновых пиджаков трубки и тихо переговаривались по сотовой связи.

Московские дворы стали большими помойками. Мусор из переполненных баков растаскивали голуби и воронье. Люди копались в помойках, искали пищу, собирали бутылки. Однажды, проходя по двору, Сергей видел, как человек в телогрейке, накинутой на синий рабочий халат, доделал кем-то выброшенный кусок сыра. Рядом ворона рас-

клеывала брюхо еще живому голубю. Несчастный голубь, раскинув крылья, содрогался от боли. Человек в телогрейке ел сыр и равнодушно смотрел на птиц. Сергей бросил в ворону камнем. Ворона отлетела, но не успел Сергей оглянуться, как она снова терзала добычу... Улицы и метро заполнили нищие. Студенты Гнесинки играли в переходах метро.

Сергея раздражала бессовестная реклама. Раньше рядом с его домом, на углу Профсоюзной и улицы Дмитрия Ульянова, висел огромный плакат. На нем лысый человек с бородкой и хитрыми прищуренными глазами протягивал руку в сторону соседнего вьетнамского ресторана «Ханой». На плакате было написано: «Верной дорогой идете, товарищи!» Теперь на этом месте стоял щит с рекламой кухонной мебели. Наглый молодой человек со свирепым выражением лица держал на руках обвисшее тело измученной девицы. Под рекламой стояла подпись: «Это я делаю на кухне».

Сергей жил с матерью в двухкомнатной кооперативной квартире. На еду и курево не хватало. Сергей выкуривал две-три пачки в день. Кое-что им подкидывал брат Саша, работавший программистом в банке. Роман Сергея с девушкой из отдела, где он работал, продолжавшийся пять лет, кончился внезапно. Девушка вышла замуж за бизнесмена и уехала с ним в Англию. Приятель его, уже несколько лет работавший в США в университете Линкольна, предложил ему место «постдока». И Сергей уехал в Штаты.

Линкольн был столицей кукурузного штата Небраска, провинциальным городом среднего Запада. Одноэтажную Америку Сергей представлял себе по Ильфу и Петрову, но увидел впервые. За городом на сотни миль расстились кукурузные поля. В центре города стояло несколько небоскребов. Но самым высоким было административное здание штата. На его куполе стояла статуя сеятеля. Сеятель держал в левой руке сумку, а правой разбрасывал зерна в плодородную землю прерии. В остальном город напоминал огромный садовый участок. Вдоль улиц — белые дощатые дачные дома с крыльцом, с белыми деревянными колоннами у ступенек, со звездно-полосатым флагом. У домов

побогаче — перед крыльцом пара белых гипсовых львов или каменная ваза с цветами. Попадались дома из красного кирпича, чаще всего церкви или синагоги. Вдоль улиц — аккуратно посаженные изумрудные газоны, по которым прыгали зайцы, белки и красногрудые малиновки. Белки жили в дуплах огромных дубов и лип.

Можно было часами гулять по городу и не встретить ни одного пешехода. Только большие широкие машины шуршали колесами по асфальту. Изредка попадалась компания молодых людей, сидевших на крыльце и потягивавших пиво из банок. На решетке под круглым металлическим колпаком жарились сосиски и бифштексы, «barbeque». И от крыльца тянуло родным шашлычным дымком. Летом улицы были совсем пустынные. В теплые летние вечера жирные коты с ошейниками бродили возле домов. Они ласково терлись о ноги Сергея и валялись на спине, приглашая их приласкать.

Улицы тянулись на многие мили и не имели названий. Те, что шли с севера на юг, обозначались цифрами, с запада на восток — буквами. Сергей снял квартиру в доме на углу улиц «F» и шестнадцатой. Магазинов, ресторанов и супермаркетов в городе почти не было. Они располагались в больших торговых центрах за городом. Супермаркеты напоминали огромные ангары без окон. На площади перед супермаркетом — стоянка автомашин и поезда из тележек. Сергей брал тележку и объезжал с ней сотни метров торговых залов. Расплачивался у кассы, которая не только считала, но и произносила сумму каждой покупки. Потом забивал продуктами багажник и отвозил домой. Первое время его подвозил приятель. Потом Сергей купил по дешевке подержанный «крайслер» и ездил сам. Без машины было не обойтись: городского транспорта почти не было.

Американцы жили на больших автострадах. В окнах автомобиля мелькали пестрые щиты рекламы, звездно-полосатые флаги, супермаркеты, бензоколонки. Ели тоже в машине, разворачивая на стоянке фирменные пакеты из Мак Дональдса. В ресторанах еда была невкусной, а сами рестораны однообразны до уныния. В них не было

того, что в Европе принято называть атмосферой. В ресторанах Сергея поразил здешний обычай брать остатки недоеденного блюда домой. Девушка, обслуживающая стол, приносила специальную корзинку из пенопласта и укладывала в нее гарнир и остатки мяса или рыбы. Сергей как-то сказал приятелю, что американцы не едят, а подобно своему автомобилю заправляются горючим. За двести пятьдесят лет они так и не научились наслаждаться едой. У них не было для этого времени.

Зато от работы в университете Сергей давно не получал такого удовольствия. И лекции, и лаборатории — все было организовано прекрасно. А лабораторная техника по выражению Сергея, — на уровне фантастики. Еще ему нравился здешний обычай улыбаться при встрече. Незнакомые люди, встречаясь в университетском кампусе или на улице, говорили друг другу «hi!» или «how are you today?»\* и улыбались. Сергею особенно нравилось, когда ему улыбались молодые девушки. Девушки улыбались широко и радостно. Первое время Сергею казалось, что они улыбаются ему. Потом он понял, что они улыбаются всем. За четыре года у Сергея не появилось здесь ни сердечной привязанности, ни близких друзей. Огромная страна, в которой он теперь жил, казалась ему бескрайней и неудобной. И он думал, что этот простор, эти гладкие автострады, уходящие за горизонт, шахматный, квадратно-гнездовой порядок домов и улиц и есть настоящая причина одиночества.

Сергей скучал по лесу, по воде. По воскресеньям он уезжал за город в парк. В Линкольне было много парков. Там, по краям зеленых лужаек с теннисными кортами, росли могучие деревья. По загонам, огороженным проволокой, бродили бизоны. Издали бизоны походили на холмы и вздыбливали ровную скучную прерию. Чаще всего он ездил в парк Шрамм. Гулял в низкорослом сосновом лесу вдоль прудов, в которых плескались большие жирные карпы.

По вечерам он выходил из дома и один гулял по центру города. Если было невмоготу, заходил в пивную. За стойкой выпивал стакан пива, играл в бильярд. Как-то встретил за стойкой соседа по дому. Подвыпивший сосед, в ковбойской шляпе, в джинсовой рубашке с подтяжками

\* Привет, как дела? (англ.)

крест-накрест, рассказывал ему о видах на урожай, о смерче, или, как здесь говорят, торнадо, налетевшем на соседний городок Лонг-Айленд и о мерзавке-жене, оттяпавшей у него дом при разводе.

— А вы женаты? — спросил сосед, вставая и поправляя широкий ремень на джинсах.

— Нет еще.

— И не женитесь. Все они одинаковы. Чуть что — обдерут как липку.

«Да кому я здесь нужен? — думал Сергей. — И содрать с меня нечего...»

Саша встретил его в Шереметьево и повез в своем «москвиче» на Профсоюзную. Из весны Сергей прилетел в зиму. Москва встретила снежной пургой. Машины проезжали через озера грязной талой воды, поднимая фонтаны брызг. С порога квартира показалась Сергею пустой и незнакомой.

Еще по дороге Саша сказал, что гроб на ночь оставили в Троицкой церкви. В этот небольшой храм на Воробьевых горах мать иногда ездила по воскресеньям. Сергей зашел в ее комнату. Все было на месте. Напротив кровати стоял книжный шкаф с его фотографией за стеклом. Сергей подумал, что все эти годы мать, просыпаясь, смотрела с постели на него. На кровати, застеленной старым клетчатым пледом, лежали ее очки, склеенные липкой лентой. Сергей стоял и смотрел на очки. Он наконец понял, что матери нет.

В тот же день после похорон были поминки. Стол накрыли в комнате Сергея. За стол сели семеро: Сергей, Саша с женой Зоей и взрослым сыном, соседка, служившая в доме лифтершей, и две старушки — соученицы матери по московской гимназии. Сергей давно не пил водки и как-то сразу тяжело опьянел. Потом вспомнил, что улетать надо в семь утра, так и не повидав ни друзей, ни Москвы. Сейчас он уже не понимал, почему не отложил встречу у шефа в Линкольне.

Брат провожал его. В передней, уже надев куртку, Сергей что-то вспомнил, полез в боковой карман и вынул пачку долларов. Протянул Саше. Саша замотал головой. Зоя взяла деньги и, зорко оглядев пачку, сунула ее под кофту.



Лететь надо было почти сутки с пересадками во Франкфурте и Чикаго. В экономическом салоне было, как всегда, тесно. А тут еще толстая соседка придавила его локтем. Сергей не спал уже третьи сутки. Хотелось курить, но на американских самолетах не курят. До Чикаго оставалось часа два полета. Когда Сергей почувствовал тошноту и боль в левой руке, он расстегнул рубашку и стал массировать руку.

— Вам плохо? — спросила проходившая мимо стюардесса.

— Не беспокойтесь... просто устал. Нельзя ли соку? — спросил Сергей, а про себя подумал: «Пить в Москве надо было меньше».

После сока затошнило сильнее. До туалета он не дошел, вырвало по дороге. Стюардесса усадила его в кресло в свободном бизнес-салоне и принесла тонометр. Сергей не сопротивлялся. Она измерила ему давление. Оно было нормальным.

— Вот видите, — сказал Сергей. — Не беспокойтесь. В Москве я похоронил мать и очень устал.

— Сэр, я должна вызвать «emergency»\*. В Чикаго вас доставят в госпиталь и тут же отпустят домой, если с вами все в порядке.

— Вы с ума сошли! — взорвался Сергей. — Я из Чикаго лечу в Линкольн. Завтра у меня там важная встреча.

— Сэр, вы на борту американской компании «United». И я несу за вас ответственность, — ледяным вежливым тоном ответила стюардесса.

Она принесла плед и укрыла им Сергея. Стоило ей отвернуться, как Сергей с отвращением скинул его с себя.

Сразу же после приземления пилот объявил по радио, что на борту — больной пассажир и что после его эвакуации всех пригласят к выходу. Сергей понял, что с ним не шутят и сопротивляться бесполезно. В проходе появились два санитары, одетых в полувоенную форму с многочисленными карманами на рубашке, рукавах и брюках и с ключами на поясе. Не обращая внимания на возмущение Сергея («я могу идти сам!»), они усадили его в кресло и вынесли на руках по специально приставленной лестнице. Самолет стоял на летном поле вдали от рукава аэропор-

\*Скорая помощь (англ.)

та. Рядом с самолетом ждала машина «скорой помощи». В машине Сергея уложили на застеленную простыней каталку, проткнули вену, подключили капельницу и кардиограф. Все это было уже в пути. По дороге санитары переговаривались с госпиталем по радиотелефону, то и дело справляясь у Сергея, как он себя чувствует, и ему стоило большого труда не послать всех к черту.

В помещении «скорой» действовали быстро и без суеты. Сергея раздели и уложили на другую каталку. На запястье правой руки нацепили пластиковое кольцо с его именем и каким-то номером. «Вот и окольцевали», — подумал Сергей. Каждые десять минут автомат сжимал руку и измерял давление. Каждые полчаса брали на анализ кровь. Кардиограмма измерялась непрерывно, но ее Сергей не видел: дисплей был за спиной. Потом подкатили рентгеновский аппарат и сделали снимок грудной клетки. Через пару часов подошла сестра и записала название его страховой компании, номер полиса и адрес. Спросила, кто из близких живет в США. Сергей ответил: никого. Он успел примириться с положением и теперь спокойно разглядывал помещение. Задернутые слева и справа шторы образовали бокс, в котором он лежал. Слева, за шторой, лежала старая женщина. Сергей слышал ее голос. Видимо, она была глухой, так как сестры говорили с ней громко и медленно, часто повторяя одно и то же. Впереди было открытое пространство. В центре большого зала стоял круглый стол. Там работали за компьютерами и говорили по телефонам. Еще дальше был стенд, на котором висели подсвеченные рентгеновские снимки. Время от времени мимо его бокса проезжали каталки, на которых белые и черные санитары везли больных. Приглядевшись, Сергей сообразил, что двое молодых мужчин, обходивших стол в центре, — врачи. Один из них вскоре подошел к нему.

— Привет, Сергей, — сказал доктор так, как будто они уже давно знакомы.

Сергей знал этот обычай, и он ему нравился.

— Меня зовут Джорж, — продолжал доктор. — Как вы себя чувствуете?

В руках Джорж держал папку в твердом переплете, и Сергей понял, что завели его историю болезни. Он отве-

тип, что чувствует себя хорошо и повторил то, что сказал в самолете стюардессе. Потом добавил, что хочет успеть на вечерний самолет в Линкольн.

— Послушайте, Сергей. Ваши предварительные анализы нормальны. Но мы все-таки думаем, что это был сердечный приступ. Мы решили оставить вас на ночь в госпитале. Завтра утром посмотрим вас еще раз и после ланча отпустим. О'кей?

Не успел Сергей открыть рот как Джорж приветливо махнул рукой и удалился. Через полчаса историю болезни положили ему на грудь, подняли на лифте на двадцатый этаж и ввезли в палату.

Палата была на двоих. Рядом лежал старик и тяжело дышал. Между Сергеем и стариком протянули занавес и Сергей снова остался один. На стене напротив висел телевизор, слева стоял столик с телефоном. Сергей набрал номер в Линкольне. Был поздний вечер, и в лаборатории никого не было. Сергей позвонил приятелю домой и рассказал о случившемся. Приятель долго смеялся и сказал, что на встречу с шефом можно не спешить. Ее перенесли на будущую неделю. И Сергей опять пожалел, что второпях уехал из Москвы.

В палату вошла молодая негритянка. Поставила на столик поднос с ужином и сказала:

— Сергей, меня зовут Дженифер. Что вы будете пить?

За годы жизни в Америке Сергей видел много черных девушек. Некоторые, особенно от смешанных браков, были привлекательны. Но таких он еще не видел. Дженифер была прелестна. Голубые глаза, чуть задранный нос, длинная шея и покатые узкие плечи. Больничный халат, крепко затянутый на узкой талии, открывал пригорки маленькой плотной груди. Она была похожа на красивую европейскую девушку, которую зачем-то выкрасили в черный цвет. На белую актрису, играющую в пьесе негритянку.

Вместо ответа Сергей молча смотрел на нее. Потом спросил:

— А что с моим соседом?

— У Гарри инсульт. Ему восемьдесят восемь. Принести сока?

— Да, апельсинового.

Дженифер принесла стакан апельсинового сока со льдом и села в кресло.

— Почему вы не едите?

— Не хочется, устал. Хочется курить.

Сергею вдруг захотелось поговорить с ней. И он рассказал незнакомой девушке про то, как приехал в Линкольн и про смерть матери. Про то, как нелепо было торопиться и провести в Москве одну бессонную ночь. И про глупый случай в самолете.

— Ничего страшного, — сказала Дженифер. — Встречу отложили и торопиться вам некуда. Завтра утром сделают «велосипед» и изотопный анализ. И отпустят. И вы вечером улетите в свой Линкольн... А я маму похоронила в прошлом году. Она жила в Оклахоме. Сейчас там живет мой брат с семьей.

— А отец?

— Отца я не помню. Говорят он был ирландец. У меня ирландская фамилия О'Брайен. Вскоре после моего рождения родители разошлись.

— И вы по образованию медик?

— Что вы! В Оклахоме я окончила музыкальный факультет университета по фортепьяно. В Чикаго у меня несколько учеников. По воскресеньям играю в церкви. А няней подрабатываю здесь, в госпитале... Ну, мне пора. Завтра утром — мое дежурство и я повезу вас к кардиологам.

— Зачем меня везти? Если бы в России я был на обследовании, то звался бы ходячим больным. А я совершенно здоров.

— Ну, это в России. А здесь всех возят в кресле... А что в Москве сейчас очень холодно?

— Да нет, не очень. Сейчас там ранняя весна, талый снег, лужи по щиколотку...

Сергей вдруг вспомнил, что так и не понял, какая стоит погода в Чикаго. И спросил об этом Дженифер.

— Очень тепло. И давно нет дождей. Каждый день поливаю в саду тюльпаны.

Дженифер улыбнулась и вышла. Очень скоро Сергей уснул. Засыпая, ему казалось, что он видит ее улыбку: голубые искры в глазах, морщинки в углах глаз и жемчужный белозубый рот.

Утром пришел палатный врач с историей болезни. За ночь папка в твердом переплете заметно распухла. Врач объявил ему, что сейчас его отвезут к пульмонологу.

— Хотели к кардиологу. Разве у меня что-то с легкими?

— На снимке нашли новообразование в левом легком. Доктор Бэрри считает, что надо повторить снимок и сделать компьютерную томографию.

Дженифер вкатила кресло и усадила в него Сергея. Лицо ее было серьезно. Через пару часов обследование было закончено. Доктор Бэрри пригласил Сергея в кабинет, где висели подсвеченные снимки томограммы.

— Вы курите?

Сергей утвердительно кивнул головой.

— Вот смотрите. Это верхушка левого легкого. Видите? Нужна биопсия и, возможно, операция.

— Это что, рак? — спросил Сергей и не узнал своего голоса.

— Покажет биопсия. Думаю, что рак.

Наступило молчание. Сергей зачем-то продолжал смотреть на снимки. Доктор Бэрри внимательно и строго следил за ним. Оглянувшись, Сергей сказал:

— Сегодня я улечу к себе в Линкольн. Там сделаю биопсию и, если нужно, операцию.

— Хорошо, — быстро согласился Бэрри. — Советую там обратиться к доктору Лиски в Общем госпитале. Он прекрасный хирург.

— Можно взять эти снимки с собой?

— Не беспокойтесь. Снимки вместе с историей болезни будут в Линкольне через день. Советую не терять времени.

Дженифер с креслом уже ждала его за дверью. По ее лицу Сергей понял, что она все знает. У лифта она спросила:

— Вы полетите сегодня в Линкольн?

— Да. Самолет в восемь вечера.

— Через час я кончаю дежурство. Здесь вам делать нечего. Поедем ко мне. Я живу на юге, у железнодорожной станции. Покажу вам свои тюльпаны. Дома есть все, и ланч, и обед.

— А я проголодался. Французы говорят, аппетит приходит во время еды. У меня он, как видно, приходит в другое время.

— Итак, в час ждите меня в вестибюле. Я со стоянки приеду за вами на Тэлкот-авеню.

В машине Сергей достал из куртки пачку сигарет и с наслаждением закурил. Дженифер, оторвавшись от дороги, с осуждением молча посмотрела на него.

Дома она изжарила яичницу с беконом, распечатала пакет сэндвичей с ветчиной и принесла из кухни литровую бутылку калифорнийского «мерло». Сергей наполнил фужеры.

— За что выпьем? — спросил Сергей. — Вы, американцы, пьете просто так. А в России предлагают тост за что-нибудь хорошее.

— За ваше здоровье.

— За здоровье мы еще успеем. Выпьем на брудершафт. Это такое немецкое слово. В английском есть только обращение на «вы». Слово «ты» вышло из употребления, его найдешь разве что у Шекспира или в Библии. Выпьем за то, чтобы наше «you» было бы как «thee» из Библии.

Они выпили и поцеловались...

В узкой кровати было тесно. Они лежали рядом, два влажных горячих тела и тяжело дышали. Полуоткрытым обессиленным ртом она касалась его закрытых глаз. Потом Сергей уснул. Дженифер на цыпочках вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь.

Когда Сергей проснулся, то увидел в окне солнце, висевшее над крышей здания старой железнодорожной станции. Было шесть вечера. Дженифер сидела в кресле и смотрела на него.

— Можно, я буду звать тебя по-русски Женя?

— Как-как? — переспросила Дженифер.

Сергей повторил. Она несколько раз повторила свое новое имя. Ей это плохо удавалось.

— О'кей. Тебе пора. Я отвезу тебя в аэропорт, вернусь, а утром улечу в Оклахому к брату. Оттуда через два-три дня прилечу к тебе в Линкольн. Жди моего звонка. Сделай срочно биопсию. Если диагноз подтвердится, ложись на операцию. Я буду там с тобой. Бэрри сказал, что опухоль нашли вовремя и у тебя хорошие шансы.

Когда вышли из дома, она вспомнила, что не успела показать Сергею тюльпаны. Они обогнули дом. В сад выхо-

дили окна ее квартиры. Тюльпаны, красные и черные, росли на клумбе под березой. Черных Сергей раньше не видел.

— Они тебе нравятся?

— Да. Похожи на тебя. Черные и красивые.

Дженифер нарвала букет черных тюльпанов и сказала:

— Как приедешь домой, поставь их в воду. В воду брось таблетку аспирина. Они дождутся меня.

Вечером она позвонила ему в Линкольн.

— Это я, Женя. Как долетел? И тюльпаны поставил в воду? О'кей. Знаешь, я вот о чем подумала. Ведь все, что с тобой случилось, — это Божье Провидение. Сам бы ты никогда не пошел обследоваться, а потом было бы поздно. Представь себе, что стюардесса уступила тебе и не вызвала «скорую». Что бы тогда было?

— Тогда бы я не встретил тебя.

История болезни и снимки пришли в Общий госпиталь через день. А еще через три дня биопсия подтвердила диагноз. Дженифер не звонила и в Линкольн не прилетела. Сергей забыл спросить у нее телефон брата. Из палаты он звонил ей домой в Чикаго, но в квартире никого не было. А в ее госпитале ответили, что она взяла отпуск. На столике рядом с телефоном стояла ваза с тюльпанами.

В палате Сергей провел одну ночь. Наутро его уложили на каталку и повезли в операционную. В ногах лежала распухшая история болезни. В руке Сергей держал черный тюльпан.

Негр-санитар посмотрел на цветок и сказал:

— А это не разрешается. На что он вам?

— На счастье.

Перед операционной он увидел доктора Лиски в марлевой маске. Лиски посмотрел на тюльпан и улыбнулся одними глазами. Потом Сергею сделали укол в вену и все пропало.

Эти дни Сергей телевидения не смотрел и газет не читал. Над Оклахомой прошел торнадо невиданной силы. Были разрушены сотни домов, погибли десятки людей. Среди них — Дженифер и семья ее брата. О случившемся Америка говорила и писала две недели. Но Сергей узнал об этом последним.



Товий ХАРХУР

## СТАССАТО

### Мыслитель

Я — дворник вселенной. Хожу, собираю объедки, огрызки чужих развлечений и пиршеств.

Работа не в тягость, но требует часто глубоких поклонов.

Высокие дворники нынче не в моде, однако.

Чтоб было сподручней, придумал я палку для мелких предметов.

Накалывать быстро я их наловчился, но только ведь мелочь

не делает чести, пусть даже и дворник радеет к работе.

Короче, весь мусор собираю я в кучу, потом сортирую,

пытаясь придать очертанья,

достойные прочего глаза.  
 И это не трудно,  
 хотя попадаются странные вещи:  
 по виду — размокший картон,  
 а на деле —  
 ни сжать, ни расправить.  
 Тогда, возмущенный, бросаю я спичку —  
 огонь все сжирает,  
 и в пламене ярком встают города,  
 где не мусорят вовсе;  
 и дворник не нужен.  
 Я, дворник вселенной, мечтаю  
 о том, что вселенной когда-нибудь  
 просто не будет.

\* \* \*

Одиночка ли волк или просто капризный ребенок,  
 Твое сердце, как урна,  
 Покрытая серебром  
 Или ртутью,  
 Скатывающейся по краям.  
 Думают:  
 Лепнина великолепная!  
 Думают...  
 Улицы нервов —  
 Трубы, несущие истерию.  
 Шаги — миллионы ступней,  
 Щиколотки в носках,  
 Мусор разбросанных слов,  
 Смятые выраженья.  
 Даже в дыхание ветра  
 Вкрадывается тоска.  
 Ветер скребет по трубам  
 (Искренне, но бесталанно),  
 Ветер врывается в щели  
 (Ветер без щелей безглас).  
 Урна стоит на панели —  
 Полная урна окурков;

Каждый пройдет, сплюнет,  
 Кинет — долой с глаз.  
 Окурки не гаснет сразу;  
 Тлеет (урне тепло)  
 И мучит погасших рядом —  
 Мучит в себе пожар.  
 Ветер в благом порыве —  
 Тупость искренних слов —  
 Коснулся, прижался — вымел  
 Искру, в слюну вжал...  
 Одиночка ли волк или просто капризный ребенок,  
 Твое сердце, как урна,  
 Холодная, спящая урна,  
 Заплеванная тоской.

### Дно

Блеклые складки дивана —  
 словно осеннее поле  
 с равнодушьем натянутым  
 притягивает к себе  
 две вяло плывущие тучи —  
 диван принимает важно,  
 с великолепным достоинством  
 ниспадающий зад.  
 Стены скрипят от зуда —  
 структура, как нервы: колет  
 тень раскидавший фикус,  
 несущий достаток в дом.  
 Ярким пятном — сердце,  
 голое красное пламя:  
 маленький сгусток красок  
 в полумертвых тонах.  
 Ах, как трагично — цинично! —  
 сердце из плюша, локоть  
 томно, но как-то пошло  
 давит живой мазок.  
 В привычных изгибах пальцев  
 долго дымит сигарета:

пепел правильной формы  
сокращает длину  
обычной неловкости пауз.  
Пепельница в окурках:  
когда наполнится, гости,  
толкаясь в прихожей, уйдут.  
Это окно напротив —  
укромный кусочек жизни.  
Рядом такой же. Различье  
лишь в планировке квартир.  
P.S. Кто-то проводит время,  
сжимая его, тасуя.  
Кто-то сидит напротив,  
подглядывая в окно.  
Кто-то молчит, не зная  
куда вставить слово. Кто-то  
крадет их слова и жесты  
и складывает стихи.

### Январская оттепель

Снег не уходит  
Стоит и ревнует  
Замер  
Насупился  
Наледь — броня  
Грязный  
Заплеванный  
Грубо малюет  
О бесполезно потраченных днях  
«Зимушка  
Матушка  
Чистая  
Гордая  
Ты на кого променяла меня  
Весь пред тобой я  
Усталый  
Изношенный  
Цвета земли» —

Выступает земля...  
Плюнул  
Задумался  
Смехом непрошеным  
— Вот заливается  
старый чудак! —  
Весь заискрился  
И радугой бросился  
Вслед за весною...  
— Обманет она!

\* \* \*

Что-то было  
Кажется в прошлой жизни  
трамваи  
улицы  
фонари  
Свет терялся в распущенных волосах  
В комнате звучали стихи  
Это было весною  
(или так только казалось)  
в конце XX века  
в одной из многих столиц  
Стихи бродили по комнате  
Стены послушно внимали  
Стены дешевых отелей  
привычны к любви  
Комната — кинотеатр  
мы — в зале  
они — на экране:  
тени сходились  
ветер  
рассеивал свет  
Это было в начале  
В любви есть только начала...  
Они были  
в этой комнате  
НеМы.

**Девушка в магазине**

Девушка  
 а у Вас бывает?  
 ну это  
 Вы знаете  
 каждый месяц  
 а знаете  
 у меня не бывает  
 оно куда-то ушло  
 больше ничто  
 из меня не льется  
 ни отходы  
 ни стихи...  
 а у Вас почему-то  
 губы обветренны  
 потому что ветренна  
 или потому что волнуетесь?  
 ведь волнуетесь  
 девушка?  
 у Вас такие странные ногти  
 я их не видел но знаю  
 странные  
 они затупились от стучанья по клавишам  
 от того  
 что в детстве  
 их запрещали  
 грызть  
 а глаза Ваши  
 девушка  
 но  
 неужели их тоже не видно  
 это радужная оболочка  
 отразившая толпы идущих у кассы  
 и я только частица  
 только прозрачный лоскут  
 незаметный  
 на безучастной поверхности глаза  
 как смешно создавать из песчинки

прекрасные замки  
 но и наша вселенная  
 она тоже возникла  
 из малости жалкой  
 просто ночь была ветрена  
 ветер мелодией странной  
 кому-то шепнул  
 и кому-то  
 понравилось это безумно  
 безумец окно распахнул  
 и не слово  
 счастливую песню  
 — звук монотонный и радостный —  
 бросил в немое пространство  
 так родилась наша сущность  
 и сущности вторя  
 я говорю тебе  
 девушка  
 посмотри на меня

\* \* \*

Я в глазах твоих — тихий заговор,  
 Тихий заговор приближения.  
 Разглядев тебя — сам движение —  
 Уж не встанешь, не остановишься.  
 А ужалив себя поцелуем твоим,  
 Поцелуем жарким, непрошеным,  
 Никогда уже не рассеять дым,  
 Сизый дым, сокрывающий прошлое.  
 А коснувшись тебя, пропадаешь весь,  
 Исчезаешь в текущем пламени.  
 Неужели такая на свете есть,  
 Или это — ошибка памяти?

\* \* \*

Рыжей бестии — рожь опаленная,  
 Пальцы — иглами. Страсти ток  
 Заметался по нервам; нервами —

Как жгутами — в бараний рог —  
 Сердце странное, беспокойное —  
 Бессердечное — бес конца.  
 Было вольное — стало дольное,  
 Обездоленное — сердце пса.  
 Было золотом — гарью скрылося.  
 Было небылью — стало сном.  
 Колдовство твое — масть бесстыжая,  
 Медь, окованная огнем.  
 Заклинанье — не говор — заговор  
 Струй метущихся — белых крыл.

\* \* \*

Кровать широкая — насмешка над супругом,  
 Который год как проводил жену.  
 И вот уж год несмятая подушка  
 Покоится в положенном углу.  
 Они тогда спускались вместе в лифте  
 И вдруг застряли. В полной темноте  
 Мгновенье они снова были близки:  
 Уста открылись сами по себе.  
 А он все знал — давно и беспощадно —  
 И ждал, немея, что наступит срок,  
 Когда все станет явно и бестактно.  
 И кто-то это вслух произнесет.  
 Она сказала. Дом не покачнулся,  
 И лифт спокойно тронулся к земле.  
 Открылись двери. Он сказал: «Не нужно» —  
 И никогда не смог прийти к себе.

### **О бремени времени**

Время — странное существо. Откуда пришло оно,  
 куда следует — непонятно.  
 Похоже, оно топчется на месте.  
 Как странно время нас разъединило:  
 Твой день уходит — мой лишь привстает,  
 Твое окно заляпали чернила,

Мое — невинно и чернила ждет.  
 Оно меж нами: стрелка циферблата  
 Все время смотрит в разные углы;  
 То мчится, ухмыляясь бесновато,  
 То мрачно тащится. А мы разделены  
 На две вселенные: ты, в будущем, желаешь,  
 Чтоб день еще продолжился чуть-чуть.  
 Я, в своем прошлом, темень подгоняю,  
 Чтобы хоть как-то в день твой заглянуть.  
 Но если ты случайно, засыпая,  
 Подумаешь, что где-то я встаю,  
 И я, счастливо солнцу улыбаясь,  
 Тебе, далекой, песню сочиню,  
 Сольемся мы в безвременье. Паряще  
 Моя душа из прошлого придет,  
 Твоя грядущее покинет — в настоящем  
 Они сольются. Время здесь замрет.

### **Музе**

Открой слова, нелепая, открой!  
 Ну что тебе от этого томленья?  
 Зажав в горсти дрожащей сочиненье  
 чужое, разрываюсь над строкой,  
 скребущей об окисленные схемы.  
 Скрипят в бессилии знакомые слова.  
 И граммофон (уже не голова!)  
 выдавливает звуки. Песнь сирены  
 хрипела б так — не нужен был бы воск  
 и пугы. Отковыриваю мозг —  
 Анатом! Психология, искусство —  
 бесчисленные тропы. Не пройти  
 в тот замок... А в гортани также пусто...  
 Но слышишь перестуки? Подожди!  
 Там тихо заскулил стих — отвори!  
 Пусти его! Открой же, черт возьми!



**Говорить**

Говорить — не думать.  
 (Говорит — но думает?)  
 Говорят, не думая, —  
 Просто говорят.  
 Просто, как подумаешь,  
 Говор в горле тужится:  
 Звуками — по небу,  
 Меж зубов — сквозь ряд —  
 Не слова — шипение,  
 Пена желчью желтая.  
 Жесткими губами трудно и солгать,  
 Просто, как подумаешь,  
 Мир вольером чудится,  
 Где привычным жестом  
 (Кнопка — корм — кровать)  
 Управляют циклом  
 И дают названия —  
 Звукосочетания —  
 Выбор небольшой...  
 И в бессилье рушится  
 Смысл мирозданья.  
 Потому и пена, потому и вой.  
 Лучше просто речи:  
 Свадьбы и запои  
 (Пред-совокупленья,  
 Бред, когда уже...)  
 Никогда не думать,  
 Говорить не думая...  
 Вот, тут что-то высказал,  
 Мысли перебрал.  
 Ну и получилось  
 То, о чем не думал. И  
 Черт же меня дернул!  
 Кстати, о чертях...

\* \* \*

Старые замки. От света изжога —  
 Глаз ищет соду бледных теней.  
 Кто говорит, что солнце — елей?  
 Гнусная, грустная желчь. И дорого —  
 Зонд из запекшихся губ Лорелей —  
 Желтый песок у пиратского брода,  
 Дева — не камень. Русалка — не зверь.  
 — Рыба? — Возможно. Лишь рыбе не страшно  
 Слышать, что шепчет ей ветер-хорей,  
 Волнами камень бессолю хлеставший  
 И затихавший у зябких корней —  
 Лес у реки не страдает от жажды.  
 Брызги — как слезы. Смотреть — не внимать,  
 Взор уперев в равнодушные дали,  
 Девушка плачет. Откуда ей знать:  
 Слезы должны быть солены. Едва ли  
 Кто-то взглянет в привычную статью  
 И объяснит ей детали.  
 Взгляды скользят: вверх — утес, вниз — река.  
 — Да, высоко и красиво.  
 Здесь умерла, а когда-то жила  
 Бедная девушка. Лиру  
 Взять не захочет тупая рука,  
 Ждущая хмель и свинину.  
 — Музы, оставьте! Душа просит марш!  
 Ровным строем не падают в бездну...  
 Вздогнул вдруг воздух; изящный плюмаж...  
 Телу в камне становится тесно...  
 Лора, прости меня, это мираж.  
 Солнце зашло — тень исчезла.

**Соснорство. Расставание Е. Т.**

Ретивыми речами разрываю рот.  
 Райская ты рощица. Рыжий Риббентроп.  
 Ручками за рюшечки — рваны рукава.  
 Расскажи мне, робкая, с коего рожна  
 Розами, розетками, рожами разит

От рептилий ребусных — рылом о гранит.  
 Реверанс расхлебывать — расчесать репей.  
 Рентгенолог ропотный, раненный о пень.  
 Разрыдай резиною регулярный рок —  
 Редкая редукция да рдяной рожок.  
 Ревностью и робостью — ретушь — ревматизм.  
 Ренегат расхлябанный — русский реализм.  
 Реками и рельсами — ревмя не ревешь.  
 Реактивно-рвотный, рвущийся за рожь,  
 Рвение — не ремень. Раскидать — не срать.  
 Ровными рядами «р» употреблять  
 Там, где злое слово должно не звучать, а реветь.  
 Где за сжатыми зубами мечется обезумевший язык.  
 Где паутина мыслей разрывается острым колом,  
 Яростно пронзающим и мутящим пространство,  
 Созданное для поэм и нежных восклицаний —  
 Там,  
 где язык  
 превращается  
 в рык.

### **Знаете!..**

Вы знаете — бог смотрит на одежду:  
 Для благочестья респектабельность нужна!  
 И будь хоть Вы в душе своей невежда,  
 Ему длина Ваших штанов важна!  
 А знаете, что бог наш стал делягой:  
 Чтоб откровенье свыше получить,  
 Не нужно свое слово делать клятвой —  
 Грехи монетой можно искупить.  
 У бога есть стандартные расценки:  
 Где дом его побольше — пять монет,  
 В том, что поплоче, он по три монетки  
 Берет за разливающийся свет.  
 А помните, когда-то было время  
 И Б-г вещал под небом голубым!  
 И был Иисус — другое поколение,  
 Закрывший храм пред торгашом тупым.



*Нина КРАСНОВА*

## **ДЕВИЧИЙ ДИВАН**

### **Зомби**

Я — зомби с проводами нервов и с антеннами.  
 Моя система не дает в работе сбой.  
 Я — виртуалка, огороженная стенами.  
 Я вся подключена к тебе собой.  
 Я — зомби с нестандартным эгопроявлением.  
 Из строя выйду, будет крах.  
 Я — существо с дистанционным управлением,  
 Пульт от меня в твоих находится руках.

Я себе помогу сама

Я с гаврошистым видом иду по Руси  
 И с девизом иду по Руси:  
 «Никогда у сильных мира ничего не проси!  
 Ничего ни у кого не проси!»

...Вон стоит господин, неприступен, надут...  
 Рвач рвачом, не слывущий рвачом...  
 Эти морды тебе ничего не дадут  
 И тебе не помогут ни в чем.

...Мне не надо ни «баксов», ни «мерса» его...  
 Пусть пуста у меня сума.  
 Я сильнее, я сильнее сильных мира сего —  
 Я себе помогу сама.

### Плач по огню любви

Ходила я в стадах ГОРИЛЛ,  
 Они мычали: «МУ-МУ-МУ...»  
 Какой огонь во мне ГОРЕЛ  
 Любви к Кумиру МОеМУ!

Бог не с Канар и не с БАГАМ,  
 Он виртуально мной влаДЕЛ,  
 Бог, современным всем БОГАМ,  
 Он не имел со мною ДЕЛ.

Весь запыхавшись от БЕГОВ,  
 Что для Вселенной так ВАЖНЫ,  
 Бог тусовался средь БОГОВ,  
 Меня не видя с ВЫШИНЫ.

И я ходила средь ГОРИЛЛ,  
 И знает только мой ПЕГАС,  
 Какой огонь во мне ГОРЕЛ,  
 Какой огонь во мне ПОГАС...

### Виртуальная картинка

Мы с тобою — участники русского ЭРОСА,  
 мы лежим на траве, в тополином ПУХУ.  
 Я люблюсь цветком, красотой ИРИСА,  
 он растет у тебя в междуножье, в ПАХУ...

2

Я наслаждаюсь нашим с тобою ЭРОСОМ,  
 я люблюсь твоим длинностебельным ИРИСОМ,  
 наклоняюсь к нему, к твоему бесподобному ИРИСУ,  
 пью с цветка твоего чистую Божью РОСУ...

### Не важно нам, в какой стране лежим

*Под обломками дома на Каширском шоссе, который взорвался в результате ночного теракта, оперативники нашли кровать с двумя голыми трупами — мужчины и женщины. Мужчина был целый, а от женщины осталась одна продольная половина.*

*Из сообщений «МК», сентябрь 1999 г.*

Мне сон приснился: мы с тобой ЛЕЖИМ,  
 И нам плевать, какой в стране РЕЖИМ,  
 Не важно нам, какой в стране РЕЖИМ,  
 А важно то, что мы с тобой ЛЕЖИМ.

Нам ключ дала терлецкая ТОРТИЛЛА.  
 Мы не взлетим на воздух от ТРОТИЛА,  
 Наш не взорвется белоблочный ДОМ,  
 К прудам Терлецким вставший передОМ.

Политики, у нас своя ПОЛИТИКА.  
 По нашим снам из пушек не ПАЛИТЕ-КА,  
 Нам не мешайте с милым, БЛЯ, ЛЕЖАТЬ  
 И древним способом друг друга УБЛАЖАТЬ.

### Экзерсисы, связанные с российской действительностью

В России — теракты, ВЗРЫВЫ,  
 сирен милицейских ВЗРЁВЫ,  
 в России — убийцы, ЖЕРТВЫ,  
 и нет дешевой ЖРАТВЫ.

2

Из Рязани в Москву ДОРÓГА ДОРОГА,  
и в Рязань из Москвы ДОРОГА ДОРÓГА.

3

У всевозможных российских НАЛОГОВ  
нет никаких мировых аНАЛОГОВ.

4

Предприниматель из «новых русских», по имени ИОСИФ,  
купил себе новую иномарку и новый ОФИС.  
Пролетарии из советских русских взорвали иномарку  
и обокрали ОФИС.  
О ИОСИФ! О ИОСИФ!

5

ВОР столкнул старушенцию В РОВ,  
портмоне у нее ВЫРЫВАВ...  
Россия — страна ВОРОВ,  
Россия — страна ВАРАВВ\*

6

Граждан своих государство ГРАБИТ,  
граждан своих государство ГРОБИТ,  
да еще удивляется, если кто-то из граждан  
ему, государству, при этом ГРУБИТ.

### Презентация нашего с вами «романа»

Мы позабыли про кризис,  
который над нашей Россией НАВИС,  
Мы позабыли на время про все мировые ПОГРОМЫ.  
И люди смотрели НА ВАС, на меня, на меня и НА ВАС...  
Мы были героями дня и гвоздями ПРОГРАММЫ.

\*Варавва — упоминающийся в Новом Завете преступник, который за грабежи и убийства был приговорен к смерти и посажен в одну темницу вместе с Иисусом Христом, но потом, по требованию народа, Варавву помиловали и освободили, а Христа распяли.

Пойдемте и спрячемся с Вами  
подальше от зрителей, В УГОЛ. ВЫ — ЗА?  
Мы с нашим «романом-бестселлером», хватит,  
наПРЕЗЕНТОВАЛИСЬ.

...Мы с Вами смеялись друг другу глазами В ГЛАЗА,  
Как будто друг другу публично в любви ПРИЗНАВАЛИСЬ.

### Экзерсисы, с использованием некоторых «камасутровских» способов

Многим людям не До ЭРОТИК,  
пролетариям разных СТРАН.  
...ДЕРИ меня —  
способом «ДРОТИК»!  
ТАРАНЬ меня —  
способом «ТАРАН»!

Боже, в разных лицах ЕДИНЫЙ,  
нас с Тобою на счастье СВЕЛО.  
...ЛЮБИ меня —  
способом «ЛЕБЕДИНЫЙ»!  
СВЕРЛи меня —  
способом «СВЕРЛО»!

Мы с Тобою от слов КОНЧАЛИ  
в ВИРТУАЛЬНОМ сплетенье ТЕЛ.  
...КАЧАЙ меня —  
способом «КАЧЕЛИ»!  
ВЕРТи меня —  
способом «ВЕРТЕЛ»!

Я С ТЕбя не возьму ни ПЕНИ.  
ПЕНИСу ПЕНИСов шлю ПОЦЕЛОН.  
...СТУПай в меня —  
способом «СТУПЕНИ»!  
ЦЕЛУй меня —  
СПОСобом «ЦЕЙЛОН»!

\*«Камасутра» - индийский эротический трактат, написанный врачом Ватьян-Саном во втором веке до нашей эры по мотивам скульптурных изображений храма "Черная Пагода" и объясняющий все существующие способы любовных актов.

**Экзерсисы, связанные с литературной жизнью**

Хорошо идут у одной поэтессы ее поэтессовские ДЕЛА,  
потому что она этому ДАЛА,  
этому ДАЛА,  
этому ДАЛА  
и этому ДАЛА...

Плохо идут у одной поэтессы ее поэтессовские ДЕЛА,  
потому что она этому ДАЛА,  
этому ДАЛА,  
этому ДАЛА,  
а этому не ДАЛА...

Плохо идут мои поэтессовские ДЕЛА,  
потому что я этому не ДАЛА,  
этому не ДАЛА,  
этому не ДАЛА  
и этому не ДАЛА...

**Отпечаток**

Мы с тобою совсем продавили ДИВАН,  
и на нем отпечаток особенный ВИДЕН.  
ДИВЕН, ДИВЕН, ДИВЕН этот ДИВАН,  
этот ДИВАН ДИВЕН.

Я красивой накидкой диван ЗАСТЕЛЮ.  
Кто о нем нехорошее скажет — того ЗАСТРЕЛЮ.  
Буду грезить лежать на ДИВАНЕ  
О тебе, не о дяде ВАНЕ.

Я пошире разДВИНула этот ДИВАН,  
и на нем отпечаток особенный ВИДЕН.  
ДИВЕН, ДИВЕН, ДИВЕН этот ДИВАН,  
мой ДЕВичий ДИВАН ДИВЕН.

**Экзерсисы, связанные с женским гардеробом**

Пальто у меня старое, но пока еще НЕ РВАНОЕ,  
платье у меня старое, но пока еще НЕ РВАНОЕ,  
нижнее белье у меня старое, но пока еще НЕ РВАНОЕ,  
и поэтому состояние души у меня НЕ НЕРВНОЕ,  
а НИРВАННОЕ.

**Кайф**

Ты не гоняешься за всяким ЗА баБЬЕМ.  
И мне с тобой чего  
стесняться И БОЯТЬСЯ?  
Давай сегодня болт на всё ЗАБЬЁМ  
И будем целый день на небесах валяться.

Я новый спальный постелю комплект БЕЛЬЯ  
На этот перистый  
летающий МАТРАСИК  
И улечу на нем с тобой от коБЕЛЬЯ  
В мир запредельный, не в Парижик, не в МАДРАСИК.

Ты не гоняешься за всяким ЗА баБЬЕМ —  
я чувствую свою  
единственность И НУЖНОСТЬ.  
Давай сегодня болт на всё ЗАБЬЁМ,  
познаем кайф любви: включая страсть И НЕЖНОСТЬ,

**Ева**

Я донгеновской Евой сгораю В ОГНЕ,  
Красным пламенем с пяток до бёдер ОБЪЯТА.  
Боже мой! Покажись В ОКНЕ!  
Я любовью к Тебе ОБУЯТА.

Я-ТО знаю, что я-то такая и ТА,  
Без которой и рай не комфортен и СКУШЕН.  
Я с Тобою хочу... тра...та-та, тра...та-та  
Плод познания мною СКУШАН.

Страсть к подобьям Адама в себе ПОУЙМЯ,  
Я попала из ПОЛЫМЯ в ПОЛЫМЯ.  
Боже, Боже! ПОМИ-И-ЛУЙ меня  
И ПОМИЛУ-У-УЙ МЯ...

### Эротическая эра

Эротическая ЭРА  
Наступила для меня,  
ЭРОТическая ЭРА —  
Ах, простите, эра хера.

На Него, как на святого БУДДУ,  
Им одним дрожайно ДОРОЖА,  
Я молиться буду про себя и БУДУ  
Целовать Его религиозно  
способом «РАДЖА»\*.

Буду небу за Него МОЛИТЬСЯ Я,  
Очищая душу от ХЕРНИ.  
Охраняй Его от киллеров, МИЛИЦИЯ!  
И Господь от половых расстройств Его ХРАНИ!

Эротическая ЭРА  
Наступила для меня,  
ЭРОТическая ЭРА —  
Ах, простите, ЭРА ХЕРА!

### Экзерсисы с «горячими точками» и с бомбёжками

1

БОМ-БОМ, МУЖИЧКИ-  
БОМЖИЧКИ,  
а вы не боитесь  
БОМбёЖИЧКИ?

\*Способ "Раджа" описан в «Камасутре», соответствует современному понятию "oral sex".

2

В результате одной небольшой БОМбёЖИЧКИ  
лишились своего пристанища на мусорной свалке  
за чертой города  
МУЖИЧКИ-БОМЖИЧКИ  
и две, БОМ-БОМ, ЖУЧКИ...

3

БОМ-БОМ, МУЖИЧКИ-БОМЖИЧКИ  
никакой не боятся БОМбёЖИЧКИ —  
они всегда найдут себе место под солнцем,  
если не на одной мусорной свалке, то на другой.

4

БОМ-БОМ, БОМ-БОМ,  
шел мужик с дубовым лБОМ,  
думал не о БОМБАХ,  
думал о БОБАХ и о БАБАХ,  
и вдруг ему на голову откуда-то с неба  
БОМБА — БАБАХ!..

5

БОМ-БОМ,  
БОЖЕ мой, БОЖЕЧКА!  
Какая бомбёжка, какая БОМбёЖЕЧКА!  
БОМ-БОМ,  
БОЖЕ мой, БОЖЕЧКА!  
Остался без неба над головой  
БОМ-БОМ, БОМЖЕЧКА!

6

БОМ-БОМ, в результате БОМбёЖИЧКИ  
все не БОМЖИЧКИ стали БОМЖИЧКИ.

7

БОМ-БАМ, БОМ-БАМ,  
хорошо лететь и падать БОМБАМ  
на головы беженцам-бомбеженцам,  
на головы детям и БАБАМ,  
БАМ!..

### **ЧАСТУШКИ, связанные с использованием современной лексики**

По Рязани шел индиец,  
Он, наверно, был нудиец —  
Шел индиец парком, садом,  
Шел, сверкая голым задом.

Мужики перепились,  
Принялись резвиться,  
В выпрезвитель приплелись,  
Чтобы протрезвиться.

Я с милашкой помирился  
После перебраночки,  
В «Универсаме» ей купил  
Конфетки-бараночки.

Ты — постельный террорист,  
Так-то, милый, так-то,  
От тебя лежи и жди  
Нового теракта.

Любит парень девушку сельскую,  
А она — капусту брюссельскую.  
На свидания к девушке сельской  
Он приходит с капустой брюссельской.

От меня ушел Илья,  
Я тоскую, слезы лья,  
И гадаю, слезы лья:  
Где, в какой дыре Илья?

у моей Леночки  
Круглые коленочки.  
Я сижу у Леночки,  
Глажу ей коленочки.

Любит стерва анашу,  
Я ее не выношу.

Ходит с Нюркой наркоман,  
У него с дырой карман,  
Из кармана виден шиш,  
А в уме один гашиш.

В Нью-Йорк приехал наркоман,  
Стал наркоман — нью-йоркоман.

В городе Нью-Йорке  
Плясала мышка в норке,  
Мышка в шубке норковой,  
Нью-йорковой.

С иностранного туриста  
За ночь я беру по триста,  
Беру большие баксы  
За наши с ним тераксы.

Из порток один непалец  
Двадцать первый вынул палец,  
Палец был похож на палку,  
Напугал одну непалку.

В индийском городе Мадрасе  
Меня катали на матрасе...  
Как увижу я матрас,  
Вспоминаю я Мадрас.

## О ТЕЛЕ И ДУХЕ

*Вокруг поэзии Нины Красновой. Комментарий литературного обозревателя журнала «Время и мы» в письме к поэтессе.*

**Уважаемая Нина!**

Помня Ваши стихи в 143 номере, я, естественно, и на этот раз ждал сюрпризов, но, откровенно говоря, не предвидел столь дерзкого и «бесстыжего» букета, про который мне хотелось бы откровенно высказаться. Про что именно? Ну, во-первых, про то, как я, уже немолодой, бывалый литератор, воспринимаю Вас лично, обитающую в одном из московских околотков и почти неизвестную мне рязанскую поэтессу и, во-вторых, про Ваши «малоприличные» стихи, с которыми, думаю, Вам непросто подступить к любому из московских творческих домов и которые оказались способны подстрелить даже такого издевавшего жизнь человека, каким является Ваш покорный слуга.

Как жаль, что Вы не на диком Западе и английский не Ваш родной язык — сколько Вы потеряли от того, что не родились в «нужное время» и в «нужном месте» и что первый вырвавшийся из Вашей груди крик опять же был не на «нужном языке». А то бы, кажется мне, совсем поиному выглядела вся Ваша поэтическая, а возможно, и личная жизнь.

Мне даже трудно представить себе, что было бы, если бы, например, феминистки и лесбиянки из гомосексуальной газетки «Village voice», издаваемой в Нью-Йоркском Сохо, в один прекрасный день прознали про Вас и Вашу поэзию. Да они бы на всю Америку провозгласили Ваше обалденное поэтическое факание (про то, «как таранят Вас способом таран, как сверлят Вас способом сверло») последним словом современной поэзии, а также вызовом скуке и буржуазной пошлости, и Вы одновременно стали бы властительницей дум всех бродвейских феминисток и заодно и экзотических израильских петербужиц, не без блеска уложивших в свою девичью постель всю тель-авивскую набережную Аяркон. Какие бы, Нина, у Вас были тиражи при такой многомиллионной и благодарной аудитории!

Но ведь Вы живете в России и пишете для России, которую, уверен, при всем ее разгильдяйстве, никогда не променяете ни на какой-то там вшивый берег турецкий. И журнал «Время и мы» — он тоже для России, — где

спокоен веков все, как и Вы, называют вещи своими именами, трахаются до потери сознания и сами же себя стесняются, краснеют от собственной судьбы, про которую Вы пишете вовсе не языком поэзии и даже не языком Эзопа (да и на что Вам тут Крылов или Баратынский, когда можно так занятно, так по-русски понести на всю страну любую из наших успешных соотечественниц).

Вспомним Ваши «Экзерсисы, связанные с литературной жизнью», героиня которых умудрилась-таки преуспеть на совписовской ниве, а все почему? А все потому, что она «этому ДАЛА, этому ДАЛА, этому ДАЛА и этому ДАЛА».

Представляю, какой прелестной жизнью приходится Вам жить с этой Вашей поэзией, в которой так мало того, что впитали с молоком матери родные советские читатели и так много того... — как бы мне тут поделикатнее выразиться? — ну, скажем того, чем Вы так страстно тараните российскую жизнь и поэзию. Вы же, Нина, профессиональная террористка-взломщица, берете и ничтоже сумняшеся взламываете (пестиком по темечку) подсознание своих соотечественников, которые, покупая Вас, прячут Ваши произведения в потайные ящички своих чешско-болгарских гарнитуров, чтобы сызмальства не испортить собственных ребятишек, а ребятишечки, не зная — не ведая про родительские ухищрения, уже давным-давно совокупляются (как бы Вы выразились) в темных московских подворотнях. И, отчасти, это также благодаря Вашим и таким, как Ваши, заголившимся откровениям, поскольку в России — «стране слонов и алкашей» — «наука всегда умела много гитик» и угол падения всегда был равен углу отражения.

Я вспоминаю Ваши рассказы по телефону, как Вам приходится самой, выходя с сумочкой на московские улицы, продавать собственные книжки. И я своими ушами слышал, что покупают, да еще на последние деньги, и по вечерам собираются друг у друга, за стаканом вина, за рюмкой водки, почти как в старые, добрые времена!

Откровенно говоря, я частенько тоскую по этой России моей молодости, по ее коммуналкам, смрадным парадным и когда-то таким родным мне нравам! И по таким же, как Вы, неприкаянным «уличным» поэтессам. Знали бы Вы, как их обожал незабвенный Мишенька Светлов, который, свернувшись по обыкновению тряпочкой на ступеньках Центрального телеграфа и лукаво при этом сощурившись, испытующе буравил своими бухими глазами первые попадающиеся ему под руку юные дарования — насчет того, имеется ли у них хата, и если имеется, то во сколько вернутся из гостей «предки», и где сами дарования намерены прокантоваться остаток вечера.



А как, интересно, все это протекает у Вас? Имеется в виду, как протекает Ваша жизнь? До чего же медленно ползут поезда российской истории! Что же до Вас лично, что в этой жизни Вами пережито (передумано, перетрачено)? — как легко, однако, перехожу я на Ваш язык, котормым, надеюсь, Вы когда-нибудь сами про себя расскажете.

Но что мне в Вас определенно нравится, это то, что есть у Вас свой собственный голос, с которым никакой другой не спутаешь, и, кто знает, может, по-своему даже единственный в России, и, как думается мне, рождаемый в миллионе терзаний и нескончаемых муках. Голос, котормому кто-то от собственной бездарности смертельно завидует и в конце концов по причине той же бездарности подавится собственной завистью. Я, знаете, и сам импотентов-завистников на дух не переношу и к себе по возможности не подпускаю.

Так вот, о собственном голосе, не есть ли это наичценнейшее качество не только поэта, но и всякой живой, да и неживой твари, которая среди родной кобелиной России уникальным своим голосом поет хвалу Господу?

Вы это, верно, делаете, когда корпите над своими, ни на что «приличное» не похожими стихами, и точно так же все происходит и вокруг — или рутинно и пошло, или поэтически неповторимо (не случилось ли Вам в такие минуты заглядывать в форточку и видеть, как причудливо своими диковинными пируэтами куражится над Вами серое московское небо, совершенно особое, как никакое другое в мире), и даже тахта с постелью, такой родной и взмокшей, скрипя под Вами всеми своими контрапунктами, и та пружинно, по-особенному, подыгрывает Вашей затаившейся страсти (о чем Вы сами, весьма живописно повествуете в своем «Девичьем диване»).

«Мы с тобой совсем продавили ДИВАН,  
и на нем отпечаток особенный ВИДЕН.  
ДИВЕН, ДИВЕН, ДИВЕН этот ДИВАН  
этот ДИВАН ДИВЕН.»

Я хорошо представляю эти бурные девичьи экзерцисы, будто сам чувствую неповторимый голос Вашего ДИВАНА. Или это мне примерещилось? Или, как говорят, просто занесло? И вашу «диванную» поэзию я, сам того не заметив, так легко и беспардонно ввожу в свой мужской бред?

Про Ваш собственный голос Вам, верно, говорили и раньше. Но хочу добавить про образ автора (сказал бы авторши, не будь я таким пуристом в русской лексике). Так кто же Вы, Нина Краснова? И что сами про себя

думаете? По мне, кем хотите, тем себя и считайте, хоть поэтессой, хоть героиней Вами же воспетой «эры хера» — все сгодится, когда искренне, когда по душе и без всякого фанфаронства. Вы возразите мне, что все это банально, но, как однажды заметил Эмка Коржавин, все эти банальные истины очень опасны, потому что мимо них так легко проскочить.

Но раз уж пошла у нас такая пьянка, к сказанному хочу добавить и про чистоту (может, просто кажущуюся чистоту) Вашего образа, который — ох, крепче держитесь за стул! Держитесь? — так вот, который, как это ни странно произносить, кажется мне непорочным. Слышали про непорочное зачатие? Вот и он такой, несмотря на все Ваши бесконечные поцелоны, коитусы и оргазмы.

Что же это за такая загадка? Да, именно загадка, трижды загадка, но только для тех, кто не знает России и русской женщины. Обобранной, полураздетой, заматанной, без гроша в кармане... — все, что можно и не можно, у нее изъято и отобрано. Оставлено ей в собственности лишь то, что ни у какой женщины невозможно экспроприировать. Что же именно? Ах, что именно? Читайте Нину Краснову — и все сами поймете. А заодно поймете и то, что есть чистота русской женщины, а что есть нечисть, что есть ее душа, а что ее грубость и ее мат-перемат, за котормой ей, обычно по пьянке, предьявляется свой счет, давно привычное ей, просто родное ей обвинение («Кого бы ты, Зойка, из себя не строила, но какая же ты все-таки блядища!»). Из всего этого как раз и выводится ее внутренний мир и ее душа. Сами же блюем в нее и собственной блевотиной услаждаемся.

Вот и высказал я Вам кое-что хорошее, из того куда большего, что хотелось мне высказать. А потому теперь самое время — про худое и неудачное, которое обычно есть продолжение достоинств человека. Сами сейчас увидите, как одно с другим переплетается.

Начнем с Вашего языка и метафор и скрытого за ними смысла. И возьмем для начала одну из напечатанных выше вещей с довольно любопытным заглавием «Презентация нашего с Вами романа на литературном вечере» (ох, уж эти вечные русские презентации, но на сей раз — это страстный метафорический сказ, переполненный горячим предчувствием любви и секса. Но какой любви и какого секса? Скажите, наконец, сами, про что главное, по Вашему разумению, Вы пишете? Может, выше уже сказано — про что. Про бесконечные ночные трахания? Про оргазмы и коитусы? Или... все это только метафоры чего-то более глубокого и куда более для Вас важного? Вот в чем для меня, кажется, главный вопрос Вашей

поэзии. Словно назло всему миру, Вы пишете на языке московских дворов (например, той же Петровско-Козицкой Бахрушенки, в которой протекло мое детство). Но вообще-то пишете на языке все той же перестроенной России, ее деревень, хуторов и околотков. Кто-кто, а вы-то, выросши в Рязани, кожей чувствуете это родное Вам наречие и оттого, верно, той же кожей ощущаете за собой право на вызов культурному и рафинированному читателю:

«Нет, господа, смаху его припечатываете, это вам не ваши цэдээловские штучки про рабиновичей-хаймовичей, вечно едущих на верхних полках, а самый что ни на есть настоящий язык России. Хоть и шокирую я вас, а все равно) слушайте. Про то, как я, полунищая поэтесса из Рязани, понимаю Россию и свою в ней озорную девичью жизнь. Кажется, это и есть главная Ваша тема, главная Ваша эпоха, Вами же, хоть и не очень точно, но уж очень по-женски обозначенная, как «эра хера».

Впрочем, есть у Вас и почище обороты-словечки, из-за которых, думаю, пролито Вами в литературе немало крови.

Но тут я попробую встать на Вашу защиту, хоть я и не большой поклонник этой экзотики. Просто думаю: пустое дело мудрствовать на эту тему. Куда ни кинь, а другим словам-оборотам просто не обучила нас с Вами любимая родина. Да и так ли уж дозарезу нужны русско-му человеку другие, рафинированные слова, если в его распоряжении есть эти, ядреные и исконно русские, пусть и нехорошие, скабрзные, но, как никакие иные, способные разбередить ему тело и душу в самые волшебные мгновения жизни. Какая же это непростая проблема, но согласимся: чистота душевная тут явно ни при чем. От «нехороших» слов эта чистота, если она настоящая и уходит в самые нутряные наши глубины, становится, может, даже чище, ибо все происходит по Божьему благоволению и уж во всяком случае с Божьего согласия — такая вот странная, получается диалектика!

Но все это так только при одном-единственном условии, и тут, боюсь, я больше Вам не защитник и не Ваш даже поклонник. Да, я — за Вас, но только до тех пор, пока не заносит Вас на чужие, соседские поля, где внезапно гужует царство порнухи и секса. Между прочим, это ведь тоже Ваше произведение:

«Испытав любовный шок,  
Сочинила я стишок  
И его хоЖУ ПОЮ,  
Сверкая голой ЖОПОЮ...

Хороша моя ТАХТА!  
Вы на этой на ТАХТЕ  
Меня давайте ТРАХАЙТЕ».

Нет, не словами про пол (мужской ли, женский ли) Вы тут бьете по темечку, а пустополостью написанного.

Тонкая штука слово, в особенности слово поэтическое. Когда Вы пишете настоящую поэзию, то даже презентация коитуса способна обернуться презентацией души. Только не спрашивайте меня, как отличить одно от другого. По словам Милана Кундеры, в соитии душ всегда есть игра, всегда есть интрига между душой и телом, между телом и Богом. Вот и все! А что выше этого, то от лукавого, да и все, в сущности, в Вашем распоряжении, в чистоте Вашей души и мысли, в чистоте духа и тела, а слова уже потом наверняка найдутся.

Я не пишу, Нина, рецензию, я вообще не по этой части и потому не стану Вас корить перстом, где у Вас Кундеровская интрига, а где ее пыльный суррогат, коих у Вас, ох, как немало! И не дай Вам Боже оказаться во власти последних, тогда сколько ни бейтесь (хоть над столом, хоть на диване), сколько ни тараньте поэзию — ничего путного из стиха все равно не выйдет. Все будет пусто и холодно, как у Ваших соседей, в царстве блядства и порно. И полет в Вашей поэзии тоже будет не тот, не истинный, не устремленный к Богу.

Не поленитесь и, залезши в собственную душу, покопайтесь в пережитом и написанном. Тогда сами поймете, что к чему, сердцем поймете и всеми прочими органами любви.

В заключение нашего разговора позвольте рассказать Вам одну бесподобную притчу Томаса Манна — центровку интригу его «Доктора Фаустуса».

Толстомордый Шлепфус, проводник главного героя (со всем еще молодого композитора и гения Адриана Леверкюна, волей случая оба оказались где-то между Грацем и Братиславой), так вот, этот препротивный малый приводит почувствовавшего голод Адриана в некое подобие трактира, который на самом деле оказывается борделем, или, как позже его назвал сам Адриан, «блудилищем».

Оказавшись в борделе, гордый и неподступный Леверкюн, вдруг видит насупротив раскрытый рояль, идет к нему и, стоя, берет два-три случайных аккорда из финала «Волшебного стрелка». И вот тут рядом с ним оставнавливается шатеночка в испанском болеро, большеротая, курносая, с миндалевидными глазами, и гладит его по щеке. Обернувшись и отбросив ногой табурет, Леверкюн в ужасе бежит по ковру блудилища, через прихо-

жую, не коснувшись даже металлических перил, прямо на улицу. Изюм всех сил он хочет Эсмеральду забыть. Целый год гордость его духа сопротивляется нанесенной травме. Пока он все же не выдерживает и снова наведывается в бордель ради той, чье прикосновение горело на его щеке, смуглянки с большим ртом, приблизившейся к нему, когда он сидел за роялем, и названной им Эсмеральдой. Нашел он ее не сразу, где-то между Грацем и Братиславой. Увидев его, Эсмеральда тотчас вспомнила мимолетного знакомого, отличавшегося от привычной ее клиентуры. С удивлением узнала, что приехал он ради нее, и поблагодарила за это, предостерегнув его от собственного тела.

По словам Томаса Манна, «несчастливая предостерегла «алчущего» от себя, что было актом свободного возвышения ее души над жалким физическим существованием, актом — да позволят мне так выразиться — любви!» — восклицает автор.

Как далее он повествует, Леккеркун довольно скоро начинает испытывать «локальные неприятности» и в довершение всего, по таинственному стечению обстоятельств, один за другим исчезают (один гибнет, другого арестовывают) найденные им через городской справочник два единственных его спасителя-эскулапа.

Автор беспощаден к своему герою, он сталкивает Андриана лоб в лоб с несущим ему гибель сатаной. Но это все позже, а пока он явно озабочен все тем же проклятым вопросом: о теле и духе, — но теперь применительно к проститутке Эсмеральде. Как же она в ту кошмарную ночь должна была любить Андриана, с какой страстью отдаваться ему, когда увидела, чем он пренебрег ради нее, падшей и больной сифилисом проститутки!

Томас Манн оставляет нас без ответа на поставленный вопрос. Точнее, он предлагает нам самим его найти, поставив Леккеркуна перед выбором: чему отдать предпочтение — смерти или любви? Тот выбирает любовь, и перед нами встает уже онтологический, почти что гамлетовский вопрос — любовь или смерть? To be or not to be? Все в том же недоумении мы закрываем книгу. Так где все же наш истинный Бог, который так милостиво ниспослал нам все на свете, и где все-таки истинная любовь, скажите, наконец, где она: в теле или в духе?

На этом разрешите закончить.

*Искренне Ваш В. А.*



*Джордж СОРОС*

## КТО ПОТЕРЯЛ РОССИЮ?

*Мысли Дж. Сороса о современном российском обществе*

Известный американский финансист, филантроп и общественный деятель Джордж Сорос выступил недавно в газете «Нью-Йорк Ревю» с обширной статьей «Кто потерял Россию?», утверждая, что Россия оказалась потерянной для западной демократии прежде всего по вине западных политиков, которые, не оказав ей необходимой поддержки в проведении реформ, создали условия для прихода к власти «сильной руки» в лице президента Владимира Путина. В этом номере излагаются основные аргументы и выводы, предлагаемые автором статьи.

Анализируя причины и обстоятельства, в результате которых России до сих пор так и не удалось стать частью западного цивилизованного мира, Дж. Сорос начинает свои размышления со времен «перестройки». Он считает, что крушение коммунистического режима в 1991 году создало необходимые предпосылки для построения открытого об-

щества в этой части земного шара. Однако западные демократии оказались неспособными использовать сложившуюся ситуацию, что в будущем несомненно должно привести к негативным последствиям. Поскольку открытое общество — более совершенная форма организации, чем закрытое, в указанный период Советский Союз, а затем Россия нуждались в помощи извне.

В закрытом обществе господствует единственная концепция, продиктованная властью и опирающаяся на силовые структуры. Отличительной же особенностью открытого общества является как развитие инициативы отдельных граждан, способных обеспечить себя материально, так и создание различного рода институтов, позволяющих удовлетворять многообразные интересы и жить в мире людям с различными взглядами и традициями.

Вероятно, советская система наиболее точно соответствует понятию закрытого общества, придуманного и созданного человеком. Эта система охватывала не только политическую или военную области, но и буквально пронизывала экономическую, интеллектуальную и все прочие сферы общественной жизни. Зачастую она агрессивно вторгалась в науку, ярким примером чего служит дело Лысенко, которое, как оказалось, касалось отнюдь не только естествознания. Переход к открытому обществу, как отмечает автор статьи, требовал революционных преобразований, осуществить которые было невозможно без помощи со стороны. Именно это обстоятельство побудило Дж. Сороса позаботиться о создании фундамента — фондов для строительства открытого общества в государствах, образованных на территории бывшей советской империи.

Идея нового «Плана Маршалла», предложенная Дж. Соросом весной 1989 года на конференции в Потсдаме, находившемся все еще на территории Восточной Германии, не встретила никакой поддержки и вызвала только смех. Причем больше всех смеялся Виллиам Валдергаве, министр иностранных дел в правительстве Маргарет Тэтчер. Хотя Маргарет Тэтчер, как пишет Дж. Сорос, стойко защищала принципы свободы на диссидентских митингах в странах коммунистического режима, в которых она быва-

ла, мысль о том, что создание открытого общества требует необходимой помощи извне, так и осталась недоступной для ее понимания. Руководствуясь фундаментальной рыночной теорией, она не верила, что вмешательство правительств в экономику может иметь положительный характер. В результате страны бывших коммунистических режимов были «брошены» на произвол судьбы. Некоторые из них добились определенных успехов, другим это оказалось не под силу.

По мнению Дж. Сороса, Россия потеряна для Запада из-за недальновидной политики его лидеров. Политические ошибки в отношении России, продолжает он, допускались уже во времена Буша и Тэтчер. Что же до Германии, предоставившей России наиболее выгодные кредиты, то она это делала исключительно для того, чтобы Россия не помешала воссоединению Германий, а отнюдь не потому, что желала помочь ее возрождению. Дж. Сорос уверен, что если бы Запад проявил внимание к нуждам России, она бы обязательно пошла по пути экономических реформ и создания открытого общества.

В отличие от общеизвестной точки зрения, согласно которой провал реформ явился следствием серьезных ошибок, допущенных при их проведении, Дж. Сорос полагает, что важной причиной их несостоятельности стал отказ Запада оказать России значительную финансовую поддержку. Хотя, разумеется, нет никакого основания думать, что она была бы эффективной. Являясь приверженцем государственного регулирования, Дж. Сорос приходит к выводу, что сама по себе идея государственного вмешательства противоречит фундаментальным принципам рыночной экономики. В связи с этим вопрос об иностранной помощи, по мнению лидеров западных стран, также приобретает негативный характер. Сейчас все пытаются выяснить, кто и когда допустил ошибки при проведении реформ, но правильность самой теории, на основе которой они разрабатывались, не вызывает ни малейших сомнений.

Получается, что на Западе не стремились к тому, чтобы в России было построено открытое общество. Западные

демократы на словах поддерживают идею такого общества, но денежная поддержка для них немислима. Осознавая порочность собственной системы, Советский Союз, а затем Россия полагались на помощь западных специалистов, они, как и я, замечает Дж. Сорос, идеализировали Запад.

Дж. Сорос рассказывает далее, что уже в 1987 году он основал в Советском Союзе свой фонд. И когда Горбачев позвонил Андрею Сахарову в Горький, разрешив ему вернуться и продолжить «патриотическую деятельность» в Москве, стало понятно, что наступило время революционных преобразований.

В 1988 году Дж. Сорос создал так называемый «открытый сектор» — рыночный сектор внутри командной системы, который должен был поставлять потребителям продукцию не по государственному, а по рыночным ценам, формируя таким образом рыночные отношения и постепенно расширяясь. Хотя впоследствии этот сектор сделался вполне официальной структурой, признанной Советским правительством, преобразование государственных цен в рыночные оказалось для нее непосильной задачей и она прекратила свое существование.

Несколько позже Дж. Сорос стал инициатором создания группы западных экспертов, консультировавших русских специалистов по вопросам разработки и внедрения экономических программ. В 1990 году он организовал приглашение Григория Явлинского в Вашингтон, где на заседании Международного валютного фонда Явлинский представил программу экономических реформ, известную под названием «плана Шаталина». Горбачев выступил против, поскольку этот план предусматривал приватизацию земли и, в конечном счете, способствовал распаду СССР. Тем не менее Дж. Сорос считает, что «план Шаталина» гораздо больше отвечал возможностям перехода к рынку, чем все последующие шаги подобного характера.

После того, как президентом России сделался Борис Ельцин, экономической политикой начал заниматься Егор Гайдар, который, прочитав учебники Руди Дорнбуша и Стэна Фишера, рьяно пытался внедрить монетарную теорию в российскую экономику. В результате предприятия

работали, не получая денег за произведенную продукцию. В апреле 1992 года сумма их долгов составляла уже одну треть валового национального продукта. Однако несмотря на сложившуюся обстановку, Егор Гайдар продолжал следовать рецептам, изложенным в учебниках.

Вслед за Гайдаром, говорит Дж. Сорос, премьер-министром стал Анатолий Чубайс, продолжавший политику «расточительства», предпринятую его предшественником. В распоряжении Анатолия Чубайса, как и Егора Гайдара, был научно-исследовательский институт, который на этот раз занимался приватизацией, то есть передачей государственной собственности в частные руки. Чубайс верил, что едва у предприятий появится хозяин, они тут же начнут успешно работать. В действительности получилось иначе. Распределение собственности, контролируемое номенклатурой, осуществлялось на основе ваучеров. Причем, как отмечает Дж. Сорос, в большинстве случаев администрация обманывала своих работников, скупая ваучеры и продавая государственное имущество по бросовым ценам подставным компаниям, образованным по инициативе самой администрации. Очень часто не только прибыль, но и стоимость самого имущества перекачивалась холдинговым компаниям, базировавшимся на Кипре. Столь стремительно разбогатевшим владельцам огромных состояний либо удавалось, избежав налогообложения, беспрепятственно переводить средства за рубеж, либо они поступались какой-то частью своих доходов, делясь с чиновниками налоговых служб. Не рассчитывая на стабильность ситуации в собственном отечестве, новые хозяева предпочитали хранить свои капиталы за рубежом.

Тем не менее, пишет автор статьи, в условиях всеобщего хаоса возникли первые ростки рыночной экономики. Этому способствовала начальная приватизация, которая во многих отношениях, по мнению Сороса, была удачной: возникла частная собственность, многие из вновь испеченных предпринимателей, происходивших из бывшей номенклатуры, заключали контракты с государственными предприятиями. Но приватизированные фабрики и заводы оказались убыточными, так как не могли оплачивать на-

логи и расходы, связанные с производством продукции. Вместе с частной собственностью образовались мафиозные группы и даже целые коррумпированные структуры. Появились частные банки, которые выростали из новых компаний, владеющих государственной собственностью, а также возникали на базе бывших организаций Госбанка и отдельных предпринимательских групп. Некоторые банки создавали и наращивали собственный капитал, используя средства различных госорганизаций, включая финансовые.

Дж. Сорос отмечает, что в России рынок ценных бумаг сформировался гораздо раньше, чем был разработан механизм, регламентирующий порядок заключения торговых сделок. Однако еще раньше, в процессе приватизации, предприятия и компании распространяли акции, руководствуясь собственной инициативой по уже приведенной схеме. Нарушение закона сделалось обычным делом задолго до того, как появился сам закон. Доход от ваучерной приватизации не принес никаких накоплений ни государству, ни предприятиям, на которых она происходила. Новые владельцы прежде всего должны были выплатить долги и только потом могли начать нормальную работу. Но и после выплаты всех долгов, надеясь увеличить свой капитал или продавая акции, они считали для себя более выгодным скрывать доходы, чем рапортовать о них.

В результате систему, возникшую в России, наиболее точно характеризует понятие «разбойный капитализм», поскольку наиболее эффективным методом создания частного капитала здесь стало присвоение государственного имущества. Конечно, замечает автор статьи, надежда на преобразование сформировавшейся системы есть, она связана прежде всего со сферой обслуживания, где возможно более или менее законно зарабатывать деньги, производя, например, различного вида ремонтные работы, услуги или имея в качестве бизнеса отели или рестораны.

Поскольку бывшие коммунистические страны Восточной Европы не могли использовать деньги из собственного бюджета, они нуждались в иностранной помощи, которая осуществлялась двумя международными организациями — Валютным Фондом и Всемирным банком. Причем Дж. Со-

рос настроен оппозиционно к МВФ в связи с тем, что, предоставляя финансовую помощь, он предъявляет целый ряд требований к государствам, которые хотят ее получить, и задерживает платежи, если требования не выполняются.

В условиях России, отмечает Сорос, где не было сильной государственной власти, соблюдать указанные правила оказалось невозможным, поэтому программы МВФ терпели неудачу. Правительство в России было неспособно взимать налоги. Единственный метод, которым оно пользовалось для собирания денег, был отказ от бюджетных обязательств. Задолженности по заработной плате и долги между предприятиями и компаниями достигли невероятных размеров. И снова автор статьи утверждает, что при таких обстоятельствах было необходимо иностранное вмешательство, требовалась помощь, которая впоследствии принесла бы плоды и была бы оценена по заслугам. Но это значило, что необходимо вкладывать деньги, чего западные страны ни в коем случае делать не хотели.

Когда МВФ предоставил России заем в 15 миллиардов долларов, Дж. Сорос в статье, напечатанной в журнале «The Wall Street Journal» 11 ноября 1992 г., объяснял, что выделенные деньги следует направить на выплату пенсий и пособий, так как в связи с инфляцией рубль пенсия в то время составляла 8 долларов в месяц. Однако, его инициатива не нашла сколько-нибудь серьезной поддержки, потому что не сообразовывалась с планами и намерениями МВФ. Тем не менее Сорос привел этот пример, чтобы показать, насколько необходимой в тот период была для России помощь извне. Далее он рассказывает, что им был основан Международный научный фонд в 100 миллионов долларов (с учетом дополнительных денежных ассигнований он составил 140 миллионов долларов). Фонд начал свою деятельность с того, что выплатил премии каждому из 40 000 успешно работающих ученых (премия — 500 долларов), надеясь, что это будет способствовать тому, чтобы они продолжали свою работу, оставаясь в России. Затраченная сумма в 20 млн долларов помогла просуществовать этим ученым целый год. Открытая критика в адрес кандидатов, выдвинутых на премию, обеспечивала

объективность отбора. Выплаты производились в долларах в течение нескольких месяцев.

Организация фонда для поддержки ученых и его функционирование, по мнению автора статьи, стали свидетельством того, что в России возможен контроль за средствами, предоставленными в качестве помощи из-за рубежа. Создавая этот фонд, отмечает Дж. Сорос, он рассчитывал на содействие международных научных организаций, которые, как ему представлялось, захотят помочь своим коллегам. Но его ожидания не оправдались — точно так же, как МВФ не хотел поддержать пенсионеров, международные научные организации отказались от финансовой поддержки ученых.

Что же до самого Сороса, то он считал своим долгом помочь российским ученым в том числе и потому, что при советском режиме в научно-исследовательских институтах было сосредоточено много светлых умов, проявивших приверженность свободе в гораздо большей степени, чем это наблюдалось в других слоях общества. Эти люди находились на самом острие событий, происходивших в то время. В отличие от западных ученых (исключая работающих в некоторых приоритетных отраслях) они мыслили более широко, не ограничиваясь научными и техническими изысканиями. Кроме того, Дж. Сорос опасался, как бы коррумпированное государство не вздумало соблазнить высокими гонорарами ученых-ядерщиков, получающих мизерную зарплату.

Автор статьи рассказывает, что деятельность фонда принесла ему заслуженный успех. В то же время он часто подвергался различным нападениям. Например, рассказывает он, мы участвовали в конкурсе на новый учебник, свободный от марксистско-ленинской идеологии. На этом основании нам были предъявлены обвинения в том, что мы отравляем сознание молодежи. Был случай, когда Дума возбудила дело против фонда, утверждая, что он за ничтожную плату скупает секреты государственной важности. Однако научные организации оказали фонду энергичную поддержку, в результате Дума извинилась и прекратила разбирательство.

Сорос откровенно признается, что ему не по душе климат российского бизнеса, и, дабы избежать каких-либо конфликтов, он воздерживался от инвестирования экономики. Тем не менее он не мешал некоторым из его менеджеров вступать в фонд инвестирования экономики России на тех же условиях, что и прочие западные инвесторы.

В январе 1996 года Дж. Сорос посетил международный экономический форум в Давосе, где присутствовал выдвинутый в президенты от коммунистической партии Геннадий Зюганов, тепло принятый представителями бизнесов. Через несколько дней в разговоре с Борисом Березовским Сорос попросил его поддержать Григория Явлинского, которого считал честным реформатором, заметив при этом, что если президентом выберут Зюганова, то Березовскому несдобровать. Далее Дж. Сорос отмечает, что в то время он не предполагал, как тесно связан Березовский с грязными махинациями ельцинской семьи.

Как впоследствии признался в одном из выступлений сам Березовский, именно предупреждение Сороса заставило его действовать незамедлительно. Тут же, в Давосе, он организовал группу бизнесменов, возглавляемую Анатолием Чубайсом и помогавшую Борису Ельцину добиться переизбрания. Сорос подчеркивает, что Ельцин стал президентом, получив поддержку менее 10% избирателей, и объясняет это определенными методами воздействия олигархов на политические события. Он приводит в своей статье общеизвестный факт: при выходе из Белого дома был задержан один из помощников Чубайса, выносивший коробку с 200000 долларов.

За помощь Ельцину олигархи сумели получить несоразмерно высокую плату. В обмен на займы, предоставленные ими государственному бюджету, они потребовали наиболее ценные акции всех известных государственных компаний. Эта операция получила позорно известное название «займы за акции».

Далее автор статьи останавливается на личности Чубайса, которого считает прекрасным реформатором, сделавшем все и даже «продавшим душу дьяволу», чтобы не

допустить прихода к власти красно-коричневых. По его мнению, Чубайс предпринял немало усилий для успешного реформирования экономики, но так и не смог обуздать олигархов, чтобы освободить страну от «разбойного капитализма». Но некоторых результатов он все-таки достиг: при нем снизилась инфляция, увеличились суммы от налогов, поступающие в бюджет, вырос рынок ценных бумаг. Поскольку защищались интересы зарубежных вкладчиков, иностранцы продолжали приобретать акции, инвестируя российские предприятия и компании.

Далее Дж. Сорос рассказывает, что, зная о широко распространенной в России коррупции, он не хотел «пачкать руки», занимаясь предпринимательством, и предпочел ей филантропическую деятельность.

Вместе с тем он понимал, что Россия гораздо больше нуждается в инвестициях, чем в филантропии. В 1997 году Дж. Сорос участвовал в аукционе государственной телефонной холдинговой компании «Связьинвест» и приобрел ее за 2 миллиарда долларов, причем более половины этой суммы было взято из его фонда. Хотя названная сумма была весьма весомой, он говорит, что считал бы такого рода сделку вполне успешной, если бы она помогла хоть что-нибудь изменить в состоянии российской экономики. К сожалению, этого не произошло.

Во время аукциона, пишет Сорос, разразилась жесткая борьба между олигархами. Некоторые из них стремились вести бизнес на законной основе, другие были против, поскольку не умели работать в рамках, поставленных законом. Особенно отличался Борис Березовский. После того, как его союзники потерпели поражение, он поклялся уничтожить Чубайса. Дж. Сорос сообщает, что он несколько раз пытался конфиденциально говорить с Березовским, убеждая его, что ему, как очень богатому человеку, владеющему самой мощной в мире нефтяной компанией «Сибнефть», нужно просто укрепить свои позиции. В ответ Березовский возразил, что Сорос его не понимает, так как речь идет не о том, насколько он богат вообще, а о том, каково его богатство по сравнению с Чубайсом и остальными олигархами. Каждый должен быть до конца

привержен своему делу. Он, Березовский, должен уничтожить своих соперников или он будет уничтожен сам.

Далее Дж. Сорос пишет, что он стал свидетелем удивительного исторического спектакля, в котором могущественные олигархи хотели не только изменить результаты аукциона, но и направили свои действия против правительства, пытающегося их контролировать. Поводом для скандала послужило то, что Чубайс получил 90000 долларов от телефонной компании, с которой заключил контракт на издание телефонного справочника. Олигархи обвинили его, так как это была именно та сумма, которую они внесли во время выборной компании. Чубайс был ослаблен и не мог себя защитить. Но Дж. Сорос считает, что подлинной причиной конфликта явилась не сумма, полученная Чубайсом согласно контракту, а его более жесткая позиция в сборе налогов, с которой не желали смириться олигархи.

Разразившийся азиатский кризис создал серьезную угрозу для российской экономики и в августе 1998 года вызвал дефолт, потрясший международный финансовый рынок. Но практически разрушение российской экономики было менее значительным, чем это предполагалось в то время. Девальвация рубля даже несколько улучшила состояние российского бюджета, а рост цен на нефть способствовал оздоровлению финансового и торгового баланса. После краха некоторых звеньев банковской системы экономика начала постепенно восстанавливаться. Хотя руководители банковских структур и олигархи пострадали от внесенных потерь, спустя год российский валовой национальный продукт увеличился по сравнению с предкризисным периодом. Западные кредиторы предложили новые выгодные ассигнования, которые были приняты.

Социальная революция в России, полагает автор статьи, не принесла удовлетворительных результатов, то же можно сказать и о политике. Семья Ельцина под руководством Березовского долго пыталась найти преемника президента, который в дальнейшем обезопасил бы ее от судебных расследований. На этом фоне возникла фигура Владимира Путина, директора ФСБ. Летом 1999 года он



был назначен премьер-министром и объявлен Ельциным кандидатом на пост президента России. В это время, когда произошла вспышка террористической активности в Чечне и Шамиль Басаев, один из чеченских террористов-командиров, вторгся в соседний Дагестан, Путин энергично реагировал на его действия. Чеченских боевиков атаковали силы безопасности, и Путин объявил, что Дагестан будет очищен от террористов к 25 августа. Он сдержал слово. Российское население восприняло разрешение ситуации в Дагестане с энтузиазмом, популярность Путина подскочила до небес.

Затем, отмечает Дж. Сорос, произошла целая серия таинственных взрывов в Москве и других городах, в столице взлетели на воздух жилые дома, три сотни людей были убиты — ночью, когда все спали. Началась паника, гнев населения обрушился на Чечню, пресса и телевидение усиленно нагнетали эти настроения. Путин отдал приказ войскам вторгнуться в Чечню. Дума проголосовала в поддержку военной истерии. Лишь немногие депутаты посмели оказаться в оппозиции по отношению к правительственной политике. Среди них был Григорий Явлинский. Он выступал за антитеррористическую акцию в Дагестане, но протестовал против вторжения в Чечню. В связи с этим популярность его партии резко снизилась и едва достигла пятипроцентного барьера, необходимого для представительства в Думе. Зато поспешно состряпанная проправительственная партия «Единство», не имевшая четкой программы, по количеству занятых мест в Думе оказалась второй после коммунистов.

Феноменальный успех Путина, пишет автор статьи, явился результатом политического искусства, выработанного Борисом Ельциным во время выборов 1996 года. Имея долгий и разносторонний опыт общения с Березовским, Дж. Сорос чувствовал его руку в обеих операциях. В 1996 году у них было немало откровенных дискуссий по поводу выигранной кампании, и Дж. Сорос ясно представлял методы, которые применял Березовский. В то время он советовал Березовскому отойти от «разбойного капитализма» и заняться нормальной предпринимательской дея-

тельностью. Однако Березовский пытался использовать влияние Сороса, чтобы занять должность исполняющего обязанности председателя Газпрома — наиболее мощной коммерческой организации в России. Он утверждал, что Чубайс и Немцов поддержат его кандидатуру. Но когда Сорос заговорил об этом о Немцовым, тот ответил «Только через мой труп!»

Впоследствии Дж. Сорос встретился с Березовским в его «клубе», декорированном в стиле мафиозного притона, и упомянул о разговоре с Немцовым. Последнее повергло Березовского в бешенство и стало, как сообщает Дж. Сорос, поворотной точкой в их отношениях.

Несомненно, считает он, именно война в Чечне привела Путина к победе на президентских выборах. К тому же в настроениях русского народа произошли значительные перемены. В первые годы после Горбачева в России самым негативным образом относились к проявлению любого насилия. Факт, что мало крови было пролито в Тбилиси, в Латвии, а позже — в атаках на Белый дом в 1993 году. Общественное мнение было против тех, кто использовал силу.

Пять лет назад, в период первой войны с Чечней, русские стремились избежать многочисленных жертв и добиться мирного урегулирования конфликта. С тех пор ситуация изменилась. По общему признанию, чеченские террористы захватывали в плен журналистов и гражданских лиц, требуя выкупа, и нередко их убивали. Ныне одни сочувствуют чеченцам, другие публикуют материалы, посвященные зверствам, которые совершают террористы. Дж. Сорос считает, что происходит манипуляция общественным мнением, его все больше настраивают против Чечни. При новом президенте, очевидно, война будет продолжаться.

Вероятно, Путин попытается восстановить сильное государство, и он может в этом преуспеть. Стремясь укрепить власть, он мог бы способствовать преобразованию «разбойного капитализма» в легитимный. Но нет особых надежд на то, что путинское государство будет построено на принципах открытого общества. Скорее всего оно будет

базироваться на деморализации и унижении достоинства русского народа.

Возникшей перспективы можно было бы избежать, если бы Запад в большей мере заботился о становлении открытого общества. Процесс преобразования для России был бы весьма болезненным, с множеством неполадок и разочарований, но в конце концов он двинулся бы в правильном направлении. Россия могла стать истинной демократией и подлинным другом Соединенных Штатов, как это произошло с Германией после Второй мировой войны и Плана Маршалла, но сегодня ее будущее остается довольно туманным.

Тем не менее Дж. Сорос рассказывает, что его фонд остается активной силой в российском обществе и пользуется большой популярностью. Среди прочих программ фонд основал 32 компьютерных центра в российских провинциальных университетах, это способствует развитию сети Интернета и тем обеспечивает широкий доступ населения к разносторонней информации. Говоря о том, что фонд помогает книгами пяти тысячам местных библиотек, и о том, что фондом внедрены в шести областях образовательные программы, Дж. Сорос обещает и в дальнейшем поддерживать и направлять его работу столько времени, сколько это будет необходимо России для построения в ней открытого общества.



Анна ГЕРТ

## ВИНОВАТ НЕ ТОЛЬКО ЗАПАД...

Судя по статье Дж. Сороса «Кто потерял Россию?», автор полагает, что в настоящее время Россия выпала из сообщества цивилизованных государств. Причиной этого явилась недальновидная политика Запада, не предоставившего ей ассигнований и кредитов, необходимых для перехода к рыночной экономике. С этим нельзя не согласиться. Если бы международные организации оказали финансовую поддержку пенсионерам, получающим 8 долларов в месяц, учителям или другим слоям населения, очутившимся за чертой бедности, авторитет Запада поднялся бы не в меньшей степени, чем авторитет Владимира Путина после 25 августа, когда Дагестан был очищен от террористов. Но в России нет четко работающего механизма, обеспечивающего порядок поступления и использования материальных и денежных средств. Само возникновение системы «разбойного капитализма» стало следствием приватизации, презревшей всякие законы. Нет гарантий, что, если бы даже МВФ выделил необходимые суммы, они попали бы к голодающим и страждущим. Возможно, эти средства оказались бы на Кипре в руках все тех же разбойных капиталистов.

Разумеется, ответственность за то, что в России так и не были созданы структуры, способные контролировать законность финансовых операций, ложится на реформа-

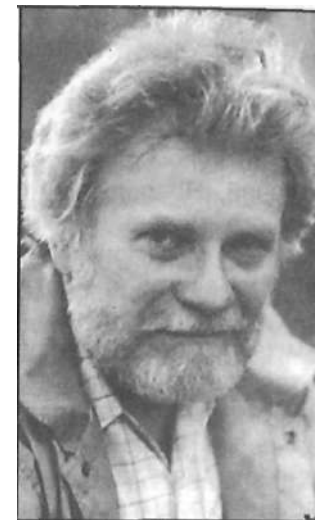
торов. Однако если бы западные государства действительно захотели оказать реальную помощь России, они бы нашли для этого соответствующие каналы — сумел же Дж. Сорос добиться эффективных результатов в работе своих фондов.

1999 год оказался для России удачным. По данным Госкомстата, рост промышленного производства составил 8%, национальный валовый продукт вырос на 3,2%. Правительство предприняло ряд мер для погашения задолженности по заработной плате, пенсиям и другим видам социальных пособий. Нельзя, впрочем, утверждать, что эти позитивные сдвиги — результат продуманной экономической политики. Скорее они явились следствием благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры для товаров традиционно российского экспорта, таких, как нефть, нефтепродукты, черные металлы, алюминий и некоторые другие виды сырья.

Но несмотря на сравнительно высокие темпы экономического роста, Россия все дальше отходит от открытого общества. Трудно винить демократические страны в том, что им так и не удалось вырастить желанные ростки западной свободы на российской почве. Целые столетия Россия пыталась реализовать вариант развития, во многом противоположный западному. Поэтому для нее оказалось невозможным в течение короткого периода изменить сложившиеся устои, обрести по сути другую цивилизацию. Сейчас опять среди традиционных российских ценностей все чаще называют державность, величие, патриотизм. Отвергая демократические принципы, Россия находится в состоянии поиска своего места в современном мире. Каким оно будет, покажет время. Но несмотря на происшедшие перемены и на то, что в результате кризиса 1998 года Сорос потерял в России 2 млрд долларов, его фонд продолжает действовать.

Однажды Сорос рассказал, что его отец, офицер австро-венгерской армии, в Первую мировую войну попавший в плен к русским и оказавшийся в лагере в Сибири, вместе с группой таких же пленных решил бежать. Они плыли на плоту по одной из сибирских рек, но спустя несколько недель поняли, что их несет не на юг, а к Северному Ледовитому океану... Будем надеяться, что в противоположность своему отцу, плохо знавшему географию тех мест, Дж. Сорос выбрал правильный путь, и его фонд, как плот, в трудную минуту поможет России, которая в конце концов достигнет берегов открытого общества.

*Публикация подготовлена экономическим обозревателем журнала «Время и мы» Анной Герт.*



*Андрей НУЙКИН*

## ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ?

*Из цикла «Реквием по перестройке»*

### «Пятитысячелетку в четыре года!»

Ключевая задача, которую решает любая добропорядочная социальная революция — смена форм собственности. Когда классиков марксизма просили одной фразой выразить суть коммунистической идеологии, они без колебаний заявляли: «Отрицание частной собственности». Этим и подкупила в свое время идея коммунизма массу жадавших всеобщего равенства людей. Что и говорить, право на кураж собственников, помноженное во многих случаях на их глупость и низкую культуру, способно вызывать законные (с точки зрения морали и хорошего вкуса) гнев и отвращение. Мечта об общественной гармонии, о справедливом распределении благ в соответствии с прин-

ципами гуманизма и реальными достоинствами и заслугами людей (по труду, по таланту и т.д.) всегда будет могучим стимулом для совершенствования общественных отношений. Но попытки положить в основу правовых норм высокую мораль и «хороший вкус», стремление превратить мечту в проект практического жизненного переустройства всегда с неотвратимостью завершались почему-то крахом, трагедией, а в конечной фазе фарсом, где самые благородные, казалось бы, порывы души начинали выглядеть пошлыми, жалкими и неумными.

Мечта об общенародной собственности не потому потерпела в нашей стране крах, что люди индивидуально, личностно оказались неспособными («по самой природе своей») возвыситься над жадностью и эгоизмом. Мировая история знает бесчисленное множество случаев индивидуальной или групповой самоотверженности, бескорыстного, даже жертвенного служения высокой идее, «общему делу», человечеству, добровольного и даже радостного отречения от богатства, выгод, удобств и материального благополучия. Беда только в том, что в этих случаях всегда с лихвой набиралось сметливых людей, которые охотно прибирали к рукам эти богатства, блага и удобства (а с ними и власть!), глумливо посмеиваясь над глупостью прекраснодушных идеалистов. Так что не людская жадность как таковая, а само устройство общества, движущие силы функционирования всех его институтов раз за разом оказываются непригодными для реализации чьих бы то ни было порывов души. Каждый раз благие намерения (в полном соответствии с известным афоризмом) неотвратимо мостили и продолжают мостить дорогу исключительно в *ад*.

Ад, организованный большевиками, оказался всем адам ад. Высокая идея всеобщего равенства и братства, в жертву которой были принесены десятки миллионов жизней и разрушена Великая Россия, обернулась для доверившихся ей людей злой насмешкой, фарсом, фикцией.

Неизбежность такого финала вроде бы стала нам сейчас очевидной. Труднее понять другое: почему мы, радикально сменив вредную социальную парадигму на полез-

ную, неправильную на правильную, так мало что изменили в своей жизни, так долго топчемся на месте, так бездарно растрачиваем целые десятилетия и золотой запас народного доверия. Где ты, наша долгожданная спасительница — частная собственность? Почему мы не видим твоего чудотворного воздействия на дохнущую на глазах экономику? Мы же тебя дружно реабилитировали теоретически, мы же безоглядно раздавали любым проходимцам народную собственность только для того, чтобы побыстрее восстановить твои оздоровительные механизмы практически! Мы же... Очень хочется верить, что для получения ответа на эти вопросы нам еще раз не потребуется семи-десяти лет плутаний и новых рек крови доверчивых мечтателей-россиян. Но, может быть, «верить» в столь фундаментальных вопросах — мало? Может быть, пора начать, наконец, плюс к тому сомневаться, думать, анализировать? И в первую очередь, может быть, над вопросом: действительно ли мы, признав теоретически ключевую роль института частной собственности, начали учиться этим ключом пользоваться?

На первый взгляд, в чем тут сомневаться! Толпы новых русских шастают по миру с чемоданами «зеленых», раздавая зарубежным шлюхам яхты и виллы, чего не каждый американский миллиардер себе позволит. А приватизацию в стране мы так лихо провернули, что уже к началу 1998 года в частной собственности у нас числилось 93,6% предприятий сельского хозяйства; 88,6% — торговли и общепита; 83% предприятий, занимающихся операциями с недвижимостью, и 92% — строительством!.. Ну и что эти цифры доказывают? Лишь то, что быстро «только кошки рожают»! Да и то только потому, что механизмы размножения шлифовались на земле миллионы и миллионы лет! Институт собственности, конечно, меньше — всего какие-то десятки тысяч лет. Но мы и тут пробуем «пятитысячелетку» выполнить по-стахановски — «за четыре года».

На нашем народе, на нашей стране история, похоже, решила провести еще один садистский эксперимент, чтобы продемонстрировать миру в назидание: разрушать и восстанавливать, убивать живое и воскрешать его — про-

цессы не симметричные! Это и к собственности относится. Обрести большую кучу богатых, даже сверхбогатых людей и восстановить «институт частной собственности» как прочный фундамент экономики, общественных отношений и демократии — далеко не одно и то же. В Древнем Риме было очень много богатых людей, и это тиранию государственную только дополняло тиранией вельмож (олигархов, или монополистов, если использовать современную терминологию). Поэтому, наверное, в связи с развернувшимся в стране процессом «приватизации» логичнее было бы вести речь только о разгосударствлении, а не о формировании частной собственности.

Что нам требовалось осознать с самого начала реформ? То, что институт собственности — это не только наличие самой по себе собственности у достаточно большого числа людей («теневики» и казнокрады накопили ее у нас в огромных количествах еще задолго до начала радикальных реформ), сколько алгоритм ее формирования, инфраструктура ее обслуживания, обеспечения, защиты. Речь даже не о законах как таковых (хотя и они работают только в сбалансированной системе законов). Институт собственности — это коллективная власть собственников, осознавших общность своих фундаментальных интересов, от владельца концерна до обладателя крепких бицепсов и лопаты.

И то, что экономика наша столько лет находится на грани краха, что демократия наша развивается в каких-то опереточных формах, а сама Россия никак не освободится от угрозы полного распада, свидетельствует об одном — задачи этой мы не решили! Впрочем... кто это «мы», которые «не решили»? И вообще, кто должен и в силах ее решить? Новодворская с Боровым посредством исполнения своих бездарных частушек? Сергей Ковалев с Зюгановым путем поливания помоями «ельцинского режима»? Березовский с Гусинским посредством прикармливания все больших ломтей былой «общенародной» собственности?.. Впрочем, нам уже разъяснили, каким путем — путем сочинения «хорошей» конституции, которая железной рукой закона утвердит в стране и демократию и рынок!

Увы, любая, даже самая расчудесная конституция — пустой набор фраз, если за ней не стоит реальная, организованная и способная ее защитить социальная сила. Частная собственность при капитализме не потому собственность настоящая, неотторжимая, работающая, что она провозглашена в каких-то хартиях и конституциях «священной», она «священна» потому, что в соблюдении этого принципа кровно заинтересована подавляющая часть народа. И народ, защищая свои интересы, выработал эффективные механизмы, позволяющие быстро пресекать любые попытки поставить под сомнение главный принцип капитализма. Попробовал бы американский парламент покуситься на него или хотя бы отобрать в «общий котел» больше общепризнанной нормы (через налоги, например) — только бы тот парламент и видели!

И демиургом этой ситуации, этих порядков, гарантом их незыблемости, кровно, лично, всеми сторонами своей жизни заинтересованным в их эффективности, безусловно, является «средний класс». Без него, его массовости, имущественной и гражданской влиятельности, материальной независимости и весомости во всех капиталистических странах неизбежное в этом случае господство монополий обеспечило бы фашизоидное господство экономической элиты и жесткое (если надо — то жестокое) подавление любого сопротивления ее всевластию.

### **«Плюс всеобщая африканизация всей страны»**

У нас, увы, «средний класс» (как класс) еще почти не начал складываться. Отсюда и периодические ограбления людей среднего достатка, систематическое, терпеливо воспринимаемое новым якобы гегемоном «опускание» его во всех смыслах этого слова. Даже коллективного интереса своего (в отличие от бюрократии и мафии) наш протосредний недокласс все еще не осознал, партиями, палатами, фракциями в парламенте, гильдиями, клубами, печатными органами не оснащен, идеологию свою вырабатывать не начал, а стало быть, и в умы населения внедрять ее не пытается. Собственники наши само-

стоятельной господствующей силой себя еще не осознают, властвовать не умеют, они научились только приспособливаться к (нелепым, противоестественным, чаще всего — разорительным для их дела) условиям и не пытаются их формировать. Многие вообще ни к чему не стремятся, кроме как нахапать побольше да спрятать подальше из того, что «лежало плохо». Современный кризис реформ продемонстрировал, насколько эфемерны надежды на такую «стратегию». Даже некоторые вчера еще всемогущие монополисты-олигархи оказались совершенно бессильными хоть как-то противостоять нелепостям сформировавшихся с их помощью «правил игры» (За что Николай Шмелев вполне заслуженно пригвоздил их словами: «наши, как оказалось, поразительно мелкотравчатые, близорукие олигархи»). Что же говорить о тех, кто почти начал уже считать себя «средним классом»! С нашими собственниками чиновники и уголовники по-прежнему, оказалось, могут делать все, что им угодно. Они не класс, они лишь кучка неустойчиво богатых людей. Неорганизованных, глупых и пугливых.

Но как же в эту схему уложить наши поистине мощнейшие акционированные гиганты индустрии? Увы, почти все эти торопливо и неряшливо «приватизированные» гиганты превратились во что-то очень похожее на МММ. Форму собственности на них меняли, похоже, вовсе не для налаживания производства, а только для бесконтрольного со стороны общества выколачивания любым путем у государства и населения денежных средств и концентрации их в руках кучки мошенников для неопределенного их использования в неопределенном будущем. А наши рядовые акционеры (номинальные «собственники» то есть) нужны были в этой большой рулетке только как ширма, оправдывающая якобы общенародными интересами эти мародерские акции. Они ни в малой мере не способны влиять на ход событий, не знают даже тех скромных прав, которыми наделены в соответствии с имеющимися бессистемными, полными «дыр» законодательными актами, не умеют координировать коллективные усилия и опираться на правовые институты.

Как констатировал совсем недавно депутат Думы Г.Томчин: у нас только идиот-собственник выплачивает «дивиденды». Собственник, вообще-то говоря «дивиденды» никому платить не должен. Их платят собственнику! Но так вот у нас в сознании перевернулись все понятия. Кучка дельцов, возглавивших (обычно несправедно и незаконно) акционерные предприятия (где взял, к примеру сказать, рядовой преподаватель физкультуры Быков такие деньги, чтобы хватило на «приобретение» металлургических комбинатов планетарной значимости?) стали повсеместно полновластными и бесконтрольными хозяевами этих предприятий. Добро, если бы рачительными, озабоченными их процветанием и развитием! Сплошь и рядом право владения сводилось и продолжает сводиться к возможности довести предприятие до полного банкротства для обесценивания акций, скупки их по дешевке или реорганизации на родственников, так сказать — «в прок», без особой заботы о дееспособности. Появилась целая индустрия фиктивного банкротства, вполне открытого. Без стыда и страха на стенах расклеивались объявления типа: «Банкротим банки». И — отрывные телефончики по нижней кромке.

Государство же наше и не хочет, и не может защитить интересы миллионов рядовых акционеров. Законодатели, в частности все еще не выработали (и похоже, не собираются этого делать) комплекса законов, четко фиксирующих и защищающих права рядовых членов акционерных обществ, обязанности их руководителей, регулирующих отношения между АО и государством, АО и наемной рабочей силой, АО и профсоюзами... Не так давно на конференции по правам человека, — проходившей в Астрахани, председатель профкома АО «Астраханский порт» А.Банникова рассказала, как спокойно руководство их АО увольняет любого избранного коллективом члена профкома, посмеявшегося пикнуть в защиту подвергнувшихся произволу администрации работников порта. Если такого рода факты не встретят незамедлительного пресечения со стороны правоохранительных органов и дружного отпора со стороны всех профсоюзов России на эффективном (а не фик-

тивном) профсоюзном движении в нашей стране придется надолго поставить крест. По отношению к акционерной форме владения собственностью у нас считается даже вроде бы неприличным выработать меры контроля за такими интимными процессами, как характер планирования, направленность расходов, способы достижения уставных целей. А ведь без такого контроля столь непривычная и плохо освоенная нашим обществом форма владения грозит превратиться надолго в механизм ограбления и акционеров, и общества в целом!

И дело отнюдь не только в разрозненности и юридической беспомощности каких-то акционеров. Российское государство, все еще являясь самым крупным совладельцем акционерной собственности (оно присутствует сегодня по крайней мере в четырех тысячах АО), практически совсем не влияет на ее функционирование. На 1500 предприятиях его доля ниже 25%, а это значит, диктовать свою волю и даже просто контролировать ситуацию оно не в состоянии и является лишь ширмой для тех самых «хозяйчиков», прикрывающихся его авторитетом, использующих бесконтрольно его ресурсы и разнообразные льготы. Но даже там, где государство владеет контрольным пакетом, оно, как правило, устраняется от активного проявления своей воли, от отстаивания общегосударственных интересов, за которыми стоят интересы всех граждан России. Дивиденды этих предприятий, увы, пока не стали сколько-нибудь ощутимой частью доходных статей бюджета и уплывают почти полностью в воровские карманы.

Нетерпимая ситуация сложилась и по отношению к наемным работникам этих не ясно кем и как, по какому КЗоТу управляемых предприятий («Трудовой кодекс» наши законодатели все никак не примут, что вряд ли случайно), они ведь просто не умеют в этих непривычных для всех нас условиях ни объединиться для защиты своих интересов, ни опереться на имеющиеся, пусть устаревшие, несовершенные и разрозненные законодательные акты (организованно добиваясь принятия новых, системных, более совершенных). Общество (в частности СМИ) по привычке трактует такого рода конфликты как конфликты между

трудящимися и государством, хотя социальная природа, правовая база и способы разрешения этих конфликтов уже давно принципиально другие. И стучать касками наемникам (а тем паче членам) АО надо не по булыжникам Горбатого моста возле Кремля, а по мраморным колоннам вилл руководителей своих шахт, если уж их профсоюзные лидеры не способны предложить более цивилизованные и эффективные способы борьбы за их права.

Увы, пока главная магистраль в реформировании отношений собственности у нас (перевод государственных предприятий в акционерные) возникновения настоящей частной собственности не обеспечивает. Это как бы только промежуточный рубеж изменения юридического статуса предприятий, рубеж, создающий только гипотетическую возможность будущего формирования реальных собственников.

Но ведь на Западе этот вид собственности четко относится к полноценной разновидности частной, охватывая важнейшие секторы экономики и прекрасно справляясь со своими задачами! На Западе и государственная собственность справляется. И групповая, и всякая другая. Секрет тут простой. Все существующие в развитых капиталистических странах виды собственности генетически восходят к частной собственности, сформированы ею, а главное — функционируют в системе созданных ею организационных, правовых и моральных отношений, правил и норм, находясь в постоянной живой конкуренции с нею. У нас же начавшаяся вроде бы стадия перехода от собственности корпоративно-бюрократической к частной, увы, пока достаточно обратима, являя собой не подлинную «приватизацию», а формирование всякого рода паллиативов, суррогатов, маскировку старых (советских) и новых (мафиозных) способов владения под якобы частнособственнические.

Акционирование крупных заводов или переоформление колхозов в «добровольные союзы пайщиков» выглядят пока лишь попыткой организовать «вторую линию обороны социализма», они не создают реального класса собственников, а только маскируют «рыночными» вывесками и лозунгами безответственное владение ничьей общей

собственностью и расхищение ее в особо крупных масштабах.

Для иллюстрации стоит вспомнить хотя бы о посредниках в угольной промышленности: эти безликие, увертливые и юридически неуловимые попутчики казнокрадов, похоже, и являются сегодня реальными владельцами большинства крупнейших наших шахт, определяя каналы сбыта, цены на продукцию и нормы оплаты труда шахтеров. А «красные директора» акционированных шахт, похоже, готовы за мизерную долю получаемых таким путем сверхприбылей довести собственное производство до нищеты и развала. Накладные расходы, к примеру, у предприятий ВПК и мощных НИИ составляют в последние годы около четырехсот процентов. Из каждых вложенных государством пяти рублей около трех уходит здесь в бездну, у которой дна но видно. Предприятия на грани перманентного краха, а значительная часть вложений уходит на зарплату аппарата, что позволяет руководству шиковать покруче, чем в брежневские времена.

Лекарства — не предмет роскоши, а вопрос жизни и смерти граждан страны, поэтому проблема о их доступности для каждого нуждающегося всегда в центре внимания государственных органов во всем мире. У нас — тоже. Из 13,5 тысячи зарегистрированных в России лекарств 394 наименований внесено в категорию жизненно необходимых, и уж в этом случае государство... Остановим разбег пафоса. Даже в этом случае наше государство не щадит своих граждан. Как это «не щадит»? Есть ведь твердое правило: к цене производителя аптека не может прибавлять более 25%. 25% — это более чем достаточно. Но не тут осуществляется главный грабёж. Между аптекой и производителем нагло вклиниваются господа посредники (число их в фармацевтике за годы реформ возросло в 14 раз!), и каждый из них норовит свои 25% отхапать. В итоге тот же жизненно необходимый аллохол, отпускаемый производителем за 8,5 рубля, покупателю обходится уже в 13 рублей 54 копейки (в государственной, заметьте, аптеке). Но аллохол как-никак относится к 3% лекарств, цены которых контролируются государством. Ну, а осталь-

ные 93% — это что, не лекарства? От них что, не зависят проблемы жизни и смерти или просто здоровья тех, кто не в силах отдавать по ползарплаты за упаковку?

Посредники наши плодятся со скоростью саранчи, ведь лицензии им выдают не министерства (здравоохранения или экономики), а всякого рода «уполномоченные» лаборатории, которые поставили процесс на сугубо коммерческие рельсы, взимая в свой карман за выдачу лицензий солидный бакшиш. Таким образом, им чем больше посредников, тем больше навару. Какой уж тут контроль! В итоге: реланиум изготовитель готов продавать по 117 руб. 35 коп., а с больного за него сдирают уже по 470 рублей! Диазепам при исходной цене в 8 руб. 65 коп. в аптеке стоит 54 руб. 22 коп. Пройдя сквозь строй посредников цена выросла на 400,6 и на 626,8%! И это производство вовсе не значителось как монопольное. Что вы! Совершенно рыночное, ведь посредников-то пропасть. Загадка только: почему они, «конкурируя» друг с другом, цены не сбивают, а наоборот, стремительно и очень скоординированно взвинчивают? Уж не просматривается ли за цифрами преступный сговор? Но в таком случае, куда смотрит антимонопольный комитет и прочие наши радители за народное благо? Вопрос для умственно недееспособных. Имея по 400-600% прибыли, можно, не напрягаясь, ангажировать услуги даже английской королевы, а работники наших грозных комитетов — демпинговый товар.

Но фармацевтическое производство лишь одна маленькая лавочка на просторах нашей очень большой и очень рыночной экономики. Притом худо-бедно, но все-таки занятая не только грабёжом, но и производством. И при всей бедности населения имеющая резервы платежеспособного спроса. Лекарства ведь людям зачастую более необходимы, чем хлеб и крыша над головой. Жить захочешь — все продашь, а их купишь. По любой цене. Ну а там, где покупателя насильно платить не заставишь, хоззяйчики и посреднички наши паразитируют по-другому.

В России, по мнению специалистов, утвердилась «африканская модель» хозяйствования, при которой завод стоит, станки ржавеют, продукция отгружена, но ушла нале-



во, на складах лежит товар, а коллектив отпущен в бес-срочные отпуска на вольные заработки. Директор завода проводит время на Канарах и периодически наезжает в Россию — проллобировать в Кремле льготный кредит в обмен на политическую лояльность завода, а то и всего региона. Такие предприятия, формально оставаясь в федеральной собственности, буквально обвешаны гроздьями подставных посреднических фирм, оформленных на родственников или доверенных лиц директоров. Это «экономика подсоса», по выражению профессора Горвардского университета Яноша Корнаи. В ее рамках предприятие пользуется экономической свободой, но не несет экономической ответственности за свои действия.

До либерализации цен в январе 1991 г. шел «подсос» материальных, а после нее — финансовых ресурсов. Питательной средой (и следствием) такой экономической «модели» являются тотальная неуплата налогов, взаимные неплатежи, расчеты «черным налом» и бартером, вывоз капитала за рубеж. Источники финансирования этого «насоса-подсоса»: снижение жизненного уровня населения (низкий уровень доходов, систематические разовые радикальные ограбления — то по вторникам, то по четвергам) и наращивание зарубежных займов, расплачиваться за которые непонятно как предстоит нашим детям и внукам.

И если бы эти экспроприированные у населения средства хотя бы способствовали оживлению производства! Увы, они обычно крутятся почти целиком в виртуальной сфере чисто финансовых операций и махинаций, которые превращают владельцев гигантских банков не в капиталистов, а в олигархов, творящих свой бизнес не по законам свободного рынка, а с помощью высасывания у общества средств через скрытые от глаз народа механизмы государственной машины (прокручивание бюджетных средств, спекулятивные операции с государственными ценными бумагами, получение при помощи связей и подкупа всякого рода выгодных дополнительных функций, привилегий, льгот...).

Как мы убедились в августе 1998 г., и банковская система у нас сложилась вполне «африканская». За что и

поплатилась. Впрочем, она только «поплатилась», а «расплачиваться» за эту дикость пришлось как всегда народу. Но с наибольшей отчетливостью африканская модель проявилась, наверное, все-таки в сфере нашего сельского хозяйства.

### Агробароны и агробараны

Во время выборной кампании 1996 г. я несколько раз встречался в Вятке с полномочным представителем президента в Кировской области В.Сумароковым, одним из тех немногих, кого местным администрациям так и не удалось к тому времени подмять под себя, сделать удобным и бесконфликтным. И знаете, с кем у него развернулся при этом основной конфликт? С главными заступниками крестьянства, организаторами бесконечных шумных митингов под лозунгами «защитим труженика-земледельца от произвола властей, антинародного режима Черноырдина-Ельцина» — с агробаронами, возглавляющими Крестьянский Союз и Аграрную партию. Баронов этих иногда упрекают за то, будто они защищают обанкротившуюся колхозно-совхозную систему. Что вы! Они давно уже пионеры новейших капиталистических форм организации труда на селе! Вокруг них куда ни плюнь — везде сплошные акционерные общества. И колхозы с совхозами, и переработчики, и торговые предприятия — всё акционировано! А чтобы надежнее отстаивать интересы трудящихся, красные директора и розовые председатели (простите, сейчас их полагается называть «уполномоченные представители сельских объединений пайщиков») наладили глубокую кооперацию с «уполномоченными» же представителями переработчиков сельских продуктов и даже создали с ними совместные акционерные ассоциации, куда бывшие колхозы и совхозы входят учредителями в качестве юридических лиц, а начальники плюс к тому очень часто еще и отдельно — в качестве лиц физических. В итоге такой замысловатой «капитализации» «насос» работает во-всю. Куда он качает, объяснять не надо. У «юридических лиц» продукцию принимают по «смехотворным» ценам, а у

«физических» магазины берут по ценам, от которых покупателям не до смеха. У «физических» товар раскупается на наличные за несколько часов, а до «юридических» деньги не доходят по полгода. «Юридических» доходов хватает разве что на свечку во здравие народных заступников, а процент дивидендов у «физических» доходит кое-где до 7800 ! «Юридические» лица не в состоянии оплачивать электроэнергию и запчасти, не в силах покупать новую технику, выплачивать налоги, а «физические» запросто приобретают «мерседесы» и строят виллы... Перед нами открытое организованное ограбление сельских тружеников со стороны их заступников и радетелей, но главная подлость даже не в том, что они у нищих суму отбирают. Идет тотальный развал производства, осуществляемый его руководителями. Но даже с самого этого развала они умудряются получать жирный «навар». Из государственного бюджета.

Все недавние гневные митинги селян с криками «Долой правительство!», «Президента в отставку!», «Власти, отдайте зарплату крестьянину!..» безотказно побуждали «власти» раз за разом откупаться за счет остальной части населения от агробаронов (особенно щедро перед выборами) дотациями, субсидиями, беспроцентными кредитами, всякими льготами, поблажками... Десятки и сотни миллиардов рублей, направлявшихся регулярно «на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей», закупку горючего, техники, удобрений, для приобретения у них продукции и т.д. с регулярностью смены времен года исчезали и продолжают исчезать бесследно в какой-то бездонной «черной дыре», крутятся в коммерческих банках («уполномоченных» и не), уходят в карманы родни и просто жуликов. Помните, как однажды вливание в 60 млрд рублей обнаружилось буквально через несколько дней вместо касс алтайских земледельцев на счетах американского банка?

Вот теперь и решайте, чьей собственностью являются земли, техника, скот и прочее имущество наших превратившихся в АО колхозов и совхозов? Пайщиков, получивших по указу президента свои наделы в частную соб-

ственность? Не смешите. Красных директоров и их идейных вождей из всех этих аграрных союзов? Но самим у себя вроде бы воровать не полагается..

Получается: реформирование наших совхозов и колхозов — никакая не приватизация, а издевательское превращение села в никем не контролируемую (ни законом, ни обществом) зону, где позволено эксплуатировать и грабить безропотных наших селян под лозунгом «Вот до чего вас довели демократы!» без риска не только в тюрьму сесть, но и даже быть отстраненным от должности. О такой «лафе» мироеды прошлых времен и мечтать не смели! Не случайно все наши агробароны и все их прихлебатели-лоббисты так пламенно отстаивали и продолжают еще отстаивать свой вариант «Земельного кодекса», нацеленный на юридическое закрепление нынешних порядков на века. По нему крестьянин имеет право поливать «свою» землю потом, повышать всемерно ее плодородие, улучшать структуру, очищать от вредителей, но ни продать, ни заложить не в праве, да и разделить между наследниками не может. Такой вот спроектирован «хозяин земли»! Она и без иезуитского кодекса этого превратилась уже для мужика из кормилицы в обузу. Земледелец за нее не держится, ею не дорожит. Но, может быть, в этом слове и ключ к разгадке того, что зашифровано в «Кодексе»? Отгадка страсти, с которой наши Стародубцевы и Зюгановы доказывают со всех трибун, что земля принадлежит народу, и они не допустят ее распродажи на сторону (тем паче — иностранцам)! Горячность сия тем и объясняется, что распродажа земли давно уже идет полным ходом, но торгуют ею сами агробароны в союзе с чиновниками. По каналам и ценам «черного рынка» прежде всего. Только за 1997 год, например, было заключено около ста тысяч всякого рода сделок с землей. У крестьян их наделы отчуждают в разных формах буквально за копейки, а колхозно-совхозные поля и угодья передаются в частные руки за взятки. Тут «цены» несопоставимо выше. Закончится это расхапывание всех обладающих рыночной привлекательностью земель, и тотчас право продавать и закладывать окажется законодательно зак-

репленным за новыми латифундистами. Можно не сомневаться. С помощью тех же самых лоббистов, которые нынче бьются в падучей, доказывая, что земля — достояние божье и торговать ею — смертный грех.

«Я знала жизнь России до революции, — обращается к русским людям из далекой Америки последняя из оставшихся в живых внучек Льва Толстого. — Россия была самой богатой страной. А сейчас?.. Мне пишут краеведы из Тульской, Липецкой областей, что поля пропадают, нет семян, нечем кормить скотину, трактора стоят сломанные. Позор!..» Так вот блюдут интересы хлебороба и волю божью наши Стародубцевы. Такие вот сегодня у нашей кормилицы-земли радетели и владельцы. Без хозяина, как известно, и дом сирота! А мародеры сирот любят. Те ведь обычно робкие, слабые, на отпор не способные.

### Частное, но не честное

Устоявшееся на Западе отношение к частной собственности (на нем и основывается идеология среднего класса): «она не безраздельно принадлежит владельцу, но является достоянием всего общества, доверившего ему распорядиться этим богатством» (Г.Владимов). У нас пока откровенно одерживает верх прямо противоположное (варварское) представление о собственности как о добыче, как о военном трофее, с которым владелец вправе поступить по законам куража: хочу — с кашей съем, хочу — в печку брошу! И эта философия подвыпившего купчика куда опаснее и разрушительнее для нашей экономики и культуры, чем даже угар дикого беспардонного дележа «общенародной собственности», бурлящего на бескрайних просторах России. «Первичное накопление капитала» — процесс всегда не благодный, через него проходили и в США, и в Европе. Но принципиально важно — для чего хапают капиталы? Для дальнейшего ответственного владения, рачительного распоряжения, всемерного приращивания или по плебейской морали: что не съем, то растопчу или обгажу, чтобы никому не досталось! К со-

жалению, формирование частной собственности в нашей стране осуществляется пока в основном именно под этим девизом.

Если в естественно, эволюционно развивавшихся в сторону демократического капитализма странах индивидуальная частная собственность стала задавать тон и ввела в рамки цивилизованного функционирования все прочие виды собственности (государственную, акционерную, коллективную, общественную...), то у нас (где процесс пошел «революционно», т.е. задом наперед) и индивидуальная частная собственность там, где она все-таки сформировалась в «чистом» виде, она не только не задает тона, не диктует законы и нормы всем прочим, но, наоборот, идет у них на поводу, вбирая в себя дикость и вороватость, характерные для наших постсоциалистических форм владения.

Посмотрите, в какое абсолютно бесправное положение попадают у нас люди, которые, убегая от обрушившихся на них безработицы или резкого обеднения, соглашаются на работу в частных (отечественных, зарубежных или смешанных) фирмах на условиях полуполюгальности или полной нелегальности (а явление это обрело массовый характер). Соблазнившись на обещанные для заманивания «большие» заработки, эти люди превращаются в бесправных, полностью зависящих от произвола работодателя полурабов. Юридически обязывающего к чему-то работодателей контракта с ними обычно не заключают, размеры и сроки оплаты строго не оговариваются, объем и время работы тоже. Социальных льгот не предусматривается, в том числе и оплачиваемого отпуска, и бюллетеня в случаях болезни, и отчислений в пенсионный, медицинский фонды. Про объединение такого рода наемных работников в профсоюзы никто даже и разговор заводить не посмеет, мы ведь все больше начинаем напоминать в вопросах отношений труда и капитала такие страны, как Куба, где все получают зарплату в пять долларов, и если тебе предлагают 25, про права и гарантии забываешь. А стоило бы вспомнить даже о таком давно забытом нами явлении, как «солидарность трудящихся». Ведь кроме беспощадной эксплуатации наемных работников, ущемления всех их

социальных прав и достоинства, такие первобытные формы предпринимательства ведут к массовому сокрытию доходов, преступному уклонению от уплаты налогов и тем самым — к ущемлению прав всех работников бюджетной сферы вообще.

Так что даже там, где мы имеем дело вроде бы безусловно с частной собственностью, института частной собственности она пока не сформировала и к цивилизованному рынку, правовому обществу, торжеству демократии «своей мощной рукой» нас не ведет.

Формирование частной собственности как социального института остается важнейшей, первоочереднейшей задачей российских реформ, не решив ее, мы ни на шаг не продвинемся к тем целям, ради которых народ наш с 1985 года терпит лишения и приносит все новые и новые жертвы.



*Владимир ШЛЯПЕНТОХ*

## **НЕКИЕ СТРАННОСТИ ПЕРЕХОДА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПРАВЛЕНИЯ**

*Заметки социолога*

### **Вопросы, на которые мы до сих пор не имеем ответов**

Николо Маккиавелли в своей классической работе «Князь» рисует тернистые пути, которым следовали многие политические деятели в борьбе со своими соперниками, и пристально изучает обстоятельства, сопутствующие их восхождению к власти.

Среди прочего в книге обсуждается переход верховной власти по наследству, путем военных переворотов, использование разного рода политических интриг, преступных комбинаций и сговоров, переход власти путем всенародных выборов, избрание властителей дворянством, осу-

ществование купли-продажи власти и даже получение ее в виде дара из рук предшествующего правителя. При этом пути и методы прихода нового правителя, как правило, влияют на характер его последующего правления и в этом смысле обстоятельства недавней передачи власти в России становятся существенно важными для понимания характера будущей жизни страны.

Накануне наступления 2000 года из Москвы пришла сенсационная новость об отставке президента Ельцина, объявившего премьер-министра Владимира Путина своим преемником на посту будущего лидера страны и тем самым обусловившего его победу на предстоящих президентских выборах.

Пойдя на досрочное назначение Путина своим преемником и отказавшись ради этого даже закончить свой президентский срок, Ельцин в сущности пошел на подрыв демократического процесса перехода президентской власти в России.

### **Вознесение из небытия**

Не существует другого российского лидера, который пришел бы к власти из такого же рода политической неизвестности, из которой явился Владимир Путин. Обычно перед тем как стать генеральными секретарями партии все советские руководители были широко известны как среди широких масс населения, так и в политических кругах страны. Борис Ельцин сделал свой последний рывок к власти только по истечении многих лет политической борьбы с Горбачевым.

В противоположность этому до наступления июля 1998 года Путин вообще не пользовался никакой известностью в обществе. Перед своим прыжком в гущу политики он служил помощником мэра Санкт-Петербурга и затем в среднем звене президентской администрации в Москве.

После назначения его главой ФСБ в июле 1998 года он продолжал оставаться не замеченным средствами массовой информации — и так до августа, когда президент Ельцин назначил его премьер-министром. Механизм путинско-

го вознесения к президентской власти, у которой он, по всей вероятности, останется минимум четыре года, а возможно, и дольше, заслуживает специального рассмотрения, поскольку это проливает свет как на его будущую политику, так и на перспективы демократии в России.

Как подчеркивают многие российские аналитики, Кремлем был разработан глубоко продуманный, блестящий план того, как ускорить восхождение Путина на политический Олимп. Стратегия победы была безотказно выполнена правительственными структурами при активном участии самого Путина.

### **Кремль на коленях (май-август 1999 года)**

Еще в мае 1999 года шансы политического выживания Ельцина приближались к нулю. Президент пользовался доверием менее 5 процентов населения.

В середине мая Дума начала процесс импичмента, выдвинув против 68-летнего президента пять пунктов обвинения, в том числе в предательстве, измене и даже убийстве. После того как президент вышел из всех этих пертурбаций невредимым, широкие круги населения нередко объясняли это почти неприкрытыми взятками Кремля думским депутатам. Согласно данным опросов Фонда общественного мнения, только 12 процентов россиян были удовлетворены тем, что Ельцин не был изгнан со своего президентского поста, тогда как две трети поддерживали импичмент.

Похоже, что Ельцин тогда оказался перед лицом двух возможных и крайне неприятных альтернатив: или сохранить власть, осуществив военный переворот и отменив выборы, назначенные на 12 июня 2000 года, или отдать себя и свою семью на милость нового и определенно не дружелюбно настроенного нового президента.

Месяцы, следовавшие за импичментом, оказались не менее опасными для Ельцина и его семьи, не говоря уже об окружающих их олигархов и политиков, которые чувствовали себя, словно на борту тонущего корабля.

В августе случилось новое событие, потрясшее западные круги, — финансовый скандал, вспыхнувший вокруг членов семьи Ельцина. В ходе слушаний, состоявшихся в

американском Конгрессе, выяснилось, что муж одной из дочерей президента имел два секретных счета в банке Нью-Йорка, на сумму в несколько миллионов долларов.

Кредитные карты членов семьи президента, вовлеченных в этот скандал, равно как и связь с швейцарской строительной фирмой Мабетекс, укрепляли подозрения российских граждан в коррумпированности Кремля.

Примерно в это же время оппозиционно настроенные к Кремлю круги достигают максимального влияния. Евгений Примаков, который был в то время наиболее популярным политическим лидером, вступает в союз с московским мэром Лужковым, другим очень популярным политиком. Оба политических деятеля питают отвращение к режиму Ельцина.

В августе уже кажется очевидным, что предвыборный блок Примакова и Лужкова «Отечество — вся Россия» займет лидирующую роль на парламентских выборах в декабре 1999 года, так же, как и на будущих президентских выборах 12 июня 2000 года.

## На пути к власти

### *Шаг первый. Путин становится премьер-министром*

9 августа 1999 года президент Ельцин предпринимает первый шаг на пути осуществления своей стратегии — он назначает Путина премьер-министром и своим преемником на посту президента России. В стране уверены, что престарелый Ельцин попросту оказался в плену иллюзий, назначив на должность премьера политика абсолютно неизвестного и к тому же открыто провозгласив его своим преемником на высшем посту государства.

Как показал, однако, ход событий, вскоре стало очевидно, что подобные взгляды оказались более, чем близорукими. Многие в стране явно недооценили потенциальные возможности проельцинского окружения и его безграничные возможности нажимать, когда им это выгодно, на важнейшие кнопки власти.

Короче говоря, в стране были попросту проигнорированы все еще сохранившиеся атавизмы советского авторитарного общества.

### *Шаг второй. Вторжение в Дагестан*

Волнения на Кавказе, которые совпали со стремительным восхождением Путина к власти, начались в августе 1999 года, когда исламские боевики вторглись в соседний Дагестан.

Российское командование преспокойно наблюдало за скоплением сил фундаменталистов на границе с Дагестаном в течение нескольких недель перед вторжением боевиков, ничего не предпринимая, чтобы предотвратить вторжение.

Было это тем более странно, что, по словам Сергея Степашина, Россия в течение шести последних месяцев была занята подготовкой войны с Чечней. Неслучайно российская пресса обвиняла Москву в том, что она сама спровоцировала нападение на Дагестан для того, чтобы оправдать готовящуюся войну с Чечней.

## Странные взрывы

Поворотный пункт в отношении народа России к войне в Чечне наступил сразу же после того, как прогремели жестокие взрывы в жилых кварталах Москвы. 8 сентября произошел массивный взрыв в рабочем квартале в юго-восточном районе Москвы. Первый удар обрушился на жилой дом на улице Гурьянова. Двумя днями позже последовали еще два удара: один в Москве, другой в Волгодонске, в ростовском регионе. Все три взрыва произошли ночью, когда жители домов спокойно спали в своих постелях.

В общей сложности в результате трех инцидентов погибло более двухсот человек. Жителей России охватил небывалый гнев, большинство населения поверило в официальную версию, что эти взрывы — дело рук чеченских террористов. Вторжение в Дагестан, взрывы в российских городах, похищение людей и другие преступления — во всем этом народ увидел прямую угрозу безопасности страны.

В считанные дни после взрывов жилых домов Кремль предпринял фантастический политический демарш — всеобщее негодование против коррупции в высших эшелонах власти было неожиданно переадресовано в сторону войны в Чечне. Россию охватила волна национализма и антизападных настроений. Превратившись в национального героя, вчера еще неизвестный Путин приобрел в глазах общества ореол сильного, волевого лидера, который бросит все силы на то, чтобы наказать зарвавшихся чеченцев.

В сентябре Путин уже не сходил со страниц газет, создавая себе имидж решительного политика, способного пойти на рискованные решения без малейших колебаний в противоположность нерешительному президенту Ельцину, который большую часть времени проводил в кремлевской больнице.

Итак, взлет политической карьеры Путина произошел на волне взрывов, в которых обвинялись чеченцы, однако уже в те дни некоторые россияне (среди них генерал Лебедь и журналисты из либеральной «Независимой» и «Общей газеты») выступили против официальной точки зрения и высказали подозрения, что взрывы произошли при прямом участии Кремля.

Андрей Пионтковский, известный в Москве политический аналитик, не испугался провести параллель между взрывами в Москве и поджогом Рейхстага в 1933 году, который был устроен рвавшимися к власти нацистскими главарями для того, чтобы ввести тоталитарное правление в Германии.

Те, кто приписывали Кремлю участие в террористических актах в Москве и Волгодонске, располагали на этот счет большим количеством косвенных свидетельств. Они приводили, в частности, следующие факты: правительство не располагало никакими доказательствами в поддержку своих обвинений против чеченских сепаратистов. Не существовало и террористических организаций, которые приняли бы на себя ответственность за взрывы. Разрушения, оставшиеся после взрывов, были убраны в течение двух дней (в противоположность тщательному расследованию, предпринятому после взрыва, обрушившегося на World Trade

Center и Alfred P. Murra Federal Building в Оклахома-Сити). Столь значительные массы взрывчатого материала не могли быть накоплены без помощи официальных лиц высокого ранга. Террористы, имея перед собой густые сети кварталов в намечаемых ими для взрывов городах, сосредоточивались исключительно на бедных районах. Не происходило вовсе никаких террористических атак в течение последующих месяцев наиболее интенсивных бомбежек Чечни.

Подозрения относительно виновников взрывов углубились после совсем уже странного события, случившегося в Рязани. Через неделю после первых взрывов жители Рязани наткнулись на три мешка с порошком и часовой механизм в подвале тринадцатизэтажного дома. После бросившегося всем в глаза 24-часового промедления чиновники органов безопасности в Москве объявили, что мешки были наполнены сахарной пудрой и в целом этот инцидент, вызвавший вспышку страха во всем городе, представлял собой не что иное, как обычные учения органов безопасности.

Многие наблюдатели, в особенности жители этого многоквартирного дома, отказывались верить официальному сообщению. Среди прочего они были удивлены тем, отчего местные власти заранее не были предупреждены о проведении этого так называемого учения. Официальная трактовка происшедшего в Рязани эпизода вызвала массу вопросов и кривотолков как в американских, так и в российских средствах массовой информации.

Значительное число россиян поддерживали зловещую точку зрения о причастности Кремля к организации взрывов и готовы были обвинить своих лидеров в убийстве собственных граждан.

Опрос общественного мнения, проведенный ВЦИОМом, предложил выбрать две альтернативы из списка наиболее вероятных сил, стоящих за недавними бомбежками. 15 процентов назвали Кремль, 21 процент ответили, что это «силы, которые хотят дестабилизировать страну и сорвать выборы», 11 процентов сказали; «Березовский и другие олигархи», 26 процентов заявили: «российские криминальные структуры», 51 процент возложили ответственность

на чеченских военных главарей и 33 процента назвали исламских фундаменталистов.

В последующие после взрывов месяцы подозрения Кремля в их организации углубились, в то время как власти продолжали предпринимать неуклюжие попытки рассеять подобного рода слухи.

Некоторые обозреватели до сих пор полагают, что взрывы устроены для того, чтобы в будущем связать руки Путину, если он вздумает пойти против интересов «семьи». В этом случае участие Путина в этих инцидентах и даже его косвенная осведомленность в существовании заговора, сослужит свою службу проельцинским кругам, включая Березовского — в руках «семьи» окажется весьма действенное орудие, гарантирующее ее неприкосновенность и создающее возможность для шантажа будущего президента России.

#### *Шаг третий. Чеченская война*

Московские взрывы кардинально изменили отношение россиян ко второй чеченской войне. В противоположность вялой поддержке первой войны они решительно поддерживали действия властей во второй, когда Кремль дал обещание взять реванш за унижительное поражение, которое принесли 94-96-е годы. На волне охватившей общество идеи реванша престиж Путина резко возрос.

Как показывает октябрьский опрос Фонда Общественного мнения, рейтинг Путина как кандидата на пост президента подпрыгнул с двух до 22 процентов в течение двух месяцев, обогнав самых популярных политиков страны (включая Примакова (20 процентов) и Зюганова (16 процентов)). Опрос, проведенный ВЦИОМом, подтвердил этот скачок.

#### *Шаг четвертый. Совершенная выборная кампания*

Вместе с укреплением общественной позиции Путина Ельцинская семья обрела все большую уверенность в своих перспективах на будущее и в частности в возможность своего почетного расставания с Кремлем. Однако кремлевские технологии отнюдь не были удовлетворены.

Как же развивались дальнейшие события? В начале октября Примаков и Лужков выглядели как опасные противники, чья козырная карта — коррупция в Кремле — продолжала оставаться для Кремля опасной. Принимая во внимание их большие финансовые ресурсы в Москве, связи с органами госбезопасности и высшим военным офицерством, президентская администрация не могла избавиться от опасений, что эти политики все еще имеют серьезный шанс завоевать президентскую власть.

Именно поэтому Кремль делает свою главную ставку на предстоящие парламентские выборы — на этот раз не для того, чтобы победить коммунистов (главного противника на всех выборах, начиная с 1991 года), но для того, чтобы деморализовать Примакова и Лужкова и их новый предвыборный блок «Отечество — вся Россия».

Для этого кремлевские технологи разработали жестокую и агрессивную технологию предвыборной борьбы с помощью средств массовой информации. В течение всей кампании две главных телекомпании ОРТ и РТР (субсидируемые Березовским) каждый божий день, часами напролет изничтожали Лужкова и Примакова, пользуясь самыми непотребными и грязными приемами. Их обозреватели комбинировали некоторые действительно имеющие место факты с грубой фальсификацией обвинений, таким, например, абсолютно недоказанным обвинением в том, что Лужков стоял за убийством известного американского бизнесмена в Москве. При этом, как правило, обе телекомпании никогда не предоставляли возможности Примакову и Лужкову ответить на эти обвинения.

Сергей Доренко и Михаил Леонтьев, два тележурналиста из ОРТ («телеубийцы» как их называли в средствах массовой информации), систематически поливали грязью семидесятилетнего Примакова, сосредоточивая внимание на его возрасте и физическом здоровье. Патриотическая карта — Чеченская война, — подкрепляемая антизападной пропагандой, с чрезвычайной активностью использовалась этими телекомпаниями, чтобы сравнить с землей каждого, кто не проявляет лояльности к Путину.

Доренко и Леонтьев награждали противников Путина такими эпитетами, как враги России, предатели и агенты



Запада. ОРТ и РТР не только громили врагов Путина, но активно поддержали проправительственный блок «Единство» и вместе с ним другие партии и движения, которые заявили о своей поддержке Путина и Чеченской войны. Среди них был блок «Союз правых сил», возглавляемый такими молодыми и амбициозными деятелями, как Кириенко и Чубайс, либерально-демократическая партия, возглавляемая Владимиром Жириновским, который во все времена оставался кремлевской марионеткой.

К тому же надо учесть, что никакая из оппозиционных сил не имела выхода на ОРТ и РТР — крупнейшие телевизионные компании страны. Другая компания — НТВ имела гораздо меньшую, чем они, зрительскую аудиторию. НТВ хотя и поддерживала блок Примакова-Лужкова, но не имела ни мужества, ни желания вступить в борьбу с телевизионными гангстерами.

Кремль опирался также и на органы безопасности, чтобы запугать и деморализовать своих врагов. Лужков, его жена и окружение мэра стали мишенью для прямых угроз со стороны этих органов (включая угрозу ареста). Несколько губернаторов, которые вначале поддерживали блок Лужкова-Примакова, не выдержали угроз Кремля сократить финансирование их предвыборных компаний в случае, если они не изменят своих позиций и не начнут поддерживать Путина. Да и сам Путин сыграл весьма активную роль в реализации планов, призванных привести его к власти.

Злоупотребляя предоставленной ему как премьер-министру властью, он грубо нарушал закон, который запрещал государственным чиновникам оказывать влияние на ход выборов. Более того, пользуясь своей растущей популярностью, он делал по телевидению публичные заявления совместно с деятелями проправительственных предвыборных блоков. Так, член путинского кабинета, министр по чрезвычайным ситуациям Шойгу использовал два месяца телевизионного времени, истратив массу федеральных денег для того, чтобы вести агитацию за Путина как за будущего российского президента.

В то же время Путин практически поддерживал противозаконный правительственный контроль за телевидением для

того, чтобы помочь на выборах проправительственному блоку «Единство» и обречь на поражение его противников.

Лица, окружавшие Путина и его администрацию, так и остались безнаказанными, несмотря на то, что ими было допущено много нарушений демократических принципов в период декабрьской парламентской кампании. Например, два олигарха, Борис Березовский и Роман Абрамович, которые поддерживали тесные связи с Кремлем, практически купили голоса избирателей отдаленных районов страны для того, чтобы войти в состав Думы, членство в которой гарантировало им неприкосновенность в случае, если против них будет возбуждено уголовное преследование.

### **Результаты выборов, и во что они обошлись России**

Итак, кремлевские технологи отпраздновали полную победу на парламентских выборах. Примаков и Лужков потерпели сокрушительное поражение.

К концу кампании влияние обоих лидеров фактически свелось к нулю. Ни тот ни другой уже не были способны участвовать в президентских выборах. Их блок готовился получить 30-35 процентов всех голосов избирателей, в то время как фактически получил только 13 процентов. Блок «Единство» завоевал 32 процента голосов, два других проправительственных объединения «Союз правых сил» и либерально-демократическая партия Жириновского преодолели пятипроцентный барьер — необходимый минимум, чтобы завоевать места в думе. Эти объединения присоединились к блоку «Единство», сформировав сильную проправительственную коалицию в парламенте.

Куда дальше идти, если эта коалиция заполучила поддержку даже ряда тех депутатов, которые еще недавно принадлежали к блоку Лужкова-Примакова, но с наступлением новой ситуации сменили, как говорят, цвет кожи.

После выборов сам блок распался на две небольших фракции, которые вряд ли способны играть сколько-нибудь серьезную роль в Государственной Думе. Даже при

относительно сильной коммунистической фракции (около 25 процентов всех мест) Дума была фактически обречена раболепствовать перед Путиным.

Успех Кремля не мог не нанести удара по российским демократическим институтам, которые и без того уже утратили свое влияние после выборов 1996 года. Предвыборные манипуляции в регионах, в особенности, в бывших национальных республиках, достигли в 1996-1999 годах наибольших масштабов. В эти годы многие выборные кампании фактически вернулись в советскому стилю прошлых времен. Несмотря на сильное присутствие в Думе коммунистов, Кремль теперь мог путем манипуляции голосами протащить любое выгодное для него решение.

Декабрьские выборы в парламент резко отрицательно сказались на состоянии политической морали в России и полностью подтвердили бытующую в стране точку зрения, особенно обострившуюся после 1996 года, что те, кто имеет деньги и власть, могут избрать любое лицо на любую должность в стране. Как заметил Александр Ципко, русский народ действительно голосует, но только так, как это угодно Кремлю и местным боссам.

Циничный побег губернаторов и других политических деятелей из блока Примакова-Лужкова в лагерь Путина оставил особенно тяжелое впечатление у населения России. Политические манипуляции на выборах углубили разочарование народа в демократии.

#### *Шаг пятый. Отставка Ельцина*

Предновогодняя отставка Ельцина стала последним актом в спектакле, разыгранном кремлевскими технологами. Для того, чтобы рассеять подозрения, что отставка Ельцина была частью заранее продуманного плана, они постарались представить ее как результат его личного, спонтанного решения. Население должно было думать, что вот так вдруг, нежданно-негаданно он принял неожиданное решение, ни в какой мере не продиктованное обстоятельствами извне.

В своем интервью, которое 4 января нового года Путин дал программе ОРТ, он заявил, что сам узнал об

отставке президента лишь за неделю до того, как Ельцин сделал соответствующее заявление. Естественно, мало кто из московских аналитиков поверил этому заявлению. Они рассматривали уход президента, как часть некоего общего плана, гарантирующего победу Путина на выборах и в будущем избавляющего семью Ельцина от какой-либо угрозы. Комментируя уход Ельцина, Михаил Горбачев прямо заявил: «Очевидно, что он не желал прихода к власти новых лиц, и в этот период для него самым важным было получить гарантию собственной неприкосновенности в будущем — все это, с моей точки зрения, противоречит Конституции».

Хотя население и восприняло отставку Ельцина с удовлетворением, но в то же время оно не могло не рассматривать ее как фарс, как очевидную попытку оградить себя и свою семью от уголовного преследования. Как показывает опрос, проведенный ВЦИОМом в январе 2000 года, 40 процентов россиян понимали, что Ельцин ушел в отставку только ради того, чтобы помочь Путину одержать победу на выборах.

Следует заметить, что в дни отставки Президент выглядел более здоровым, чем в более ранние периоды своего правления, например в 1996 году, когда во время президентской кампании он получил первый серьезный инсульт. Устойчивое состояние здоровья дало ему возможность предпринять три международных поездки а последние два месяца: в Стамбул, Пекин и Иерусалим. Ельцин мог бы их проделать куда легче в течение последующих шести месяцев. И он, вероятно, сделал бы это, если бы не чувствовал особой ответственности перед Путиным и пошел бы на нормальную процедуру перехода власти.

Существовало по меньшей мере три причины, вызвавшие решение Ельцина сократить время передачи власти. Первая: экономическое положение страны становилось все более ненадежным. И это несмотря на некоторый экономический подъем, наступивший с октября 1998 года, который стал результатом падения курса рубля и сокращения импорта. Повышение цен на нефть также привело к определенному экономическому

росту. Этот ограниченный рост не мог, однако, перевесить драматического падения уровня жизни населения, вызванного девальвацией рубля. Более того, к концу 1999 года оживление экономики в России сошло на нет. Инфляция привела к резкому подорожанию продуктов первой необходимости, ощутимому для значительной части населения (не менее, чем одной трети), в особенности для пенсионеров, которые наблюдали за ростом цен с большим беспокойством.

Без значительного увеличения отечественных и зарубежных инвестиций, а также без серьезных иностранных кредитов экономический «взрыв» мог бы наступить в любую минуту и похоронить шансы Путина на победу на выборах.

Второе: кремлевские технологи были серьезно обеспокоены ходом и результатами чеченской войны. Им было необходимо обогнать время, приблизив на несколько месяцев президентские выборы, чтобы из-за растущих в Чечне жертв не подорвать поддержку войны со стороны населения.

Третье: досрочные выборы могли ослабить оппозицию, просто путем сокращения времени, столь необходимого ей для того, чтобы лучше подготовиться к президентскому марафону.

Итак, сократив время президентской кампании, Ельцин давал Путину огромные преимущества перед его противниками, а это в свою очередь увеличивало его обязательства перед семьей Ельцина. Как точно подметил один известный российский журналист, победой на выборах Путин обязан не избирателям, а Ельцину.

В своем первом же интервью исполняющий обязанности президента сам признал, что Ельцин ему преподнес «предвыборный подарок». Поэтому совсем не случайно то, что первый свой указ Путин посвятил неприкосновенности Ельцина и благосостоянию его семьи. Характерно, что указ этот поддержала лишь треть российского населения, две трети высказались против.

### **Светлое будущее или мальчики кровавые в глазах**

Даже если мы оставим в стороне слухи о причастности Кремля к сентябрьским взрывам, участие Путина в антидемократической процедуре передачи власти вызывает серьезные сомнения в его моральных принципах и искренней приверженности демократии. Все это свидетельствует о правоте тех, кто утверждает, что кегебистское прошлое Путина оказывает громадное воздействие на его сегодняшние взгляды и действия и что он, в сущности, проявляет то же самое глубоко укоренившееся в коммунистические времена высокомерие власти и презрение к массам, как и другие ветераны КГБ.

В то же время трудно представить, что слухи о причастности Кремля к зловещим событиям сентября 1999 года сами собой испарятся из российского и международного общественного мнения. Конечно, если Путин станет в ближайшие годы успешным лидером, население России будет продолжать оказывать ему поддержку. В этом случае обстоятельства его прихода к власти станут лишь достоянием историков. Однако, если Путин окажется не в состоянии решить многие проблемы страны (в особенности связанные с экономическим кризисом), события августа-декабря 1999 года начнут вновь и вновь всплывать в общественном сознании. Новые политические противники будут поднимать их на щит и использовать как мощное оружие в борьбе против Путина.

На протяжении всей русской истории законность перехода власти всегда была предметом серьезного общественного беспокойства, вызывавшим обычно много подозрений. Обстоятельства делегирования Ельциным власти Путину напоминает россиянам один из самых темных эпизодов в многовековой российской истории — эпоху Бориса Годунова.

По утверждению знаменитого историка Василия Ключевского, царь Борис не мог избавиться от гнетущих мыслей весь семилетний период своего правления из-за широко распространенного подозрения, что он мог придти

к власти, лишь совершив убийство семилетнего царевича Дмитрия, законного наследника Ивана Грозного.

Расследование обстоятельств смерти Дмитрия в 1591 году было проведено самым подозрительным образом. Возглавил расследование патриарх Иов, который был личным другом Годунова. Семь лет спустя Иов созвал земский собор, который своим постановлением избрал Бориса Годунова на царский престол.

Как писал Ключевский, Годунов правил умно и осторожно, но тем не менее оказался не в состоянии внедрить легитимность своего правления в сознание страны, обуздать власть и независимость олигархов, (то есть бояр и русских феодальных магнатов) и предотвратить экономическую катастрофу.

В контексте сложившейся ситуации его враги как раз и использовали слухи о возможном убийстве Годуновым царя Дмитрия и нелегитимности годуновской власти в качестве пропагандистского инструмента в борьбе против царя и его семьи.

Годунов умер в период этой борьбы, и Россия погрузилась во тьму — это один из самых зловещих периодов ее истории, безвременье, которое вознесло из небытия трех Лжедмитриев, вспыхнула гражданская война, произошла польская интервенция, страну охватили крестьянские бунты.

Как мы знаем, Пушкин положил эту историю в основу своей знаменитой драмы «Борис Годунов». Позже пушкинский текст был использован великим русским композитором Модестом Мусоргским для создания оперы, в которой описал Царя Бориса и навещавшие его в последние дни жизни видения, когда перед ликом царя то и дело появлялись кровавые мальчики («мальчики кровавые в глазах»).

Естественно, сегодня слухи о событиях августа-декабря 1999 мало напоминают происходившее во времена убийства царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного.

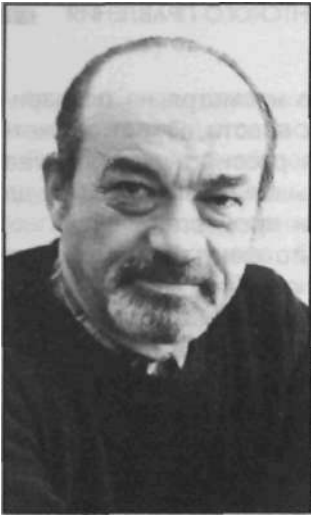
Современная Россия — это совершенно не та страна, что была несколько столетий назад, несмотря на то, что иные московские пессимисты так любят проводить параллели между этими двумя периодами русской истории.

Мы можем только надеяться, что несмотря на подозрительные обстоятельства прихода к власти, Путин окажется способным оправдать ожидания российского общества и поведет страну, преодолевая большое число проблем на пути к новой эпохе стабильности и процветания.

К тому же важно подчеркнуть, что факты недемократического перехода власти в России сами по себе не являются доказательством, подтверждающим причастность Кремля к трагическим событиям сентября 1999 года. Однако это не значит, что расследование этих событий должно быть приостановлено. Наилучший вариант развития демократии в России после избрания Путина президентом 26 марта включает скорейший розыск истинных виновников взрывов, устранение даже малейших подозрений в причастности к ним Кремля и отказ от «черных пророчеств» тех московских журналистов, которые утверждают, что кровавые мальчики вновь замельтешат в глазах кремлевских правителей, если экономические реформы потерпят крах.

Во всех случаях нас не должна покидать надежда, что российская демократия окажется способной быстро залечить раны, вызванные некоторыми обстоятельствами, омрачившими переход власти от Ельцина к Путину.

*Март 2000 года*



Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

## ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: РОМАН С ВЛАСТЬЮ

Не прошло и месяца после отставки Ельцина, как два московских Гамлета присягнули новому королю. Евгений Миронов и Константин Райкин (а это были именно они, так как сыграли роль датского принца в двух разных спектаклях) заявили, что готовы видеть во Владимире Путине очередного российского венценосца, правда, с одним условием, чтоб и он не забыл их в своих молитвах. Герой Шекспира, наверное, перевернулся бы в гробу, услышь он такое от его — пусть и случайных, временных, но все же имеющих к нему косвенное отношение — двойников.

Интеллигенция растерялась. Она не знает, в какую сторону смотреть и за чьей мантией бежать. Поставив у власти Ельцина, она надеялась, что наконец-то на престол взойдет «свой человек» и, поскольку **чемоданчик с идеями** в ее руках, она станет управлять президентом.

Но Ельцин предпочел **чемоданчик с ядерной** кнопкой

Для вида он собирал иногда в Кремле бывших подельников по Межрегиональной группе и пил с ними чай. Это называлось «Президентский совет». Потом и его отменили, как отменил щедринский Орел им же введенное просвещение. И то «прекратило течение свое».

Интеллигенты роптали, но призрак коммуниста пугал их больше, чем самодержец Ельцин. Он, по крайней мере, никого не сажал, а это — если вспомнить пережитое — означало, что в России наступил золотой век.

Теперь, судя по всему, грядет век железный и «деятели культуры» спешат отдать голоса его вестнику, На собрании, посвященном выдвижению кандидатуры Путина в президенты, были замечены Юрий Любимов, Марк Захаров, Владимир Васильев. Рядом с патриархами засветилась расторопная молодежь.

Старался отделиться от них и держаться в тени Григорий Бакланов. Он, безусловно, помнил, что телезрители не раз засекали его вблизи сильных мира сего. При Горбачеве он состоял в свите генерального секретаря (и убеждал нас с экрана, что книги Михаила Сергеевича должны быть в каждом доме), при Ельцине пробивался в окружение Ельцина. На встрече с последним весной 1993 года, когда интеллигенция поддержала президента в его противостоянии с Верховным советом, он встал из рядов и сказал: «Борис Николаевич, не держите у сердца плохих людей, а держите хороших». Зал разразился смехом: было ясно, что в караул у сердца Ельцина просится встать, Бакланов.

На НТВ Марк Захаров оправдывался, что попал на это собрание не по своей воле, а по звонку из администрации Кремля. По иронии судьбы эта администрация располагается в том же здании, где ранее обитал ЦК КПСС — на Старой площади.

Режиссеру позвонили оттуда и спросили, поддерживает ли он и. о. президента Путина.

— Я не против, — ответил, растерявшись, Захаров.

— Тогда приходите.

И все.

Точно так же в былые времена звонили со Старой площади и спрашивали: вы поддерживаете линию партии?

Тут уж деваться было некуда. Могли и спектакль снять и книгу зарубить, а то и вовсе объявить диссидентом.

Сегодня ни один волос не упадет с головы несогласного. Но страх перед тем, что это может произойти, живет в подкорке.

Я бы не стал, как Е. Киселев на НТВ, строго судить Захарова. Он главный режиссер театра. На его плечах труппа, постановочная и пожарная часть, зарплата, мебель, кассиры и гардероб. Ему надо как-то крутиться и выкручиваться, искать деньги, делать ремонт. Но я не понимаю, почему он оправдывается. Талантливый человек стоит навтыжку перед отнюдь не высшим судьей и отвечает, как нашкодивший школьник.

Еще более удивили меня его оправдания печатные. 29 января в «Московском комсомольце» появилась статья Захарова «Интеллигенция и власть». Продолжая спор со своими критиками, он привлек в свидетели (и защитники) Пушкина и Карамзина, Сперанского и Тютчева. Помянуты им Крылов и Жуковский. Все они, как пишет Захаров, «тесно сотрудничали с государственной властью». А что касается Пушкина, то он «разразился восторженной одой в честь императора Александра I», а «с душителем декабристов Николаем I гений русской земли... даже подружился».

Начнем с того, что у Пушкина нет никакой оды в честь императора Александра I. Оспорим и то, что Пушкин дружил с душителем декабристов. Письмо царя, на которое ссылается Захаров как на свидетельство этой дружбы, где Николай прощает поэта (после дуэли с Дантесом) и обещает, что возьмет на попечение его детей, есть всего лишь ответ на просьбу Пушкина, переданную им через Жуковского, простить его.

Царь в то время считался наместником Бога на земле и имел право на такое прощение.

Что же касается Карамзина, Тютчева и Сперанского, то все они состояли на государственной службе и получали жалованье. Тютчев возглавлял цензуру иностранную, Карамзин имел должность историографа, Сперанский — члена Государственного совета и генерал-губернатора Сибири.

Думаю, Марк Захаров понимает, что «служба» и «сотрудничество» — не одно и то же. Особенно в условиях советского и постсоветского режима.

И уж совсем нестати попал в его список Иван Андреевич Крылов, чье «сотрудничество с властью» ограничилось тем, что он тридцать лет прослужил библиотекарем в петербургской Публичной библиотеке.

Зато в советское время баснописцы получали от властей довольствие по полному профилю. Они опровергли ходячее мнение, говорящее, что сатира и благосклонность к ней сильных мира сего — вещи несовместные. Сатирик Сергей Михалков был угоден Сталину, затем Хрущеву, Брежневу, Андропову и т. д. Его сыновья — Андрей и Никита — продолжают эту славную традицию.

Первым интеллигентом, прибежавшим на личный прием к Путину, стал А. Михалков-Кончаловский. Этот мастер, начинавший когда-то вместе с А. Тарковским, а затем главно перешедший от киноэпопей про социалистическую Сибирь к голливудским боевикам, сориентировался ловчей папаша: опередил его.

Странно, что его, в свою очередь, не объехал на кривой козе младший брат.

Писатели-демократы дружат с Администрацией, писатели-патриоты — с Патриархией. Та-то побогаче власти. У нее земель много, и налоги она за них не платит, и свои типографии есть, и ордена.

Но, пожалуй, самые нежные отношения завязались у интеллигентов с денежными мешками. Никогда в России не было такого количества премий, как в наше время. Мастера всех видов искусств то и дело восседают на каких-нибудь церемониях, где долларовой дождь поливает таланты.

Самым крупным событием в этом ряду считается праздник по случаю вручения «престижной», как называют ее в газетах, премии «Триумф». На него собираются сливки общества, и церемония совершается не где-нибудь, а в Большом театре, где и ложи, и ярусы, и бахрома занавеса лоснятся от золота. Золото — символ «Триумфа» и его эквивалент.

Мужчины здесь в смокингах и галстуках-бабочках. Женщины в черных, чуть ли не бальных, платьях. И кого тут только нет! Все - от Майи Плисецкой до Михаила Жванецкого.

Оркестр играет туш, на сцену сыплются цветы, и по цветовой дорожке к микрофону направляется координатор «Триумфа» Зоя Богуславская. Из ее заслуг перед отечественной литературой известна только одна: она много лет пробыла на той же должности в Комитете по Ленинским и бывшим Сталинским (потом Государственным) премиям. С очаровательной улыбкой она объявляет имена лауреатов.

Ничего не скажешь, выбор жюри меток: ни одна не мировая знаменитость не может просунуться в число награжденных. Тут только звезды — и звезды первой величины.

Зал аглодирует, лауреаты в букетах цветов, и никто, кажется, не замечает в партере маленькую фигурку виновника торжества, и я бы даже сказал, его хозяина. Это г-н Березовский, известный магнат, чей бумажник и открывается в день присуждения «Триумфа». Каждому из награжденных он отваливает по пятьдесят тысяч долларов.

Не стоит считать деньги в чужом кармане, но не задаться вопросом, откуда они, мы не можем. Собственно, ответ на этот вопрос может дать каждый, читающий ныне в России прессу, человек. Деньги эти — ворованные. По Березовскому плачет, если не веревка, то тюремная камера. И наши знаменитости, берущие у него из рук чек, мало похожи на триумфаторов.

Что делать бедному интеллигенту? Он беден. А субсидия в таком размере — залог спокойной работы.

Когда я гляжу на Василя Быкова, получающего эту премию, мне становится больно. Замечательный писатель, честный человек. Но он разбит, по его лицу видно, что финал жизни отягощен для него недугами. В глазах его — чувство неловкости за происходящее. В Белоруссии он в изоляции. Власти его не любят. Они три года жил на средства Пен-клуба в Финляндии. Сейчас срок стипендии кончился. На тощие гонорары от книг не про-

живешь. И опять Пен-клуб предоставляет ему временное жилье в Германии.

Быков принимает премию и, согнувшись, садится на свое место. Уж у него-то деньги точно пойдут не на умножение умноженных много раз благ, а на хлеб насущный.

Чего, кстати сказать, нельзя отнести к другим. К Юрию Любимову, Михаилу Жванецкому, к гастрوليрующему по всему свету клоуну и отнюдь не нуждающейся балерине.

И среди интеллигентов есть сытые и есть голодные.

Унижение политическое сменилось для интеллигенции унижением бедностью, а значит, зависимостью от взлетевшего в высшие слои атмосферы жулья. Не далее как год назад тот же Марк Захаров встречал в аэропорту Шереметьево главу «Русского золота» Таранцева. С цветами встречал человека с наколками и жирной золотой цепью на груди. А в хвост режиссеру выстроились — тоже с цветами — попы.

Между прочим, о бедности и богатстве. В конце шестидесятых годов у меня был щекопливый разговор с Константином Симоновым. Симонов был очень знаменит и очень богат. Сам прошедши войну, он хотел рассказать о ней **всю** правду. И замах такой в его планах просматривался. Он говорил мне, что собирается показать, как работали на фронте особысты (вплоть до последних дней, до взятия Берлина), как солдаты в 1945 году (была весна, война кончалась) не хотели умирать. Он собирался привести своего героя генерала Серпилина на самый верх понимания преступности сталинизма. Но изменилось время, сняли Хрущева, и «вся правда» стала не нужна. И Симонов взялся переиначивать ход своей тетралогии. В результате все, о чем он мне рассказывал, в его последний роман не попало. А Серпилина он просто убил случайным осколком.

Я спросил его тогда, а не может ли он просто взять и замолчать, как молчали (ибо не создавали ничего угодного власти) А. Платонов и М. Булгаков.

И Симонов, когда-то написавший предисловие к первому изданию «Мастера и Маргариты», ответил: «Вы забыли, что Михаил Афанасьевич написал пьесу «Батум».

Да, было такое дело. Вконец измученный непечатаемым. Булгаков сочинил пьесу о молодом Сталине. Но тогда можно вспомнить и О. Мандельштама, тоже измученного и создавшего «Оду» в честь вождя. Или Анну Ахматову, посвятившую тому же персонажу цикл стихов.

«Бросалась в ноги палачу», — скажет она об этом позже.

Но в то время на троне сидел палач. И Мандельштам спасал свою жизнь, Ахматова — жизнь сына, сидевшего в тюрьме, а Булгаков — свое право дышать.

«Надо запретить им дышать!» — кричал на митингах интеллигенции, понося врагов народа, певец сталинского рая Александр Довженко.

Булгаков буквально физически чувствовал это удушье. «Я арестант», — говорил он своей жене.

Сегодня речь не идет о том, быть или не быть, дышать или не дышать, а о том, будем ли кушать севрюжину с хреном или не будем.

Роман интеллигенции с властью уходит в глубину веков, и мы не можем предсказать его продолжения. «Так было, так есть и так будет», — скажет многоопытный читатель. И окажется недалеко от истины.

Роман этот выгоден обеим сторонам. Интеллигенция этически обеспечивает легитимность власти, власть обеспечивает ее материально. Если прогнать от трона поэта, артиста, наконец, шута (он же поэт и артист), при дворе станет скучно, а заморскому гостю, когда тот посетит царские палаты, нечего будет показать. Искусство украшает жизнь, украшает оно и власть.

Этот роман может носить характер трудового соглашения (ты — мне, я — тебе), может быть перемирием, легкой летучей страстью, может и перейти в законный брак. В этом случае его последствия печальны.

Гамлет, принц датский, тоже был интеллигент. И не только потому, что окончил Виттенбергский университет, где, кстати, преподавал Лютер, но и потому, как ответил на вопрос «быть или не быть?» Он мог бы **пойти** по пути Клавдия и, подсыпав тому яду в вино, отправить злодея на тот свет. И — сесть на датский трон. У Гамлета было на этот счет оправдание: Клавдий убил его отца.

Но Гамлет погибает в открытом бою. Он отвергает идейное оправдание мести и дьявольские подсказки ума. Ум говорит ему: пережди, притворись, ударь из-за угла. С кем поведешься, от того и наберешься.

Но он идет на поединок с Лаэртом, почти зная, что ему уготована ловушка. Гамлет не может играть в их игру. Согласись он с ее правилами, он сравнялся бы с Клавдием, Полонием, Лаэртом и остальными. И никогда бы не стал Гамлетом, который уже несколько веков тревожит наше воображение, заставляя всякий раз возвращаться к обозначенной им дилемме.

Быть или не быть?

Нынешние гамлеты хотели бы только «быть» — оставаться в покое, не иметь неприятностей, а при оказии и что-то получить, отдавая взамен самое малое — собственное достоинство.





Вл.НОВИКОВ

## НЕВСТРЕЧА С ИСТОРИЕЙ

### Пусть о себе напишет каждый. Но коротко...

История есть единый смысл всех человеческих жизней, сумма всех без исключения биографий. С этой точки зрения абсолютно законно право всякого «автобиографа» вписывать свою житейскую судьбу в исторический контекст. Не говоря уже о том, что сотворение собственного жизнеописания — занятие по-своему полезное, по крайней мере для пишущего.

Сошлюсь на личный опыт. Пару лет назад мне позвонил сотрудник Литературного музея А.П.Николаев и попросил написать автобиографию для составляемого им свода «XX век: веки судьбы, веки России». Грандиозное название так меня напугало, что, поблагодарив историка за внимание, я втайне решил это дело благополучно замотать. Однако организатор проекта был настойчив и никому из приглашенных не давал спуску. После пяти-шести деликат-

ных телефонных укоров я нехотя принялся за повествование о не самом интересном для меня персонаже, мобилируя все ресурсы нарциссизма, необходимого в данном жанре. Писал я в основном о своей профессиональной работе, осознавая по ходу ее стратегию, и в итоге у меня получилось пять с хвостиком страниц — нечто среднее между деловым «си-ви» и... новеллой. Да, именно новеллой, а не романом, не эпосом оказался кусок жизни протяженностью в пятьдесят один год, а это ведь, согласно классической цифири, даже не *mezzo del cammin*, а целых три четверти земного пути. В лучшем случае полторы-две страницы осталось до финала, а я столько еще книг собираюсь написать... Отправив текст заказчику, я и думать перестал о его обнародовании: проект, кажется, так и обернулся потом очередной «незавершенкой», но это мое «автобио» всего нужнее оказалось мне самому — как *ТЕКСТ ЖИЗНИ*, подлежащий если не исправлению (поздно!), то хотя бы динамизации в недописанной его части.

И еще я подумал о том, что с интересом прочел бы пару сотен таких автобиографических новеллок современных литераторов. Если писатель меня занимает, то его небольшое жизнеописание будет полезным *сателлитом* его текстов, а ежели писатель для меня скучноват, то краткое «автобио» может послужить компактным *субститутом* полного собрания его сочинений (по крайней мере узнаю, к чему стремился сей питомец муз). Так что в принципе правы те, кто организует и стимулирует написание литературских автобиографий. С этого начинается реальная история литературы. Те, кто работал над книгами (или хотя бы энциклопедическими статьями) о конкретных писателях, хорошо чувствуют разницу между наличием у объекта исследования специально написанной автобиографии (красноречивый пример — тыняновский шедевр в этом жанре, при жизни автора не опубликованный, но выстроенный им в 1939 году с прицелом на вечность, с абсолютно органичным историческим «акцентом») и отсутствием оной (ну почему никто не уговорил, не заставил В.С.Высоцкого, столь любопытного до чужих судеб, хотя бы пару-тройку письменных страниц посвятить своей собственной!).

Резюмирую: на место в истории — величиной так до половины авторского листа — имеет право каждый. К тому же компьютерная эпоха снимает вопрос о бумаге. Так что рекомендую всем, кто относит себя к породе homo scribens, в подходящую минуту зафиксировать этапы своего пути на скрижали твердого диска, осуществив, говоря языком компьютерных команд, «создание активного документа или шаблона». А документ или шаблон — это уж у кого как получится.

### От великого Солженицына до смешного Курицына

Итак, мы все равны перед лицом истории, но некоторым хочется быть «равнее» других. Что ж, такие гипертрофированные амбиции — факт тоже исторически неизбежный: есть люди, которым просто скучно жить без само... скажем помягче: самовыдвижения на историческую роль. В нынешней культурной ситуации, что любопытно, наибольший кураж в этом смысле демонстрируют представители нашего критического и литературоведческого цеха. Куда там Евтушенко, Вознесенскому или Виктору Ерофьеву! Они выглядят просто застенчивыми скромниками по сравнению с теми, кто организует чтения своего имени, публикует в качестве литературного памятника свои личные дневники или выпускает книжку под громким названием «Записки скандалиста», не совершив при этом ни одного по-настоящему скандального (то есть вызывающего и реально рискованного) поступка.

Пусть сочтут меня занудой и моралистом, однако мне кажется, что функция критика и литературоведа в историческом дискурсе не объектная, а субъектная. Наше профессиональное призвание — вписывать в историю литературные имена современников, но только не свои собственные. Дело нелегкое, сопряженное с риском и с почти неизбежными ошибками, но биография критика приобретает подлинно исторический смысл лишь ценой успеха в угадывании исторического значения «персонажей». И если в критических спорах приходится порой акценти-

ровать свое субъективно-читательское «я» — то это не цель, а средство, один из способов эстетической борьбы за чужое творческое «я».

Допускаю возможность противоположной точки зрения и пытаюсь понять логику тех коллег, которые с буквы «я» начинают литературную азбуку, полагая собственную персону центром историко-литературного процесса. В конце концов культура развивается и за счет нарушения смелыми одиночками привычных табу. За Флегетоном все так туманно и неопределенно: устроят ли в нашу честь мемориальные чтения, сочтут ли наши дневники, записные книжки и письма достойными посмертной публикации? А живой и к тому же энергичный литератор может все это себе «пробить», убедив редакторов, что кое-кому «памятник при жизни полагается по чину». В конце концов, в литературе скромность не добродетель, во имя неожиданного результата ею можно и поступиться.

Но в том-то и дело, что замена литературоведения «самоведением» не дает ошеломляющих познавательных и духовно-творческих результатов. Публикация личных дневников и записных книжек отнюдь не производит эффекта «шума времени»: на один информационно значимый фрагмент здесь приходится десяток пустоватых, а все в целом производит впечатление сырого, хаотичного, композиционно не освоенного материала. Конечно, если ты знаком с автором, можно утешиться тем, что он как личность гораздо цельнее и интереснее, чем этот его прижизненный «литпамятник». Но зачем тогда было выходить за границы канонических жанров?

Нелишним будет напомнить, что гипертрофированное представление о собственной исторической роли всегда было характерно для тех литераторов, что кучковались вокруг националистических журналов, а затем разместились единой могучей кучкой в газетах «Завтра» и «День». Одним из первых публикаторов собственных дневников в журналах был, кажется, В.И. Гусев. Тут все гармонично: там, где Куняев — лирик, а Проханов — эпик, там и Гусев — «исторический человек» (в чистейшем ноздревском смысле). Но это вроде бы совсем другая субкультура...

Читая, скажем, обнародованную некогда в журнале переписку Алексея Парщикова и Вячеслава Курицына, я был удивлен не нескромностью авторов, а как раз скромностью — и содержания и формы. Ничего там не было такого, что нельзя было высказать в обыкновенной статье. Особенно огорчился тогда за Парщикова, который в очередной раз упустил возможность «самораскрытия». Думаю, что не достигает этого эффекта и своей неистовой саморекламой Курицын. Приняв на себя миссию заведующего русским постмодернизмом, он действует по сугубо модернистским канонам литературного поведения, чем-то напоминая молодого Евтушенко, только без стихов.

Тут возникает парадокс: эгоцентризм в наше время (в отличие от модернистской и авангардной эпох) вступает в противоречие со своей имманентной задачей: он не способствует, а мешает полноте раскрытия личности автора. Естественно, эта проблема выходит за пределы нашего цеха и имеет общелитературный характер. Приведу пример из области не мнимых, а самых что ни на есть реальных и бесспорных величин. Едва ли можно усомниться в историческом значении личности Солженицына и принадлежащих ему текстов. Из всех нынешних писателей одному Солженицыну удалось на исходе XX века совершить и яркий внетекстовый исторический поступок — отказаться от официального ордена в дни юбилея. Однако, читая новейшее мемуарное повествование «Угодило зернышко промеж двух жерновов», я ощущаю некоторый дефицит контакта по причине абсолютной уверенности автора в собственной правоте и непогрешимости. В тексте нет зазора для другой точки зрения, нашему брату, читателю, некуда вклиниться со своим убогим разумением, остается только покорно внимать. Некоторая эгоцентричность тона здесь оказалась невольной данью нашему времени. Эгоцентризм ведь в принципе возникает не от пресыщения успехом — от недостатка внимания. А внимания всей нашей литературе и всем писателям не хватает фатально. Идет мучительная борьба за моральное (черт с ним, материальным) выживание, за имя, за собственное «я» — история же тем временем проходит мимо. И это не чья-нибудь вина, а наша общая беда.

### Где взять судьбу?

Автобиография и история. Если поискать общий смысловой знаменатель этих понятий, их архисему, то это будет — судьба. Судьба есть у народа, у страны, бывает она у человека, но почему-то не у всякого. Особенно тяжело оказалось с этим делом у русских писателей в промежутке 1985 - 2000 годов. Получение Бродским Нобелевской премии и возвращение Солженицына в Россию — вот два фабульных события, которые без натяжки можно считать судьбоносными. Остальное — мелкие подробности частной жизни. Ничего исторического не приключилось ни с новобранцами изящной словесности, ни с живыми классиками. Последние хотя бы могут выехать на люди в карете прошлого: так, Андрей Вознесенский после многократных устных рассказов о «хрущевском оре» и сегодня посвящает этому забываемому событию целый стихотворный цикл.

Что ж, было у поэта первое и единственное свидание с историей, хоть и почти сорок лет назад. А другим и такого не перепало.

На протяжении почти семидесяти лет «прикрепление» писателей к истории осуществлялось через насилие над творческим процессом, запреты, аресты, изгнание и казни — из этих элементов и складывалась писательская судьба. Хочется верить, что эта традиция прервалась навсегда. Лично я готов поставить в плюс Ельцину тот факт, что он в отличие от своих предшественников не был литературным критиком и из всех современных ему писателей мог вспомнить разве что Жванецкого. Будем надеяться, что судьбы литераторов в двадцать первом веке станут определяться не фатальным политическим трагизмом, а плодотворным драматизмом естественных отношений между писателем и читателями.

Как избежать самохвальных гипербола и в то же время малодушных литот в оценке собственной «историчности»? Кое-кому это удастся. Начну опять-таки с примеров из нашего цеха. Прочитав в свое время «Записки неза-

говорщика» Е.Г.Эткинда, я увидел в этой книге прежде всего необходимый исторический документ, а потому встретился потом с ее автором, словно с давно знакомым человеком, удивительно адекватным данному тексту. Иногда бывает наоборот: читая записки знакомого человека, видишь как в них он адекватен себе и в то же время узнаешь о нем то, что невозможно постигнуть через устные беседы. Таковы «Свидетельства и догадки» Игоря Смирнова с их щегольским, но не эгоцентричным историзмом, зоркие воспоминания Александра Жолковского (который, на мой взгляд, вполне бы мог взойти на автобиографический роман и самовыразиться без использования Бабеля или Зощенко в качестве пассивного материала).

Если же говорить о сциллах и харибдах этого процесса, то одну слабость я вижу в чрезмерном автобиографическом эмпиризме некоторых авторов: хорошо, когда мемуары перерастают в роман, но худо, по-моему, когда роман подменяется мемуарами, к тому же лишенными острых перипетий. Другая проблема — некоторая скрытность тех прозаиков, которые, стремясь к высокому профессионализму, не желают, по-видимому опускаться до наивной автобиографичности как источника сюжетов. Дело хозяйское, но я бы тут прибег даже не к эстетическому, а к психологическому читательскому аргументу. Возьмем таких прозаиков, как Аксенов, Войнович, Искандер. У меня, как и у многих читателей, с этими писателями общая история, это мои старые знакомые — при том, что в контакт с ними я вступал исключительно путем чтения их текстов. Я хотел бы подобным же путем осуществить внятное человеческое знакомство со многими другими серьезными литераторами.

Полагаю, что большие ресурсы ненадуманного историзма могут сейчас обнаружиться в осознании писателем внутренних противоречий собственной биографии и собственной человеческой природы. Впрочем, этот источник вечен. Этот литературный перпетуум мобиле стоит на каждом письменном столе.



Борис ХАЗАНОВ - Джон ГЛЭД

## ДИАЛОГ О ЛИТЕРАТУРЕ В ИЗГНАНИИ

*Предлагаем читателю полемику о литературе в изгнании американского профессора Джона Глэда и романиста и эссеиста Бориса Хазанова (литературный псевдоним Геннадий Моисеевич Файбусович), теперь проживающего в Мюнхене.*

*Только что вышла фундаментальная книга Глэда на английском языке: «Российское зарубежье — Писатели, история, политика». Он является редактором книги «Литература в изгнании», также на английском языке. Его сборник интервью с русскими писателями-эмигрантами выпущен на русском языке издательством «Книжная палата» в 1990. Многие из этих интервью впервые появились в журнале «Время и мы», под редакцией Виктора Перельмана. Глэд — бывший директор авторитетного Института им. Джорджа Кеннана по изучению России, находящегося в Вашингтоне.*

*Борис Хазанов изучал классическую филологию в Московском университете в 1949, когда он был арестован по обвинению в антисоветской агитации и приговорен Особым совещанием к 8 годам заключения в лагере. После освобождения окончил медицинский институт в Калининграде (Тверь)\* и работал врачом в деревне и в Москве. Кандидат медицинских наук. Был в течение долгого времени сотрудником подпольного самиздатовского журнала «Евреи в СССР». Под угрозой повторно ареста эмигрировал в 1982 г. из СССР в Западную Германию. В 1984-1992 гг. редактировал журнал «Страна и мир» (Мюнхен) и был его соиздателем. В 1998 получил приз «Литература в изгнании». Вот лишь некоторые из книг Хазанова: «Запах звезд» (Тель-Авив, 1977), «Идущий по воде» (Мюнхен, 1985), «Час короля» (Нью-Йорк, 1985), «Миф Россия» (Нью-Йорк, 1986), «Я Воскресенье и Жизнь» (Москва, 1992), «Нагельфар в океане времен» (Москва, 1993), «После нас потоп» (Москва, 1997) и «Далекое зрелище лесов» (Москва, 1998).*

## Допрос с пристрастием

**ДЖОН ГЛЭД:** Мне понравилось у вас (в книге «Миф Россия») выражение «беспочвенность русской культуры в собственной стране», и мне хотелось бы соотнести этот факт с вашим личным опытом.

На протяжении последнего тысячелетия в России сменяли друг друга три культуры: язычество и устная традиция древних славян, трансплантированная Византия и, наконец, столь же искусственно насажденное антирелигиозное западное светское мышление. Эти культуры были настолько несовместимы и даже враждебны друг другу, что не могло быть и речи об их слиянии.

Россия — это революция, а не эволюция; смена, а не слияние. Если взять современную русскую культуру (тоже, в сущности, чуть ли не целиком заимствованную), только и слышишь, как какой-нибудь Маяковский выкидывает за борт корабля современности несчастного Александра Сергеевича Пушкина. Теперь одурманенная и тяжело опохме-

ляющаяся Россия стряхивает с себя утопически-материалистический бред некоего немецкого еврея (Волошин: «Ожидовела Россия»; Клюев: «По горбылям железных вод Горыныч с Запада ползет»),

И вот, буквально «из-под глыб», на свет Божий вылезает некто Геннадий, сын Моисеев, в литературе Борис Хазанов, не погибший в лагерях и застенках и не растерявший своих иудейских корней, ибо у него их никогда и не было, вылезает, чтобы возвестить о пропасти между «духом» и «почвой» в России. Само собой, он там, где «дух», ибо «почва» слишком уж отдаёт навозом (опять Клюев: «Радуйтесь, братья, беременен я от поцелуев и ядер коня!»). Нет, он другой, он любит тонкие нюансы, изощренные парадоксы. И когда клюевская железная дорога начинает развозить пассажиров в обе стороны, он находит свое тихое счастье в двух шагах от бывшей квартиры германского фюрера.

А тем временем из тридевятого заокеанского царства, из деклассированного месива, из клоаки материализма доносится телепатический голос еще одного отщепенца, и Г. М. Файбусович хватается за долгожданного читателя, но находит, увы, лишь соавтора — ведь интеллектуалы любят сами выступать, а не слушать других. Но Геннадию все равно хорошо, он теперь дома. Ибо он весь — продукт западного мира, только к нему он и тянется. И все вокруг лопочут на священном языке Гете и Шиллера. Кажется, один из недорослей Фонвизина тоже радовался, узнав, что во Франции даже извозчики говорят по-французски...

Ну что, правилен мой диагноз?

**БОРИС ХАЗАНОВ:** Скорее остроумен, чем правилен. Вы, мой дорогой оппонент, находитесь в плену традиционных схем. «Россия очнулась от марксистского дурмана». «Русская культура — и сегодня, и вчера, и тысячу лет назад — это культура, всецело заимствованная». «Никакого синтеза не получилось». Старая песня, друг мой. Когда вы аттестуете меня как порождение Запада, я не могу это воспринять иначе как незаслуженный комплимент.

Спорить на эти темы трудно, так как предполагается, что каждый из спорящих встанет на ту или другую сторо-

\*Калинин (Д. Т.)

ну, например, вы будете доказывать несамостоятельность русской культуры, а я — отстаивать ее самобытность. Я к этому не готов. Я не думаю, чтобы можно было удовлетвориться однозначными формулами, когда речь идет о многосложных, запутанных сюжетах наподобие десятивековой истории русской культуры и литературы или даже о таких, мне самому не ясных предметах, как духовная физиономия Вашего покорного слуги.

Пословица гласит: «И так, и сяк, а в избу никак». Это одинаково верно и когда дело идет, прошу прощения, о неудачливом любовнике, который никак не может добраться до цели, и о философе вроде вас или меня, когда он пытается подобрать ключ к вратам диковинной, вознесшейся на болотах западно-восточной крепости, называемой «русская культура».

Такой отмычки не существует. Да в ней и нет надобности. Ворота открыты.

**Вы говорите: слияния не произошло. Неправда. И первое свидетельство этого слияния, этой культурной интеграции, этой работы веков - наш язык. Русский язык, с легкостью (напоминающей судьбу английского языка) вобравший в себя самые разнородные элементы. В нем можно найти, вместе с древнерусским и церковнославянским пластами, и следы эллинистического наследства, полученного из первых рук, и татарский (тюркский) вклад, и превосходно усвоенную французскую лексику и фразеологию, и немецкую научную, ремесленную, хозяйственную терминологию. Все это прекрасно ужилось, соединилось в нераздельное целое. И то, что происходит сейчас — наводнение языка американизмами, тоже, Бог даст, будет переварено, другими словами, оставит свой след.**

Было бы странно, если бы в такой большой континентальной стране между Востоком и Западной Европой, стране, культурным и геополитическим аналогом которой можно считать императорский Рим, не происходило встречи культур, далеких и чуждых друг другу, если бы иноземные культуры не заимствовались; было бы удивительно, если бы эта встреча не привела в конце концов к синтезу и воспринятое со стороны. Вы говорите: смена, а не слияние. Я же полагаю, что для культурной истории России характерно не столько опровержение одной заимствованной культуры другой культурой, тоже заимствованной, сколько борьба этнической культурной традиции с культурой, которую условно, не настаивая на полити-

ческом смысле этого термина, можно назвать имперской культурой. Культурой, вобравшей в себя несколько традиций, сумевшей перебороть их изначальную враждебность друг другу и переработавшей их. В итоге появляется Пушкин, появляется русская классическая литература, русская и не совсем русская, национальная в такой же мере, как и мировая.

Все попытки вернуть эту литературу на уровень чисто национальной, «исконной», почвенно-самородной до чуждости миру, терпят крах.

Между тем Третий Рим валится в тартарары, от Российской империи остался торс. Но, как поет Ганс Сакс в финале «Мейстерзингеров», пускай даже рухнет Священная Римская империя, останется священное немецкое искусство. То, что я назвал имперской культурой, переживет империю. Во всяком случае, назад к деревенскому теплу, к «русской национальной культуре», домашней и провинциальной, больше дороги нет.

Вы вспомнили мою старую книжку. Под беспочвенностью культуры в России там подразумевалось то, с чем хорошо знаком каждый, кто жил в этой стране, то, что не раз отмечали иностранцы, о чем писал когда-то Георг Брандес: отчуждение огромного большинства населения, «простого народа», — до степени, неизвестной в западных странах, — от культуры и ее носителя — интеллигенции. И даже не просто отчуждение, но агрессивная ненависть. Эта ненависть всегда носила классовый характер: читать книжки, чиркать перышком по бумаге — занятие для дармоедов, для сытых; а ты вот попробуй ломать горб на земляных работах... Обратная сторона этого отношения к культуре — комплекс вины перед народом у образованных классов. Так зреет восстание против культуры внутри самой культуры.

Этот комплекс ушел в прошлое вместе с помещным дворянством и старой интеллигенцией; исчез и «народ». Отталкивание от культуры осталось.

Остались мы... или, лучше сказать, остался я. Кто я такой? Вы уделили моей персоне несколько вдохновенных абзацев. (Правда, и себя вы тоже не пощадили). Правы ли вы? Со стороны, конечно, виднее.

Если я правильно уловил вашу мысль, я для вас более или менее печальный пример этой самой беспочвенности: бегство за границу — лучшее доказательство. Продолжая

эту мысль, можно было бы сказать, что политические обстоятельства, война с крысами и завершившее ее изгнание — это рука судьбы, веление некоей высшей справедливости, воздающей каждому по делам его. Может, так оно и есть.

**Тот, кто вырос в закрытой, затхлой, отгородившейся от мира стране, может в один прекрасный день ощутить узость и безвыходность этой жизни. Громадное бескрайнее отечество может показаться тюрьмой. И когда жизнь в конце концов заключает вас в настоящую тюремную камеру, а оттуда в лагерь, вы убеждаетесь, что эти уподобления отнюдь не риторика: лагпункт представляет собой миниатюрную копию государства. Государство же, окруженное проволочными заграждениями и вышками, на которых установлены пулеметы и прожектора, в свою очередь представляет собой один гигантский лагерь с населением, которое именуется советским народом, подразделяется на рабочих, крестьян и еще кого-то, но на самом деле состоит из трех классов: вольнонаемные, бесконвойные и «контингент», то есть собственно заключенные.**

Условия моего воспитания и образования подготовили меня к «западничеству», но я отнюдь не был исключением среди мне подобных. Они подготовили меня к осознанию глухого одиночества в собственной стране, традиционного удела русской интеллигенции. Внутренняя эмиграция есть лишь крайняя форма этого одиночества.

Разумеется, я не получил того европейского образования, которое можно было получить в старой России при условии, что ты принадлежишь к привилегированному слою (мои предки в любом случае не могли его приобрести). Но я с детства знал немецкий язык, а в университете учился античной филологии. Это была та часть мировой культуры, до которой власть так и не сумела дотянуться.

Ко всему этому следует прибавить немаловажное обстоятельство: я был евреем. Я и в этом отношении могу показаться образцом беспочвенности, с культурой Библии познакомился поздно, иврит изучал в последний год жизни в России. И все же вы не совсем точны в вашем диагнозе: как-никак я вырос в еврейской среде и довольно рано заметил, что ассимиляция, как ее понимали в революционные годы, оказалась в большой мере иллюзией. Первые опыты столкновения с антисемитизмом, на-

родным и государственным, разрушили ее окончательно. Как бы то ни было, я остался русским интеллигентом — роль, на мой взгляд, традиционная и естественная для еврея в этой стране.

Итак, вы правы в общем и целом. И... не совсем правы. Чем больше разглагольствуешь на эти темы, тем все становится запутанней... Да, я был счастлив, когда вдруг принесли повестку явиться за визой — приказ покинуть страну. Куда угодно, лишь бы вон... Этот наплыв счастья невозможно забыть... И вместе с тем я чувствовал, что прикован к этой стране цепями, не только внешними: разбить, отодрать их можно было, только оставив на них куски мяса. Как же так, думал я, все это никогда больше не увижу?.. И я был последним в моей семье, кто принял решение отвалить, кто внутренне согласился с этой необходимостью. Я боялся очутиться в среде, где не звучит русский язык. Вот вам и «продукт западного мира».

**ДГ:** Вы не раз в прошлом полемизировали с формулой «художественное исследование действительности». Но в своей собственной практике вы занимаетесь именно этим. Например, если взять ваш роман «Антивремя». Не страдаете ли вы, почтеннейший, чем-то вроде философской шизофрении?

**БХ:** Шизофрения... Эх куда хватило! Я полагаю, что миссия художника всегда и везде — обуздать хаос. Посреди безумного беснования жизни, как посреди пляшущих языков огня, он идет, как слепец, глядя вперед, а не по сторонам. И он чувствует запах паленого — это обгорели его волосы. Преодолеть хаос дисциплиной языка, мужеством мысли, точностью, краткостью, концентрацией. Поэтому воля художника есть воля к стилю. Стиль — его мораль.

Вы сослались на «Антивремя». Конечно, это старое изделие, вдобавок созданное в других условиях, вам хорошо известных. И все-таки напомню вам, что в основе этого романа лежит некий состряпанный мною миф, смысл которого как раз и состоит в попытке внести подобие разумного порядка в безумный мир. Жизнь бессмысленна, безобразна, случайна, хаотична? Так вот нет же — заставим ее подтянуться силой памяти, а вернее, силой литературы.

**Добавлю** — раз уж мы заговорили о нем, — что в этом сочинении была предпринята еще одна попытка преодолеть единообразный взгляд на действительность, которая на самом деле, как я уже сказал, не может быть истолкована единообразно. Роман написан, если вы помните, от первого лица. Этим сразу же навязывается единый взгляд. Старый литературный прием, чрезвычайно выгодный в композиционном отношении, и вместе с тем возвращающий нас к этому проклятию единообразия, к этой узости и рутине, к лже-истине. Мне вообще приходило в голову (по другому поводу), что три лица глагола, а вернее, два лица, первое и третье, то есть две точки зрения в рассказе и два единственно возможных повествовательных ракурса, — это та самая решетка языка, за которой мы сидим, не в силах прорваться к действительности. К той самой загадочной действительности, которая не рассказывает о себе ни в первом, ни в третьем лице. И вот, за отсутствием четвертого лица глагола, я ввел в свой роман сны.

Но я чувствую, что вторгся в такие дебри, из которых трудно выбраться. Да и не постигаю, кого из моих соотечественников, братьев-писателей или воображаемую публику, все эти материи могут интересовать...

**ДГ:** «Умом Россию не понять...» Как надоел этот снисходительный тон только что сошедших с самолетного трапа советских эмигрантов, когда они объясняли тебе, словно неразумному ребенку, что только люди, выросшие и жившие «там», способны разобраться в реалиях этой страны. Их самоуверенность можно было сравнить разве только с чванливостью официальных советских представителей, так же упорно твердивших, что «у нас не хуже и даже лучше».

Когда я говорил, что колосс вот-вот рухнет, эмигранты недвусмысленно демонстрировали свое презрение к наивности ничего не понимающего американца.

Теперь, оглядываясь на советские времена, можете ли вы сказать, что жизнь на Западе помогла вам лучше понять вашу бывшую родину? Или армия самозванных пророков была права и Запад ничего не прибавляет к этому пониманию?

**БХ:** Сказать по правде, мне непонятно ваше раздражение. Что же вы хотите? Человек, очутившийся в другом мире, все еще живущий событиями и страданиями того,

прежнего мира, переполненный своим прошлым, которое для него — все еще настоящее, сходит с самолета на другой стороне земного шара, делает первые шаги на приютившей его земле, среди людей, живущих иной жизнью и не говорящих на его языке... Конечно же, ему не приходится в голову, что его незнакомство с американской жизнью отнюдь не почетней неосведомленности американцев касательно «той» жизни. Это — презумпция незнания: он заранее убежден, что «они нас не знают и не понимают». То, что сам он, в свою очередь, «их» не понимает, его не заботит.

А пока что он хочет рассказать «им», что представляет собой Россия. Они обязаны это знать, так как Россия в его представлении — центр мира и угрожает миру. Русский эмигрант знает эту страну изнутри. Так знают собственное тело, которое для его обладателя не только объект, не только «представляет собой» что-то, но которое есть. Передать это внутреннее знание он не может по той простой причине, что оно — внутреннее. И он пытается переформулировать его в терминах, внятных (как он полагает) иностранцам. Ему вежливо поддакивают, ему сочувствуют. Все это они уже слышали, но нельзя же сказать в глаза человеку, что его лекции утомительно банальны, его педагогические усилия наивны и сам он — самоуверенный болван. Вдобавок доверие к нему подорвано его явной политической ангажированностью. А им бы хотелось услышать что-нибудь «объективное».

Между тем он не совсем неправ — о, нет — и, конечно, не так уж безнадежно глуп. Он владеет опытом жизни в своей бывшей стране, то есть тем, чего не заменит никакая начитанность, никакой диплом, тем, чего ему не хватает в этой стране.

Отсутствие общего опыта жизни заведомо ставит эмигранта в невыгодное положение (мы оставляем в стороне плохое владение туземным языком). Даже если он кое-что знает об их стране, видел фильмы, читал писателей, его знание — какое-то не такое. Точно так же отсутствие общего с ним опыта у слушателей катастрофически понижает их акции в его глазах. Словом, если они обхо-



дятся с ним почти как со слабоумным, то он, в свою очередь, видит в них тупоумных невежд.

**На таком фоне позитивное знание тускнеет. И когда американский профессор-славист, умеющий говорить с эмигрантами не их родном языке и, что называется, не вчера родившийся, осторожно пытается вступить с ними в полемику, например, говорит им, что дни советской империи сочтены, что мировой коммунизм не так страшен, как старался внушить «Западу» бородатый пророк из Вермонта, что у американцев есть и собственные заботы и пр., и пр., когда такой диалог имеет место, результат легко предвидеть: взаимное разочарование.**

Вернусь к вашему вопросу. Помогает ли знакомство с западной жизнью лучше понять покинутую родину, помогло ли оно мне?

На первых порах именно так мне и казалось. Дистанция сама по себе сулит немалые преимущества, по крайней мере для писателя. Гоголю, чтобы написать «Мертвые Души», понадобилось уехать в Италию. Восхитительная XX глава «Дворянского гнезда», написанная так, словно сам романист летним утром в русской деревенской глуши сидит у окна господского дома вместе с Лаврецким, слышит, как стучит телега, как скрипят ворота, следит за полетом ласточек, — глава эта была привезена Тургеневым из Парижа. Из далека, из прекрасного далека — виднее.

Увидев жизнь, столь отличную от нашей бывшей жизни, я стал иначе смотреть на страну, откуда приехал, она предстала мне призрачной, страшной, в высшей степени своеобразной и по своему чарующей, осветилась каким-то новым светом.

Подобно тому как родной язык начинаешь понимать шире и глубже, когда есть возможность сопоставить его с другими языками, так опыт жизни за границей прибавляет новое понимание жизни на родине, некое дополнительное измерение, которое неизвестно оставшимся там. И это особенно чувствуется, когда через много лет встречаешься со старыми друзьями. Начинает казаться, что у них, оставшихся, как будто нет одного глаза. В самом деле, к взгляду изнутри прибавляется умение видеть страну извне, со стороны.

Но так видит ее посторонний. Становишься посторонним. Меняется вся система акцентов, Незнание множе-

ства актуальных обстоятельств, столь важных для граждан страны, усугубляется сознанием, что они не так уж и важны. Отсюда только один шаг до непонимания сегодняшней жизни России, до утраты того внутреннего, интимного знания, о котором я пытался сказать выше. Люди это, конечно, чувствуют. И, должно быть, думают: «Э, о чем с ним говорить?».

**Тут, конечно, встает вопрос, как отражается это постепенное отчуждение на творчестве писателя. Особая тема, которая, очевидно, выходит за пределы, заданные вашим вопросом. Поэтому я коснусь ее лишь мельком. Один мой старый товарищ, проживающий в Штатах, как и вы, просил своего приятеля в Москве брать с собой, когда тот отправляется в пивной бар, магнитофон записывать речения забулдыг, новый язык народа: этот язык уже не тот, который был так хорошо известен уехавшему писателю. Как и он, я по-прежнему пишу главным образом на русские темы, хотя не числю себя актуальным романистом и народным писателем и думаю, что и в России, останься я там, никогда бы им не был. Тем не менее я легко могу себе представить, что мои сочинения воспринимаются там как нечто не вполне «свое».**

**ДГ:** Если человек пишет, предполагает ли это занятие обязательно того, для кого пишут, читателя? Может быть, художественное произведение — это вещь в себе? Писание — процесс, замкнутый на самом себе? Человек есть «общественное животное», человек генетически запрограммирован быть членом племени, коллектива, вот он и воображает, что он не один, хотя на самом деле он один, как заскорюзлый перст на грязной ступне выдуманного им Бога.

**БХ:** Перст грязной ступни — это производит впечатление... и, наверное, с желто-черным ногтем, как клюв или коготь? Перст — это то, на что надевают перстень. Боже-ство шествует босиком, и на большом пальце ноги — какое-нибудь варварское кольцо-талисман.

Вопрос о читателе кажется риторическим: какой же это писатель, если в его сознании так или иначе не присутствует реципиент.

Вопрос звучит риторически, а ответ в том смысле, что-де чихали мы на всех читателей, покажется позой. Тем не менее рискну возразить: не так это все просто. Можно долгие годы писать без всякой надежды и даже без жела-

ния публиковаться, можно писать и ни одной живой душе не показывать своих сочинений; да, можно сознавать себя писателем и не напечатать ни одной строчки, вообще не нуждаться в публике. После смерти сицилийского князя Томази ди Лампедуза в его письменном столе был найден роман «Леопард». Никому, пока он был жив, не приходило на ум, что это писатель и даже Писатель с большой буквы.

Скажу еще два слова о «грязной ступне». Возможно, несуществование Бога есть всего лишь наше неумение сказать о нем. Вы говорите: если нет Бога, то искусство превращается в забаву, в хобби наподобие собирания марок. Вроде того как один персонаж Достоевского говорит: «Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан».

Нет, литература не только не теряет свое достоинство вне религии, литература в определенном смысле противостоит религии, потому что религия рано или поздно, прямо или косвенно посягает на независимость литературы, хочет превратить литературу в свою епархию. Религия притязает на владение последней истиной, а литература, прежде всего европейский роман, учит (если она вообще чему-либо учит) относиться с недоверием к любому возвещению истины. Так как я хотел сказать лишь два слова, поставим пока что на этом точку.

**ДГ:** Виноват, я бы хотел все же вернуться к своему вопросу. Если творческий процесс важен сам по себе, то читателя — адресата литературы — как бы вовсе не существует. Зачем «творцу» читатель? Если все же между процессом и «продуктом» есть принципиальная разница, — а я именно так и думаю, — если пишут не ради одного лишь удовольствия водить пером по бумаге, а имея в виду результат, тогда предполагаемый читатель, может быть, для чего-то и нужен. Не кажется ли вам, что писатель, который создает нечто без потребности в читателе-партнере, — в лучшем случае эгоцентрик, возомнивший о себе Бог знает что, а если назвать вещи своими именами, — онанист?

**БХ:** Может быть. Может быть, так оно и есть. «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас...», «Ты царь: живи один...» В России, по крайней мере, мало кто мог

понять Пушкина. Писатель, который хвастается тем, что ему нет дела до читателей, — это ведь нонсенс, не правда ли? С другой стороны, сколько «творцов», усердно предлагающих публике продукты своего вдохновения, остаются незамеченными. Каждый издатель может рассказать о тиражах, целиком оставшихся на складе: никто не купил ни одного экземпляра. Для ясности нам следовало бы отделить литературу от литературного дела; и, разумеется, каждый писатель, будь он самым неисправимым эгоцентриком, рано или поздно оказывается вовлечен в литературное дело, прикован к этой нежно позванивающей стальной цепи, на другом конце которой, где-то страшно далеко, маячит мнимый или действительный читатель.

**Прошу прощения за упрямство. Я лишь хотел сказать, что если здравый смысл твердит: литература не существует без потребителей, то с таким же правом можно утверждать: литература не заботится о потребителях. Не в том дело, что творец чересчур возомнил о себе. Просто я думаю, что в природе литературного творчества есть нечто сопротивляющееся внешним соображениям. Мысль о читателе, о том, кому все это нужно и т. п., отскакивает, отбрасывается прочь перед лицом совершенно других забот. Разумеется, писательство как процесс не замкнуто на самом себе в том смысле, что оно представляет собой решение художественной задачи, хотя бы и не формулируемой, а скорее улавливаемой интуитивно. «Здравствуй, брат, писать трудно», — приветствовали друг друга Серапионы. Трудно решить задачу. Но решение и есть цель писательства.**

**ДГ:** Говорят, человек есть то, что он ест. Наша духовная пища — книги. По крайней мере, так было для вашего поколения и даже для моего. Ныне печатное слово сдает свои позиции с каждым днем, и я лично считаю это явление закономерным и оправданным. Так вот, пока книга окончательно не захирела, выдайте мне, пожалуйста, ваш рекомендательный список для чтения. Классиков — Данте, Шекспира, Сервантеса и т. д. — можно опустить, мы все их читали. Речь идет о находках, о произведениях, которыми вы наслаждались, о писателях, сыгравших особенную роль в вашей жизни. Мотивируйте ваш выбор, сошлитесь, если необходимо, на ваше мировоззрение.

**БХ:** «Nutrimentum spiritus» было когда-то начертано над входом в Королевскую Прусскую библиотеку в Берлине — «пропитание духа». В иные дни моей жизни книга, которой вы с такой уверенностью предсказываете близкий конец — эти пророчества мы уже слышали! — была для меня даже чем-то большим, нежели духовной пищей. Зимой пятьдесят первого года, если не ошибаюсь, когда гнали в очередной раз с одного лагпункта на другой, я пер по снегу долгие километры с чемоданом книг на плече, это было все мое имущество. Книга была живой водой, сладкой отравой, напитком забвения. Хорошо это или плохо? Не могу судить.

Составить регулярный список я, конечно, не в силах. В разное время жизни были разные увлечения. Книги меняются вместе с нами и не всегда к лучшему. Переиздание, новый шрифт могут погубить книгу, извратить ее содержание. Вроде того как у женщины, остриженной на новый лад, вдруг куда-то девается вся прелесть и даже ум. «Фауст» теряет половину своего мистического очарования, напечатанный латиницей вместо фразы — готического шрифта.

Вот вам, кстати, номер один: книга, с которой прошла вся жизнь. Удивительно, что тот же самый томик «Фауста», который у меня был в юности, пережил со мною вместе все передраги и лежит на полке как ни в чем не бывало. Это была одна их трофейных книг, которые в огромном количестве продавались в букинистических магазинах в первые годы после войны, теперь она вернулась в Германию — поистине книги имеют свою судьбу! Pardon, я отвлекся. Вы предлагаете опустить классиков. Странное требование. Оно может исходить только от того, кому испортила классиков средняя школа. Но мне повезло, я читал русских писателей и критиков XIX века до того, как их начали мусолить в школе. И я любил русскую литературу так, как, наверное, только еврейский подросток может ее любить. Назову только два имени, очень разных: Лермонтов и Герцен.

Тут, конечно, сразу возникает Пушкин. Но Пушкина разгадываешь всю жизнь. Я хорошо помню, как в 13 лет, в

самом начале войны, прочитав «Евгения Онегина», я принял за поэму в этом же роде. В то время я был весьма плодовитым писателем, автором прозы, стихов, критических статей, ученых трудов и многого другого, и обычно, прочитав что-нибудь этакое, тотчас брался за перо, чтобы сочинить нечто не уступающее образцу. Зато проза Пушкина не произвела на меня большого впечатления, на такие жемчужины, как «Пиковая Дама», «Египетские ночи» или коротенький отрывок «Цезарь путешествовал», я вообще не обратил внимания. «Повести Белкина» — шедевр стиля и композиции — показались малозначительными анекдотцами.

Пушкина постигаешь всю жизнь, как вообще постигают литературу, потому что Пушкин сам — литература, редчайший пример сверхписателя: поэзия, проза, драматургия, фольклор, историография, литературная критика, борьба школ, смена эпох, смена стилей — целая словесность в одном лице. Эта литература противостоит послепушкинской русской литературе, противостоит Гоголю, Толстому и особенно Достоевскому, о котором можно сказать, что он отменил Пушкина.

Достоевский сейчас, вероятно, самый читаемый русский классик или, по крайней мере, охотней всего интерпретируемый, что вряд ли пошло ему на пользу. Потому что для тех, у кого это имя не сходит с уст в России, это уже не писатель, а пророк, и романы его — не художественная проза, а некое вещание. Могу ли я назвать его в числе любимых? В юности, когда я читал Достоевского (между прочим, «Братьев Карамазовых», как ни странно, — в тюрьме), каждая книга была как инфекционное заболевание. Сейчас я выделил бы один роман, величайшую книгу XIX века: «Бесы», И, конечно, не за то, что это — предостережение против революции и т.п.

То, что я ценю превыше всего — дисциплина, гармония, благородная сдержанность, аристократическая дистанция, — одним словом, стиль, — в русской литературе во второй раз после Пушкина воплотилось в Чехове. Чехов — это, знаете ли, самая нежная любовь с отрочества до последнего дня. И я даже не знаю, какие вещи назвать в

первую очередь: «Дом с мезонином», «Жена», «Рассказ неизвестного человека», «Каштанка», «Попрыгунья», «Скучная история»... Или, может быть: «Черный монах», «Припадок», «Дама с собачкой»? «Чайка» — любимейшая из пьес, только поставить ее почти невозможно.

Я должен непременно назвать Флобера, этого святого покровителя всех писателей. Прежде всего, «Госпожу Бовари», хотя редко какая книга доставляла и доставляет такое наслаждение, редко какая книга учит так, как его Переписка. Если бы я был профессором литературы и принимал вступительные экзамены в какой-нибудь там литературный институт, я бы первым делом задавал вопрос: читал Переписку Флобера? Не читал? Тогда приходи в следующем году. Назвав Флобера, придется упомянуть и его духовного (а может быть, и телесного) сына Мопассана, которому я, как мне кажется, подражал, когда делал первые шаги.

Наконец, перекочевав в наш век, не забудем Томаса Манна, Франца Кафку, Роберта Музиля и Хорхе Борхеса. Чтобы объяснить, почему «Доктор Фаустус» так важен для меня, почему он так много говорит не только уму, но и «сердцу», понадобилась бы целая особая диатриба о германском мире. О романтизме, Новалисе, Шопенгауэре, Вагнере, Ницше. Кстати, в бытность свою медицинским студентом я весьма увлекался и таким предметом, как сифилис. У Музиля я бы выделил, между прочим, цикл новелл «Три женщины» — лучше, чем они написаны, никто, и не только по-немецки, никогда не писал. Борхеса я не могу читать в подлиннике, но предполагаю, что он переведен как следует. Это писатель изумительной красоты, таинственного лаконизма, изобретательности, такта и какого-то тайного лиризма.

Вы заметили, что я не включил в «список поэтов» Пушкина, Горация, Гете, Гейне, Некрасова, Тютчева, Рэмбо, Целана, Блока, Ахматову, Ходасевича, Багрицкого, Мандельштама. Боюсь ляпнуть о них какую-нибудь глупость — я их слишком люблю.

**ДГ:** Но я же спрашивал о «неклассиках», о «находках», а вы мне — Пушкин, Флобер... Неужели у вас не найдется

в заглавнике писателей великих, истинно великих, но таких, о которых знает не каждый? Нина Берберова как-то сказала мне, что у нее слишком мало времени, чтобы читать второстепенных писателей... Может быть, то, что вы вспомнили одних только классиков, говорит не только о ваших личных пристрастиях — это какой-то общий симптом. Русские литераторы, даже весьма эрудированные, вроде вас, напоминают мне русский балет: классический танец на высоте, а вот насчет того, чтобы шагать в ногу со временем, — дело швах. Вы все, как мухи, увязшие в меду, и в этом отказе гнаться за новшествами, собственно, и состоит ваш вклад в мировую культуру. Вспомним touchstones (пробные камни искусства) английского поэта и критика Мэтью Арнолда: это своего рода неоклассицизм. Вот и получается, что на исходе этого «жалкого, прекрасного века» русская литература выглядит совсем не так, как в начале века, когда русские формалисты видели в искусстве революционный процесс, а не топтание на одном месте.

**БХ:** Замечательно: узнаю американца. Для него все, что было, создано раньше, чем пятьдесят лет назад, старо и неинтересно. Хотя, между прочим, Мэтью Арнолд — это ведь тоже викторианское время. А я вот вам процитирую Толстого (эти слова приводит в одной статье мой учитель Бен Сарнов, которого, кстати сказать, я сам упрекал примерно в том же, в чем вы укоряете меня, — в старомодности):

«Я не понимаю и не люблю, когда придают какое-то особенное значение «теперешнему времени». Я живу в вечности, и поэтому рассматривать все я должен с точки зрения вечности. И в этом сущность всякого искусства. Поэт только потому поэт, что пишет в вечности».

Что русская литература, начиная с тридцатых годов, стала стремительно терять свой новаторский разбег, — об этом спорить не приходится. Вы упомянули о формальной школе. Признаться, я никогда не питал большого интереса к этим теоретикам и никогда не находился под их влиянием, хотя понимаю, что ОПОЯЗ стоял у истоков огромного движения. Увлечение авангардом 10-х и 20-х годов, обериутами и т.п. моей душе тоже ничего не говорит; какой-нибудь последователь Тынянова наверняка зачислил бы

меня по разряду архаистов. И все же, как мне кажется, я не такой уж консерватор. Угасание новаторского импульса (ведь литература социалистического реализма, притязавшая и на революционность, и на новизну, была на самом деле ультрареакционной) означало отторгнутость от европейского литературного процесса и впадение в самый затхлый провинциализм. Это и было худшим злом. Олеша (которого называли королем метафоры) говорил в речи на одном литературном собрании — вы, наверное, помните эти слова — примерно следующее: «Товарищи, я читал Джойса. И вот, представьте себе, Джойс называет сыр «трупом молока». Нет, нам такая литература не нужна».

Я думаю, что последствия инкапсуляции ощутимы до сих пор. В этом смысле вы правы: музейный балет — это какой-то символ общей стагнации искусства.

Отчего, перечисляя любимцев, я назвал одних классиков и этим навлек на себя ваш гнев? Оттого, что память носит подчас характер одержимости. Оттого, что строфы Горация для меня не антиквариат, а живая литература. Оттого, что — извините за этот пафос — я привык дышать воздухом высот.

Но не думайте, что я, как герой одного полузабытого романа Гюисманса, сижу безвылазно в своей берлоге, упиваюсь изысканными ароматами и читаю одних античных авторов эпохи упадка. Само собой, то, что вы называете находками, теперь случается не так часто, как бывало когда-то... Все же я могу назвать несколько книг. Некоторые из них, правда, не такие уж новые и принадлежат не вовсе безвестным авторам, но все-таки.

Два года назад на ярмарке во Франкфурте одна журналистка вручила мне только что вышедший немецкий перевод романа 45-летнего испанца Хавьера Мариаса «Сердца моего белизна» (Mein Herz so weiß). Это название — цитата из «Макбета»:

**My hands are of your colour; but I shame  
To wear a heart so white.**

Чтобы дать вам представление (на случай, если вы не читали), как написана эта книга, попробую перевести начало:

«Я не хотел об этом знать и все же узнал, что одна из девушек, когда она уже не была девушкой, вскоре после возвращения из свадебного путешествия, вошла в ванную, стоя перед зеркалом, расстегнула блузку, сняла бюстгальтер и отыскала сердце дулом пистолета, который принадлежал ее отцу, сидевшему в это время с домочадцами и тремя гостями в столовой. Когда грянул выстрел — это было минут через пять после того, как она вышла из-за стола, — отец вскочил не сразу, а засстыл на несколько секунд с полным ртом, словно парализованный, и не мог ни жевать, ни проглотить пищу, ни даже выплюнуть на тарелку; и когда он, наконец, поднялся и помчался в ванную, то те, кто за ним бежал, увидели, как он открыл дверь и поднял руки к голове при виде окровавленного тела дочери, при этом он все еще ворочал во рту кусок мяса, не зная, куда его деть. В руке он держал салфетку и уронил ее лишь тогда, когда через некоторое время заметил брошенный на биде бюстгальтер, прикрыл его платком, который оказался у него в руках или уже был в руках, со следами от его губ, как будто вид интимной части туалета был для него мучительней, чем вид лежащего на полу полуобнаженного тела, которого только что касался бюстгальтер: тела, сидевшего за столом, выходявшего в коридор, тела, стоявшего здесь. Но сперва отец машинально завернул кран ванной, холодный кран, из которого лилась под сильным напором вода. Дочь плакала, пока стояла перед зеркалом, пока расстегивала блузку, снимала бюстгальтер и искала сердце, ибо она лежала на холодном полу большой ванной комнаты со слезами в глазах, этих слез не видели у нее во время обеда, и они не могли выступить после того, как она повалилась безжизненно на пол».

Я вынужден остановиться, магия этого повествования действует, как наркотик, хотя это всего лишь перевод с перевода. Читая этот роман, как читает обыкновенный читатель, то есть увлекаясь захватывающим сюжетом, «обалделой трянешь головой» и вдруг видишь, как искусно он написан. Монотонно-завораживающий, почти стучащий ритм, кажущееся бесстрашие, кажущаяся неподвижность несущегося поезда. Абсурдный юмор, глубокая горечь жизни, время, качающееся, как челнок, время, как мертвая зыбь: туда-сюда; единый повествователь, а вместе с тем то и дело смена точек зрения — иногда оно кажется почти механическим, неживым, словно зрение видеокамеры, иногда вы видите как бы замедленную съемку; нелепо-случайное,

на первый взгляд, нагромождение происшествий и все же не случайное, которое в конце концов создает тягостное ощущение неизбежности, ощущение судьбы. Такой роман мог создать только писатель двадцатого века.

Один немецкий кинорежиссер, поставивший два фильма по произведениям израильского писателя Авраама Иегошуа, принес как-то раз сборник его повестей; одна из них, «Перед лицом лесов», о студенте, который потерял интерес к жизни, нанялся сторожем на пожарной вышке, не может найти общего языка с арабами — стариком и внучкой, что-то вокруг происходит, приезжает военный следователь, ни в чем не повинных людей увозят, и все кончается грандиозным лесным пожаром, вероятно, следствием поджога; другая, которая понравилась мне еще больше, называется «Затянувшееся молчание поэта» — о человеке, который в молодости писал стихи, овдовел, давно оставил поэзию, работает в газете и воспитывает сына, умственно отсталого ребенка, как считают окружающие, хотя отец называет его «пограничным случаем»; время идет, странный мальчик превращается в подростка, отец стареет, роли меняются, теперь уже не отец ухаживает за сыном, а сын заботится об отце; узнав случайно в школе, что его отец — известный поэт, он, как одержимый, предпринимает все, чтобы побудить отца снова писать. Суховатая, трезвая и пронзительно человеческая проза, с какими-то дальними отсветами Ветхого Завета.

**Сюда же надо отнести Бруно Шульца. Теперь Бруно Шульц стал известен и в нашем отечестве, но, если не ошибаюсь, я был первым, кто перевел (для радиопередачи на Россию) в качестве *Kostprobe* небольшой фрагмент из одной его новеллы, правда, это был опять-таки перевод с перевода. Немного позже появились переводы Асара Эппеля, на этот раз с польского оригинала, они мне не понравились; мне показалось, что в них есть привкус вульгарного говорка, который затопил русскую прозу. Вот кто был для меня подлинным открытием: Бруно Шульц, застреленный в 1942 году каким-то эсэсовцем на улице среди бела дня в городе Дрогобыче. Сохранились замечательные рисунки (в Мюнхене была однажды устроена выставка) и сборник рассказов; другие произведения Шульца погибли. Его сравнивали с Кафкой, но буднично-деловой слог Кафки имеет мало общего с барочным стилем Шульца.**

Ну-с, к числу необыкновенных находок, правда, уже далеко не новых, вне всякого сомнения нужно отнести Фридриха Горенштейна, но вы о нем подробно пишете в вашей последней книге «Russia Abroad», и поэтому не стоит распространяться. Могу только похвалиться, что я опять же был первым, кто написал о нем. Горенштейн насочинял немало ерунды. Вместе с тем он, может быть, самый крупный из ныне живущих русских прозаиков.

Я не хотел говорить о поэтах, поэтому умолчу о Бродском (чья проза, по-моему, уступает его великой поэзии; впрочем, поэтам вообще редко удается удержаться в прозе на достигнутой высоте). Все же упомяну поэта и эссеиста Ольгу Седакову; ей 50 лет, она живет в Москве. Вот стихи о бабушке:

**Пойдем, пойдем, моя радость,  
пойдем с тобой по нашему саду,  
поглядим, что сделалось на свете!  
Подай ты мне, голубчик, руку,  
принеси мою старую клюшку.  
Пойдем, а то лето проходит.  
Ничего, что я лежу в могиле, —  
чего человек не забудет!  
Из сада видно мелкую реку,  
в реке видно каждую рыбу.**

**ДГ:** Прежде чем продолжить разговор, хочу дополнить мой предыдущий вопрос. Напомню вам, чтобы не быть голословным в своих утверждениях, об американском эссеисте Лорене Айзли. Русский переводчик Дмитрий Брецинский однажды послал вам по моему предложению тексты Айзли; вы остались к ним равнодушны. Я считаю Лорена Айзли великим писателем, и мое мнение разделяют многие. Его эссе — вещи универсальной ценности. Ваше отношение к Айзли меня поразило, а Брецинского совершенно убило. Он мне звонил и горько жаловался на отсутствие отклика на сборник Айзли в России, на индифферентность широкой публики к духовным ценностям вообще. Если даже вы не оценили Айзли (а Брецинский, между прочим, ваш почитатель), то что же сказать о других. Скажу откровенно: тут для меня как-то вдруг открылась в вас непонятная для меня философская и художественная нечуткость, а то и черствость. Может быть, даже какое-то помрачение ума.

**БХ:** Если я вас правильно понял, вы хотите сказать: вот типичный пример консерватизма русских. Что ж, коли так получилось, весьма сожалею. И на старуху бывает проруха; подобные случаи бывали даже с великими людьми. Например, Андре Жид, будучи основателем и главой *Nouvelle Revue Francaise*, обошел вниманием рукопись Пруста.

Вы правы: эссеистика Айзли, к сожалению, не произвела на меня большого впечатления.

**ДГ:** В «Литературной газете» (№ 5563) появился ваш диалог с Григорием Померанцем, который говорит, что произведения, написанные вами в послелагерные годы, «патетичны», а потом «огонь стал гаснуть», и вы стали «западным писателем, пишущим по-русски». А ведь почти то же самое сказано в советской Краткой литературной энциклопедии о Набокове. Признайтесь: вряд ли кому придет в голову сказать нечто подобное, допустим, об Александре Солженицыне.

Я бы даже расширил вопрос. Существуют ли вообще обособленные национальные традиции? Но не будем растекаться мыслью по древу, ограничимся Россией. Может быть, «русскость» — это истерическая патетика а la Dostoevsky? А у вас — нерусский *bon ton* (ваше выражение).

**БХ:** Мне непонятно, как можно вообще всерьез обсуждать «этнический» критерий принадлежности писателя к той или другой литературе. Вы споткнулись на эфиопском прадедушке Пушкина и шотландских предках Лермонтова (которых было бы недостаточно даже для национально-этнической идентификации), но таких примеров сколько угодно и в других литературах, и эти примеры точно так же ничего не решают. Сенека был выходцем из Испании, Апулей — африканцем, Авзоний — галлом, вообще чуть ли все корифеи поздней поры не были в собственном смысле римлянами, но они были римскими писателями. Можете ли вы представить себе английскую литературу без поляка Конрада, французскую без еврея Пруста? Но вы со мной, очевидно, согласны. Я полагаю, что язык — решающий и даже единственный критерий; язык, в котором писатель живет, который не инструмент, а плоть

литературы. Так что мой старый друг Гриша Померанц, или вы, или кто угодно можете тысячу раз отлучать меня от русской литературы, я останусь тем, кем я был, — русским писателем.

Но, как я понимаю, этим ответ не может быть исчерпан. «Диалог» в газете был составлен Г. Померанцем по его инициативе из фрагментов нашей переписки и отчасти повторяет упреки, которые он предъявлял мне в других посланиях. Суть их сводилась к тому, что «раньше» (он имел в виду мою повесть «Час короля» и маленький роман «Я Воскресение и Жизнь») в моем творчестве присутствовал высокий религиозно окрашенный идеал, а теперь все разъедено иронией и скепсисом. Раньше я был более или менее достойным продолжателем русской традиции поисков добра и правды, а теперь проникся западным духом безверия и аморализма. Я утратил вертикальное измерение, изменил ценностям; я постмодернист — слово, значение, которого не уточняется, но которое в устах Померанца имеет строго отрицательный смысл: синоним безответственности; литература для меня не служение, а игра. Причина, по-видимому, в том, что я покинул Россию и зажил сытой западной жизнью.

Согласитесь, что во всем этом есть известный резон. Вместе с тем в этой инвективе (которую я пытался воспроизвести кратко, но по возможности точно) мне слышится что-то очень не новое, рутинное, заезженное, если хотите, что-то в самом деле очень российское. Привычка судить о западной культуре *en bloc*, чохом; неистребимая уверенность в том, что этот Запад морально ниже России; литературная критика, которая сводится к интерпретациям, заменена интерпретациями и насквозь идеологизирована; вечное битье челом перед иконами; Достоевский — альфа и омега всех представлений о литературе и так далее.

Вот я сейчас вышел на улицу — большая липа перед нашим домом цветет и пахнет, как сумасшедшая. Точно так же пахли липы за оградой чехословацкого посольства в переулке моего детства. Как давно это было. И я сразу вспомнил всю тогдашнюю Москву. Я уже не москвич. Как

профессор Филипп Филиппович в «Собачем сердце», я еще могу сказать о себе: я, милостивый государь, московский студент. Но я больше не москвич, я не чувствую себя дома в этом городе. Вот так же обстоит дело и с русской литературой.

Если иметь в виду «ту» Москву, если подразумевать ту истинно-русскую словесность, которую имеете в виду вы и, очевидно, имел в виду Померанц, тогда я в самом деле нерусский писатель, выбился из колеи и лишь по старой привычке продолжаю писать по-русски. Ориентация на классиков русского реализма девятнадцатого века, моральный пафос, уверенность в том, что писатель владеет последней истиной, возвешение этой истины, более или менее узнаваемая религиозность и вера в высшую справедливость, апелляция к простому человеку, к корням и началам. Если считать этот литературный букет определяющим для русской традиции, если именно эту традицию иметь в виду, получится то, что Набоков назвал «Толстовский». Как всякий, кто вскормлен русской литературой, я ее глубоко чту. Сам я к ней не принадлежу.

Может быть, то, что я скажу, в самом деле мало характерно или даже вовсе не характерно для русской литературы, в том числе и современной. Будь я литературным критиком, обозревающим творчество писателя Б. Хазанова, я, быть может, даже решился бы утверждать, что этот автор предпринял малоудачную попытку перебросить мост между отечественной и западноевропейской литературой. Но мало ли было таких попыток? Вы усомнились мимоходом в существовании отдельных, обособленных национальных традиций. Эти традиции, бесспорно, существуют. Имеют ли они будущее в нашем мире, другой вопрос.

Критика Г. Померанца — это критика человека, усвоившего инструментальное отношение к литературе, по отношению к человеку, для которого литература — сама себе смысл и оправдание. Это не значит, что литература для такого писателя глуха к добру и злу. Критика Померанца есть идеологическая критика моей эстетики. Эта эстетика запрещает прямое слово. Потому что прямое слово всегда несет заряд авторитарности. Литература — враг авто-

ритарности; единственный дискурс, который способен преодолеть авторитарность, единственное прибежище свободы. Русская литература по традиции авторитарна.

Отказ от прямого слова означает не только отказ от сознательного стремления убедить читателя в правильности тех или иных истин. Он означает смиренное признание, что мы не владеем истиной. Поэтому литература (можете называть это традицией), к которой я принадлежу, не занимается реконструкцией «подлинной» действительности. Она попросту не верит в эту действительность. Та действительность, в которую она верит, есть всего лишь действительность версий. Это литература версий, гипотез и возможностей.



П О Б Е Г

Произошло это задолго до моей эмиграции, в той еще жизни, когда я работал заведующим отделом информации «Литературки». Однажды в отдел пришел главный редактор газеты Александр Борисович Чаковский и строго-настрого велел, чтобы никто из нас раньше одиннадцати домой не уходил — ожидается сверхважный и сверхсекретный материал об одном чрезвычайном происшествии в писательской жизни. В отдел без конца заглядывали любопытные сотрудники — что, спрашивали, пришло или все еще не пришло? Материал появился уже в районе полуночи, в запечатанном сургучном пакете с надписью «Совершенно секретно» — это была полная ярости статья Бориса Полевого о побеге из СССР Анатолия Кузнецова. Не было таких бранных слов, которых не употреблял Полевой, клеймя изменника и «выродка» в нашей писательской семье. Я читал, а стоявший подле меня горбун и подхалим Леня Чернецкий комментировал. Да неправда все это — никакого Анатолия Кузнецова в природе более не существует, а существует господин Анатолий, который только что выступил по Британскому радио. Так началась компания, а которой с массой интересных подробностей пишет в предлагаемых читателю мемуарах поэт Владимир Батшев.

Самого Анатолия Кузнецова я увидел гораздо позже, уже когда порвал с прошлым и, (кажется, это было в 1974 году) приехал в Лондон, тотчас отправившись в Лондонское отделение радио «Свобода». Встретил меня мой старинный приятель, один из первых послевоенных перебежчиков, а теперь заведующий лондонским отделением «Свободы» Леня Финкельштейн. Пока мы разговаривали, из студии доносился чей-то чистый и великолепно поставленный голос. Выступавший, как мне помнится, говорил о двух системах, сравнивал две демократии Английскую и Советскую, что та и другая значит для «человека с улицы», гражданина.

Через минут двадцать из студии вышел невысокий и подслеповатый в очках человек и, подав мне руку, представился: Анатолий Кузнецов. Пока Финкельштейн рассказывал о своих последних днях перед побегом Кузнецов молчал, погруженный в свои, кажется, не слишком веселые мысли. А когда Леня кончил, как-то невесело улыбнулся и сказал: «И как ты Леня все это помнишь? Я, например, все забыл. Раньше еще сны снились, а теперь и сны не снятся». Видно, тяжело давалась ему жизнь без России, с которой он так решительно и мужественно порвал. Об этом разрыве, который всколыхнул весь мир, и пойдет рассказ в предлагаемой читателям публикации.

В.П.



Владимир БАТШЕВ

## ДЕЛО АНАТОЛИЯ КУЗНЕЦОВА

*Воспоминания. Документы. Признания А. Кузнецова*

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В феврале 1969 я вместе со своей тогдашней спутницей жизни Ликой арендовал раскладушку на кухне.

Кухня находилась в однокомнатной квартире недалеко от кинотеатра «Восток» возле ВДНХ в Москве.

Принадлежала она будущему букеровскому лауреату Александру Морозову.

Сам будущий лауреат писал продолжение ныне премированной книги (30 лет понадобилось автору, чтобы увидеть свой роман опубликованным).

В рукописи действовали две сестры, одна из которых умирала, а вторая, чтобы не лишиться пенсии, скрывала ее смерть, а усохший труп покойницы превращался в мумию, которая лежала на полке книжного шкафа.

Чернуха очень нравилось.

Вообще, ныне известные, благодаря Букеру «Чужие письма», тогда назывались проще и доходчивее «Сестры Карамазовы».

Это — мне лично — не казалось оригинальным. Потому что у Валерия Яковлевича Тарсиса, первого человека, лишённого в 60-х годах советского гражданства за свою литературную деятельность, был роман под названием «Мои братья Карамазовы».

Да и Достоевский не мой герой со всеми его мифическими «таинственными русскими душами».

Но не будем отвлекаться.

Итак, пришел Саша Морозов с работы. Кажется, он еще служил в каком-то издательстве — то ли в «Искусстве», то ли в «Молодой гвардии», пока его не вышибли за вольномыслие, то бишь «подписанство» — модную болезнь среди тогдашних либеральных интеллигентов.

Дай Бог, если двадцатая часть из болевших ею, стали действительными противниками режима.

Морозова среди них не было Он поболел, выздоровел и пошел своей дорогой.

Итак, Александр Морозов пришел домой и спросил меня:

— А давно ли ты, Володя, общался с советскими писателями?

На что я откровенно ответил:

— Давно, — и посмотрел выразительно.

Но будущий лауреат сел напротив и продолжил.

— Нет, знаешь, наткнулся я вчера на странного писателя... Был я в мастерской скульпторов Лемпорта и Силиса, твоих приятелей, они тебе кланялись, и там оказался советский писатель Анатолий Кузнецов. Ну, тот, что «Бабий Яр» написал...

— И «Продолжение легенды», — с иронической усмешкой добавил я.

— И «Продолжение легенды», — согласился Морозов, не реагируя на мой выпад.

— И что?

— А то. Мы разговорились, я ему про тебя рассказал, про СМОГ, он очень заинтересовался. Расспрашивал, задумывался... Что-то говорил, обещал, сейчас не помню...

Я махнул рукой, но подруга тогдашних суровых дней предложила:

— А что? А вдруг? Может, он поможет тебе опубликоваться?

Я не поверил — мне никто не мог тогда помочь опубликоваться: имя мое уже три года находилось в цензурных списках, меньше года назад я вернулся из сибирской ссылки...

— Позвони ему, мужик, кажется, неплохой, — посоветовал Морозов.

Я вздохнул и, полный скепсиса, позвонил Лемпорту.

Тот подтвердил вчерашний разговор и добавил, что Кузнецов живет в Туле, а в Москву приехал по делам и будет неделю-другую обитать в гостинице «Минск».

Я позвонил и назвался.

— А... Да, помню, — подтвердил голос на другом конце провода. — Приезжайте.

— Когда? — осмелел я.

— Да хоть сейчас!

Я повесил трубку, кивнул Лике, и мы поехали.

**В четверг 24 июля 1969 года на лондонском аэродроме приземлился самолет Аэрофлота «Ильюшин-62». Среди пассажиров из него вышло двое: советский писатель Анатолий Кузнецов и англичанин Джеральд Брук. Этого последнего и поджидала армия английских журналистов и фоторепортеров.**

**В 1965 году Джеральд Брук был арестован в Москве при передаче советскому гражданину «антисоветской литературы», как сказано в обвинительном заключении. Обвиненный в связях с НТС (по чьему поручению он действовал) Брук был осужден и пробыл несколько лет в политическом лагере в Мордовии. В 1969 году его обменяли на советских шпионов супругов Крогеров (настоящее имя — Козн).**

**Выходя из самолета, Брук сказал Кузнецову: «Эта встреча не для меня, а для вас, Анатолий!» Он ошибся, но слова его оказались пророческими. Через несколько дней сенсацию обретшего свободу Брука перекрыла сенсация выбравшего свободу Кузнецова.**

**В понедельник 28 июля Анатолий Кузнецов вместе со своим переводчиком и охранником «профессором» МГУ Георгием Анджапаридзе в раннее послеобеденное время пошли посмотреть «стриптиз» в лондонском увеселительном квартале Сохо. После этого Кузнецов предложил своему спутнику временно разойтись, чтобы найти «де-**

вочек». Анджапаридзе, не подозревавшему об истинных намерениях Кузнецова и не знавшему о том, что у того в пиджаке защиты десятки метров микрофильмов его не изданных в СССР или искалеченных цензурой произведений. Предложение показалось заманчивым и безопасным (все вещи Кузнецова оставались в отеле, к тому же он не знал ни слова по-английски!).

Неизвестно, что дальше делал Анджапаридзе, а Кузнецов прямым ходом направился в редакцию газеты «Дейли телеграф», в которой (как это знал Кузнецов по своему прошлому визиту в Англию) есть сотрудник, говорящий по-русски. Из «Дейли Телеграф» он и был отправлен на такси к этому сотруднику — Дэвиду Флойд, которому прямо сказал: «Я хочу остаться в Англии».

Во вторник, узнавшее об исчезновении Кузнецова советское посольство обратилось к английской полиции с просьбой разыскать пропавшего советского писателя Кузнецова, который мог стать жертвой уличной катастрофы из-за своей крайней близорукости. Но Кузнецов уже связался с английскими властями и вскоре получил от них право на бессрочное пребывание в Англии (а не политическое убежище, о котором Кузнецов не просил!).

Когда об этом стало известно прессе, советское посольство в Лондоне потребовало встречи, от которой Кузнецов категорически отказался. Вместо этого и вместо той работы, для которой официально он приехал на две недели в Англию, (написание юбилейного очерка о пребывании Лейна в Лондоне) он подготовил и передал прессе ряд текстов, которые нами публикуются ниже.

## Комментарии зарубежной прессы

Бегство писателя Анатолия Кузнецова особенно неприятно для коммунистических властей в России, поскольку ему предшествовала следующая история. Весной этого года по Москве пошли слухи, что в составе редакции журнала «Юность» ожидаются большие перемены: оттуда должны «вылететь», по крайней мере, поэт Евгений Евтушенко и писатель Василий Аксенов. Но на соответствующие запросы иностранных корреспондентов из редакции упорно отвечали, что это — «ложные измышления».

Однако 21 июля поступил в продажу очередной, июльский номер журнала, и там, действительно, значился новый состав редакционной коллегии, где отсутствовали писатель Василий Аксенов, поэт Евгений Евтушенко, драматург Виктор Розов, а также малоизвестный Е. Вишняков на придачу. Взамен были введены четыре новых литератора: попу-

лярный писатель-прозаик Анатолий Кузнецов, потом детский писатель А. Алексин, балкарский поэт К. Кулиев и писатель В. Амлинский, которого характеризуют как «модерниста по форме и догматика по содержанию».

Назначение Анатолия Кузнецова вызвало удивление в столице: он числился скорее среди умеренно «либеральных» писателей из молодого поколения, с широким диапазоном творческих поисков, и еще совсем недавно, в начале июля, московская областная газета «Ленинское знамя» резко раскритиковала его последний роман «Огонь» (в «Юности» — 3-4 за 1969).

Теперь писатель остался за границей, чтобы получить, наконец, возможность писать свободно и полностью раскрыть свое творческое дарование. Он получил командировку для изучения эмигрантской жизни Ленина в Англии — и сам решил остаться там в качестве эмигранта. Это привело в полное замешательство чиновников режима КПСС и вызвало сенсацию в литературных кругах нашей страны. Власти молчат, а москвичи острят: «Пошел ленинским путем — в эмиграцию!»...

## ЗАЯВЛЕНИЯ АНАТОЛИЯ КУЗНЕЦОВА

### ОБРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ

Вы скажете, что все-таки трудно понять: почему писатель, имеющий на родине миллионные издания, популярность, хорошие деньги, вдруг не хочет возвращаться в свою страну, которую к тому же любит...

## Потеря надежды

Я больше не могу там жить. Это оказалось сильнее меня. Именно больше не могу. Если мне сейчас снова оказаться в СССР, я там сойду с ума.

Не будь я писатель, может, выдержал бы. Но как писатель — не могу. Писать — это единственное занятие на свете, которое серьезно мне нравится. Когда я пишу, у меня иллюзия, будто в моей жизни даже есть какой-то смысл. Не писать — это для меня примерно то же, что для рыбы не плавать. Пишу, сколько себя помню. Печатаюсь 25 лет.

За эти 25 лет ни одно мое произведение не было напечатано в СССР так, как я его написал.

Советская цензура и редакторы из политических соображений сокращают, искажают, уродуют мои произведения до полной неузнаваемости. Или вообще не разрешают печатать.

Пока я был молод, — на что-то надеялся. Каждая новая публикация для меня — не праздник, а черный день. Потому что мое произведение появляется в свет каким-то уродливым, лживым, исковерканным, и мне стыдно смотреть людям в глаза. В СССР написать хорошую книгу — это еще самое простое. Главное мучение начинается потом, когда вы захотите ее напечатать.

Последние 10 лет я живу в непрерывном, безысходном, беспросветном противоречии. Опустились руки. Последний роман «Огонь» я писал с душой окаменевшей, без веры, без надежды. Я уже уверенно наперед знал, что даже если его и напечатают, то все человеческое беспощадно вырежут, в лучшем случае будет опубликована еще одна «идейная» мерзость (так и вышло, между прочим).

Я дошел до точки, когда больше писать не могу, спать не могу, дышать не могу...

## Трагедия русских писателей

**В** литературе ценно то, что ново, что несет в себе художественное открытие. Писатель — прежде всего художник, пытающийся проникнуть в нечто неизведанное. Он должен быть честным, объективным и творить свободно. Это все — аксиомы.

Так вот именно эти вещи писателю в СССР запрещены.

Свобода творчества в СССР сведена к «свободе» славить советскую власть, партию и призывать к коммунизму. Теоретическое обоснование — шестидесятилетней давности статья Ленина «Партийная организация и партийная литература», в соответствии с которой писатель — это партийный пропагандист. Он должен получать от партии лозунги, указания — и пропагандировать их.

Таким образом писатель в СССР поставлен перед выбором:

а) Подчиниться этому идиотизму. Спрятать мысли и совесть в карман. Если правит Сталин, — славить Сталина. Велят сажать кукурузу, — пиши о кукурузе. Разобла-

чают Сталина, — разоблачай. Перестали разоблачать, — перестань.

Много, много советских «писателей» именно таковы. Но жизнь не прощает насилия над совестью. Все они настолько циники и духовные уроды, а подспудная тоска по загубленному таланту так их корежит, что подлое существование их — не жизнь а скорее карикатура на жизнь. Пожалуй, трудно придумать самому себе худшее наказание: всю жизнь дрожать, юлить, жадно ловить указания, бояться ошибиться. О Боже!..

б) Писать по-настоящему, как велят талант и совесть.

Тогда сто против одного, что это не будет опубликовано. Это будет погребено. Может послужить причиной физической гибели.

Печально думать: на этот счет в России — давние и прочные «традиции». Лучших русских писателей всегда травили, судили, убивали, доводили до самоубийства.

в) Попытаться творить «сколько возможно» честно. На неопасные темы. Иносказательно, находить щели в цензуре. Пускать свои произведения по рукам в рукописях (но не антисоветские, иначе арестуют!). Делать хоть что-нибудь! Этаким полувыход.

Я был среди тех, кто выбрал этот третий путь. Но мне не повезло. Цензура меня ставила на колени всегда. Отчаянное желание спасти хоть что-нибудь в своем творении, чтобы оно дошло до людей, привело лишь к тому, что все мои опубликованные произведения — это и не литература, и не подлость, а черт знает что. Какой-то немислимый плод сделки цензуры с авторской совестью.

Сколько я кричал, пытался что-то доказывать, но это все равно, что биться головой о стену. Литературой в СССР командуют люди невежественные, циничные, от самой литературы далекие, зато отлично знающие последние указания сверху и партийные догмы.

Пробиться сквозь их строй я не смог. Чуть-чуть удавалось Евтушенко, немного Солженицыну, но и это уже в прошлом. Щели были замечены и зацементированы. А русские писатели все пишут, на что-то надеются. Это кошмар.

## Моя мания

Так четверть века я мечтал о немислимом для советского писателя счастье: писать и публиковать художественные произведения вольно, безбоязненно. Не «наступать на горло собственной песне». Не думать о партийных указаниях, казенных редакторах и политических цензорах. Не вздрагивать при каждом стуке в дверь. Не зарывать рукописи в землю, едва лишь просохнут чернила.

О, сколько ямок я ископал, зарывая стеклянные банки с «опасными» и «сомнительными» рукописями. Я не мог их держать в столе, потому что в любое мое отсутствие квартира могла быть вскрыта и обыскана, а рукописи конфискованы, как это случилось с Солженицыным и многими другими.

Мой письменный стол был вообще без ящиков. Ящиками и надежным сейфом служила мне русская земля.

Моей подлинной манией стало увидеть мои книги опубликованными в том виде, в каком я их написал. Увидеть — и после этого хоть и убейте меня. Да, да, в этом отношении я стал болен, я маньяк.

## Отказываюсь

Мальчиком я видел, как горели в России книги в 1937 году, при Сталине. Видел, как горели книги в 1942 году, в оккупированном Киеве, при Гитлере. Богу было угодно, чтобы при жизни мне довелось знать, как горят мои собственные книги. Потому что после того, как я сейчас ушел из СССР, конечно, мои книги там будут уничтожены.

Там постоянно уничтожают какие-нибудь книги, почему бы моим составить исключение? А я молюсь, чтобы мои издания были уничтожены все до последнего. Раз это не то, что я действительно писал и хотел донести до людей, значит, это ведь не мои книги! Я сам отказываюсь от них.

Вот:

**Публично и навсегда отказываюсь от всего, что под фамилией «Кузнецов» было опубликовано в СССР или вышло в переводах с советских изданий в других странах мира.**

**Ответственно заявляю, что Кузнецов — нечестный, конформистский, трусливый автор. Отказываюсь от этой фамилии.**

Я хочу быть, наконец, честным человеком и честным писателем. Все опубликованные после сего дня произведения буду подписывать именем А. Анатолий. Только их прошу считать моими.

## На что надеюсь!

В последние годы, крепко запершись, тайно я изредка позволял себе пир: писал то, что хотел. Это было жутко и необычно. Это как если бы в мире, где все ходят на четвереньках, кто-нибудь, запершись в подвале, выпрямился и встал на ноги.

Затем, несколько месяцев я выкапывал из земли рукописи, переснимал их на пленку — и снова зарывал. Мне удалось перевезти через границу эти пленки, тысячи переснятых страниц, все, что я написал за свою жизнь. Здесь и известные мои вещи, например, «Бабий Яр», но только в истинном его виде. Здесь и такое, что в России опубликовано быть не могло. И такое, что вряд ли я смогу опубликовать его и на Западе.

Но теперь у меня есть хотя бы надежда. Хотя бы... Во всяком случае, это произведения не Кузнецова, а совершенно иного писателя. Не советского, не западного не красного, не белого, но — просто писателя, живущего в XX веке на Земле. К тому же предпринявшего отчаянную попытку быть в этот век честным, присоединяющегося к тем, кто борется за человечность в сегодняшней дикой, дикой, дикой жизни этого безумного, безумного мира.

Ваш  
А. АНАТОЛЬ

## В Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

### Заявление

После серьезных раздумий в течение многих лет я пришел к окончательному отрицанию марксизма-ленинизма.

Сегодня я считаю, что это учение является чрезвычайно устарелым, закостеневшим и наивным. Оно ни в коей мере не может разрешить противоречия в современном обществе, хуже того: приводило, приводит и в еще большей мере грозит привести к ужасающим общественным трагедиям.

Я не могу больше оставаться членом Коммунистической партии, руководствующейся этим учением. Прошу исключить меня из членов КПСС.

Слагаю с себя обязанности заместителя партийного секретаря писательской организации Тульской области; мой партбилет я оставил там.

Кузнецов Анатолий Васильевич,  
член КПСС с 1955 года.

1 августа 1969 года, Лондон

### Письмо советскому правительству

Я остаюсь в Англии, чтобы свободно заниматься тем, что есть суть моей жизни, — литературой. Это решение я принял давно, хорошо его обдумал и готовился год.

Об этом никто не знал, кроме меня одного. Условия тотального стукачества и лицемерия в СССР не позволяют рисковать, доверяя подобную тайну хотя бы единому человеку. Мне, к тому же, дважды было отказано в выезде. Я понимал, что третий отказ будет означать запрещение выезжать насовсем. Поэтому параллельно начал готовиться переплыть морскую границу под водой.

Должен об этом говорить, чтобы стало ясно, насколько все это серьезно и что сообщников у меня не было и быть не могло.

Прошу советское правительство не мучить мою мать, моих сына, жену и личного секретаря. Им и без того сейчас плохо, а будет еще хуже, потому что мой заработок был их источником существования. Прошу не конфисковывать у них вещи, не отбирать жилища. Клянусь: они ничего не знали.

Советскому посольству в Лондоне я заявил, что не имею никакого желания встречаться с кем-либо из советских официальных лиц. И прошу вас отдать распоряжение посольству оставить меня в покое.

Сугубо лично, для себя, я решил: если вообще когда-нибудь смогу говорить с советскими официальными лицами или подать им руку, то не раньше, чем СССР предоставит Чехословакии полную свободу и уберет из нее войска навсегда.

Если у каких-либо организаций в СССР имеются ко мне финансовые претензии по контрактам, я обязуюсь их погасить в течение года по предоставлении счетов.

Я также приношу извинения за обман, к которому должен был прибегать, чтобы получить разрешение на выезд. Это был вынужденный обман. Вы сами создали условия, при которых даже уехать из страны невозможно без лицемерия.

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ

1 августа 1969 года

### Из воспоминаний

Мы ели салат из различных морских гадов. Огромная тарелка стояла перед нами. На дне ее виднелся из-под акульных плавников и соевых отростков какой-то китайский иероглиф и соответствующий ему рисунок. Но вокруг не было ни одного китайца, несмотря на то, что мы сидели в «Пекине».

— И как же вы не боялись?

— Чего не боялись? — не понял я, прервав еду и, вспомнив свой рассказ на улице.

Пока мы шли от гостиницы до ресторана, я рассказывал Кузнецову про литературное общество СМОГ. За общество меня и посадили в апреле 1966 года. Только в прошлом году с помощью мощной западной компании в мою защиту, меня освободили по амнистии.

— Ну, вообще, — сделал он неопределенный жест.

Я пожал плечами — говорить об этом в ресторане не хотелось и он понял.

— А как ваша жизнь?..

— Что? — снова не понял я.

— Сейчас... Как вы живете, Володя?

— Живу я хорошо, — усмехнулся я, вспомнив участкового милиционера, который требовал от меня предъявить

справку с места работы (в противном случае он грозился отправить меня туда, откуда я год назад вернулся).

Кузнецов тоже усмехнулся.

— У меня к вам есть предложение...

Надя дернула его за рукав.

— Слушай, ну, что мы такое едим? Я не наелась. Ты наелась? — уперлась она взглядом в Лику. — Нет, и она не наелась.

— Чего же ты хочешь?

— Картошечки!

## Пресса тех дней

«Дейли телеграф», 30.7.69.

«Бочкообразный мистер Анджапаридзе зажег русскую папиросу и сказал: Единственное, что мне приходит в голову, это, что он погиб, даже, что его убили... Смехотворно предполагать, что он дезертировал и ищет политического убежища в Англии. Ему этого не нужно. Он — широко известный и широко читаемый в России автор. Я убежден, что он захочет вернуться домой. Он русский, а мы любим свою страну».

«Дейли мейл», 31.7.69

«Кузнецов сел в такси, чтобы направиться в один дом в пригороде, куда он прибыл в понедельник поздно вечером. Он был напряжен, возбужден и в приподнятом настроении, вкусив впервые западную свободу... Его предупредили об опасностях, которые подстерегают невозвращенцев, и о житейских трудностях, обычных для русских эмигрантов, но он был непоколебим в своем намерении остаться в Великобритании».

«Дейли телеграф», 31.7.69

«Ему сказали, что жизнь эмигранта не легка. Он возразил, что ничто не может его убедить вернуться в Россию, где невысказано творить писателю...»

На вопрос о других русских писателях он ответил, что в Советском Союзе есть только один писатель, и это — Солженицын. Все остальные пишут лишь то, что им позволено, и обходят молчанием все то, что запрещено».

В тот же день другой корреспондент газеты встречается со злополучным переводчиком.

«Он пригласил меня в здание посольства, и мы вошли в обширную комнату без мебели. Мы стояли около пустого камина и вели разговор, в котором вскоре принял

участие подошедший к нам русский, почти не знающий английского языка. Мистер Анджапаридзе сказал по кузнецовскому делу «Теперь он кончен как автор. Быть может, он напишет еще одну книгу, в которой будет сказано, что СССР — ужасная страна. Но кто такую книгу будет читать? И что он напишет потому Ничего»...

## Официальные реакции

«Дейли миррор», 31.7.69

«Министр внутренних дел ответил положительно на просьбу Кузнецова — остаться в Англии на неопределенное время... Быстрота решения показывает, насколько это дело важно... Министерство внутренних дел оповестило об этом решении советское посольство».

«Таймс», 31.7.69

«Советский посол, мистер Н. Смирновский, был недоустроен сегодня вечером для тех, кто ждал комментарий по поводу разрешения, данного Анатолию Кузнецову, остаться в Англии. Секретарь посольства заявил, что посла нельзя встретить ранее завтрашнего дня. Другие чины посольства комментировать отказались».

В министерстве внутренних дел было заявлено, что адрес Кузнецова будет временно храниться в тайне. Он не подвергается никаким ограничениям. Он — свободный человек».

«Дейли телеграф», 2.8.69

«Разгневанный посол встретил мистера Стюарта... Встреча, наспех организованная по просьбе посла, показывает, насколько большое значение придается этому делу в Москве...»

Ожидается, что русские будут продолжать оказывать максимальное давление на Кузнецова для того, чтобы он изменил свое решение и возвратился в Москву. Хотя весьма маловероятно, что он согласится встретиться с советскими официальными лицами, министерство внутренних дел желает этого, дабы было доказано, что его не задерживают в этой стране против его воли».

«Санди телеграф», 3.8.1969

«Дело Кузнецова, приведшее русских в такое бешенство, ставит Форин офис в затруднительное положение. Мистер Стюарт заявил на прошлой неделе, говоря об обмене Брука на Крогеров, что он надеется на улучшение в англо-русских отношениях... Но тот самый самолет, который привез в Лондон Брука, привез и Кузнецо-

ва, задумавшего избрать свободу. Это событие весьма расстроило русских и поэтому явится помехой какому-либо улучшению англо-русских отношений...

Русским дипломатам не легко бывает оправдаться перед их московскими хозяевами. Гнев мистера Смирновского этим и объясняется, а также тем фактом, что его доверенный человек не сумел воспрепятствовать.

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Я приезжал к нему в Тулу в пятницу, а в воскресенье вечером уезжал.

Я стал привыкать к такому образу жизни, тем более, что справка о моем секретариате у известного писателя надежно предохраняла от посягательств милиции на мою свободу. Второй раз в Сибирь не хотелось (впрочем, как и в первый).

Сначала он давал мне поручения, которые я должен был выполнить в Москве — сходить в редакцию, в издательство, в Литфонд, позвонить тому, позвонить этому, отвезти заявку на киностудию, забрать пьесу из театра, купить то-то и то-то и множество иных мелких дел, которые надо выполнить человеку, живущему вне столицы.

Мой скепсис по отношению к нему развеивался, а приятельские отношения располагали к откровенности. Впрочем, он был откровенен до известного предела.

Мы пили черный кофе, который он варил в кастрюле. Очень крепкий.

Кофе ему тоже привозил я.

Я, вообще, удивлялся некоторым способностям Кузнецова: пить много черного кофе и пить алкоголь и при этом замыкаться. Он становился замкнутым все более и более с каждой очередной рюмкой. Требовал беседы, но оставался слушателем.

Очень внимательным слушателем.

В коридоре стоял стеллаж из светлых острюганных досок. На нем рядами стояли пачки с кофе и пачки папирос «Прибой», «Байкал», «Лайнер». Их я тоже привозил — однажды целую коробку. Не было в Туле, что ли своих?

Он — на мое удивление — курил эти крепкие дешевые папиросы.

### Гнев и восторг по поводу закопанных рукописей

Особую прыть в очернительном действе проявил редактор журнала «Юность» Полевой, подгоняемый немалым страхом. Ведь он только что принял А. Кузнецова в редколлегиям журнала, устроил ему поездку за границу, — Полевому могло изрядно влететь от меценатов из КГБ.

Полевой в «Литературной газете» (от 6.8.1969 г. возмущался коварством А. Кузнецова, который определенную сторону своего облика «тщательно скрывал не только от своих читателей, но и от своих знакомых и близких».

Сообщив затем обо всех уловках, к которым непонятно почему прибег А. Кузнецов, чтобы выехать за границу — ведь всем известно, что «советских писатели свободно путешествуют по всему миру», — Полевой перешел к заявлению А. Кузнецова о том что он прятал свои рукописи в банках в земле. Такого при свободе, царящей в СССР, быть не может уверяет Полевой, «прятать свои произведения, закапывая их в землю, может разве сумасшедший».

Однако, по странному стечению обстоятельств, советская печать уже однажды сообщала как о факте причем как о факте положительном, что А. Кузнецов прятал свои рукописи, закапывая их в землю. Потому что это было в Киеве во время немецкой оккупации. Вот что об этом сообщал журнал «Культура и жизнь» № 10 за октябрь 1960 г. в статье «История одной хорошей книги» (по поводу выхода книги А. Кузнецова «Продолжение легенды»): «Ненависть к оккупантам переполняет детское сердце. Вечерами, когда мать ложилась спать, Толя вырывает из старых тетрадей листки и пишет... Исписанные листки Толя зарывал в землю в сарае...»

Статья была хвалебным гимном «Продолжению легенды», успех которой объяснялся, кроме всего прочего, и биографией А. Кузнецова, «...во многом схожей с биографией того поколения советской молодежи, которое в самые тяжелые годы послевоенного восстановления сидело за школьной партией, а позже, в начале 50-х годов, отправилось на строительство новых городов, гидростанций, участвовало в освоении целины...»

«Культура и жизнь» сообщала о том, как А. Кузнецов сумел «поэтично и правдиво рассказать о шоферах и бетонщиках, о трудностях, которые приходилось преодолевать молодым покорителям Сибири», о том, как он в ранней молодости уже «оставляет позади себя опытных писателей». Говорилось так и как А. Кузнецову «попалась на глаза» книга выпущенная в Лионе, в которой он узнал «сокращенный и фальсифицированный перевод его



«Продолжения легенды» (сегодня мы знаем от А. Кузнецова, что книгу прислал в СССР Арагон и что переводчик, руководствуясь правильным инстинктом, сократил как раз места, вставленные цензурой.

«Для произведений Кузнецова характерно плавное повествование и покоряющая человечность» - сообщала своим читателям «Культура и жизнь». Сегодня «Литературная газета» сравнивает его то с героем гоголевских «Записок сумасшедшего», то с Иудой, пророча ему петлю и осиновый сук. Типичный случай готентотско-коммунистической морали.

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Мы шли по Ясной Поляне.

Прошлогодние листья шуршали под ногами. Он прислонился к дереву и ткнул пальцем куда-то вперед.

— Там, — сказал он и глаза его блеснули за очками, — там я закопал «Тейч файф».

Когда мы вернулись, он ушел в кабинет, что-то двигал, искал, наконец вернулся с какими-то листами.

— На, читай.

— Вслух?

Он огляделся по сторонам, словно опасаясь подслушки. Хотя мы с ним тщательно осмотрели квартиру и в телефонный диск всегда был прижат спичкой...

— Давай.

— «Ведьм вывели на площадь. Оберштурмбанфюрер — член Политбюро взобрался на трибуну. — На кол их! Пиздой на кол! — заревел он. В ответ заревела толпа».

### РЕАКЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

«Таймс», 6.8.69

Грэм Грин, один из самых известных писателей Запада, обратился в редакцию этой газеты с письмом, вызвавшим широкий отклик. Он написал:

«С момента бегства Кузнецова для меня, как и для многих английских писателей, чьи книги, как и мои, регулярно печатаются в СССР, настал наконец момент перелома... Нам оказывали предпочтение (подкуп, как могли бы выразиться наши враги) потому, что, не в пример советским писателям, наши книги печатались без изменений. Нами пользовались, дабы создать впечатление культурной свободы, неправда, мол, что печатают только

Диккенса, вот появляются книги Сноу, Голсуорси, Мардока и даже римско-католического Грина.

Я призываю всех своих собратьев-писателей не разрешать печатать ни одной нашей книги в СССР, пока творения Солженицына будут под запретом, а Даниэль и Синявский будут оставаться в концлагере».

«Гардиан», 7.8.69

«Дж. Б. Пристли заявил, что он полностью разделяет точку зрения Грина «Но, согласно моему опыту, русские никогда не спрашивают у авторов разрешения... Если бы русские обратились ко мне за разрешением, я бы им отказал».

Джон Брейн отметил, что он не видит вреда в инициативе Грина, но что она не даст никаких результатов. Вместо этого он призвал своих коллег писателей воздерживаться отныне от поездок в Советский Союз, никогда больше не присутствовать на представлениях Большого театра, прервать всякие культурные и личные связи с советской стороной до освобождения находящихся в заключении советских писателей.

В заключение он заявил: «Когда я окидываю взглядом историю СССР и вижу погибших русских писателей, то я удивляюсь, что Грин только теперь очнулся и понял обстановку».

«Таймс», 8.8.69

Дональд Гульд пишет «Положение таково, что русские печатают и будут печатать по своему выбору любые книги — с позволения или без позволения их авторов. Чего могут добиться Грэм Грин и его коллеги-единомышленники? Только того, что они будут лишены тех авторских гонораров, которые депонируют на их имя в русском банке. Было бы, может, благоразумнее, если бы они продолжали накапливать рубли в надежде, что рано или поздно эти деньги смогут быть использованы для помощи советским коллегам, подвергающимся гонениям».

Госпожа Эдит Лэйкман: «Одна из моих книг была там напечатана, но я узнала об этом совсем случайно. Не было испрошено согласия, не было сообщено о выходе книги не был заплачен гонорар и не был прислан мне экземпляр русского издания. И вероятно, много авторов находится в том же положении».

«Дейли телеграф», 13.8.69

«Артур Миллер, председатель международного ПЭН-клуба, решил организовать широкую дискуссию касательно положения в России на предстоящем совещании этой организации. Его к тому побудило бегство Анатолия Кузнецова. Тема будет обсуждена 700 писателями из 50 стран, которые соберутся в следующем месяце в Ментоне, во Франции».

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...протянул пакет из желто-коричневой крафт-бумаги. В такую бумагу на почте заворачивали бандероли.

— А это коробка конфет — маме передашь. Адрес запиши. Я записал.

— Записал.

— Ты надолго в Киев?

— Недели на две, на три...

Не мог же я ему сказать, что решил новый самиздатовский литературный журнал «Перелом», что привлек к своей затее Кононенко, который с частью материалов уже уехал, а остальные рукописи должен привезти я. Не мог рассказать, что делать новый журнал в Москве не хотелось по целому ряду причин.

В Киеве же изготовить его и размножить было проще и безопаснее.

Кузнецов смотрел на меня, словно чего-то ждал.

— А ты надолго? — лишний раз уточнил я, хотя знал, что тоже недели на две.

— Ты же знаешь — на пару недель, на более длительный срок не отпустили, — он повел плечом, словно поясняя — ты же все понимаешь.

— Ладно, — ничего не подозревая, закончил я разговор.

— Маме твоей конфеты передам, Киеву от твоего имени поклонюсь...

Он поморщился.

— Хорошо, не буду кланяться! — засмеялся я и взялся за ручку двери. — Пока!

Он обнял меня и подмигнул, подталкивая к двери.

Права пословица — бойся гостя стоячего.

### Повествование А. Кузнецова

После перехода на положение эмигранта Анатолий Кузнецов сделал несколько заявлений и выступил в английской печати с двумя большими статьями.

«Санди телеграф» (3.8.1969), сообщая об этом, пишет:

«Анатолий Кузнецов выступил вчера со своими первыми публичными заявлениями. Он отрекся от всего того, что было напечатано под его фамилией. Он сказал «Куз-

нецов был нечестным, приспособляющимся, малодушным автором».

За 25 лет ни одна из его литературных работ не была напечатана в СССР в том виде, в каком он ее написал, — говорит А. Кузнецов. Он утверждает, что свобода искусства в СССР сведена к «свободе» восхвалять советскую систему и компартию и призывать народ бороться за коммунизм.

Произведения, в которых он свободно выражал свои мысли, он прятал. «О, сколько я выкопал ямок в земле, чтобы запрятать мои банки от варенья, наполненные «опасными» или «сомнительными» рукописями», — пишет А. Кузнецов.

Парижская «Монд» (7.7.1969) сообщает, что А. Кузнецов, в свое время судившийся с издателем французского перевода повести «Продолжение легенды», теперь обратился с просьбой к французскому министру юстиции Рене Плевену, прося назначить новое разбирательство этого дела. Кузнецов объясняет, что подать жалобу на французского издателя он был вынужден советскими властями, против своей воли и вопреки своим убеждениям... Он заявил, что готов приехать во Францию для дачи показаний французскому суду. Места из повести, выброшенные французским переводчиком, говорит он, в большинстве случаев были действительно чужеродными, вставленными цензурой.

Газета «Дейли телеграф» (7.8.1969) печатает первую в западном мире статью Кузнецова «Моя первая встреча с советской цензурой».

Издательству «Юность» очень понравилась повесть «Продолжение легенды» — рассказывает писатель. Но не может быть и речи о том, сказали ему, чтобы опубликовать ее. Однако через некоторое время, раскрыв экземпляр «Юности», он увидел, что его повесть напечатана. «Я тут же ее прочитал и от того, что я прочел, мои волосы встали дыбом — говорит А. Кузнецов. — Повести теперь был придан идеологически-оптимистический тон, такой, что дальше и идти некуда. Я помню как у меня на глазах появились слезы, вызванные гневом и крушением моих планов».

Однако повесть «Продолжение легенды» даже и в таком виде понравилась советским и иностранным читателям. Она была особенно популярна в Чехословакии, где ее переиздали пять или шесть раз...

Далее А. Кузнецов рассказывает историю с французским переводом этой повести и о том, как Луи Арагон прислал из Франции экземпляр «антисоветской книги»,

озаглавленный «Звезда в тумане», которая оказалась переводом повести.

А. Кузнецову по этому делу были учинены допросы в иностранной комиссии Союза писателей, его немедленно заставили написать жалобу на французского издателя, разъяснив, что «Арагон ее напечатает в своем журнале «Летр франсэз». Он хочет, чтобы вы обратились с жалобой во Французский суд. Быть может, окажется возможным преследовать издателя».

«Я ясно отдавал себе отчет в том, что произошло, — говорит А. Кузнецов. Переводчик, отец Шалей, просто счел ненужным переводить те оптимистические главы, которые были вставлены в повесть помимо меня. Он их кратко резюмировал, пояснив, что они более низкого качества, чем остальные. Он меня вполне точно понял... Искажение моей книги было совершено в России, а я был принужден заявить, что искажением явился перевод, сделанный аббатом Шалей. Мой протест появился в «Литературной газете» в России и в «Летр франсэз» во Франции, а также был воспроизведен в ряде газет».

Однажды А. Кузнецов был вызван иностранной комиссией союза писателей и оказался в ресторане в компании французов. Французы не обращали на него никакого внимания. Он не мог понять, почему его вызвали, но его сосед сказал ему по-русски: почему вы держите себя так невоспитанно и сидите не раскрывая рта? Это ваш адвокат из Парижа, поэтому скажите хоть что-нибудь! Адвокат, господин Амбрэ, поговорил с А. Кузнецовым минут десять, а затем отправился осматривать Москву.

О суде над аббатом Шалей и о приговоре А. Кузнецов узнал лишь из газет. «Я никогда не получил текста приговора, как и той тысячи франков, которая была мне присуждена... Я до сих пор не знаю, кто организовал весь этот процесс, — говорит он.

— Луи Арагон? Но его имя не упоминалось в газетах... Во всяком случае, после этого дела меня включили в состав делегации, ехавшей в Париж по случаю открытия советской выставки. В Париже меня сразу повели к Луи Арагону. Но он мало обратил на меня внимания и уклонился от разговора по этому делу. Выйдя от него, я спросил у прохожего, где находится министерство юстиции. Я подошел к этому зданию, постоял там несколько минут и с содроганием сердца спросил самого себя: войду ли я? скажу ли я им все?»

Копию этой статьи А. Кузнецов приложил к письму, направленному французскому министру юстиции.

Газета «Санди телеграф» (10.8.1969) опубликовала статью А. Кузнецова, озаглавленную «Русские писатели и тайная полиция». А. Кузнецов пишет, что не знает ни одного писателя в России, который так или иначе не имел бы дела с КГБ. Это выражается в трех различных вариантах.

Первый вариант: вы с энтузиазмом сотрудничаете с КГБ. Таким образом вы имеете все данные преуспевать.

Второй вариант: вы исполняете ваш долг по отношению к КГБ, но вы отказываетесь непосредственно сотрудничать. Таким образом вы лишаетесь многого, в частности перспектив на поездки за границу.

Третий вариант. Вы отбрасываете все предложения, исходящие от КГБ, и входите в прямой конфликт с ним. Вследствие этого ваши литературные труды не печатают и вы даже можете очутиться в концлагере.

Далее А. Кузнецов рассказывает, как перед его первой за всю жизнь поездкой за границу, в Париж, в августе 1961 года, к нему явились агенты КГБ и заставили, под угрозой отмены его поездки, наблюдать за другими литераторами, его спутниками.

Главным «оком» КГБ в этой группе был один московский редактор.

«Но я заметил, — говорит А. Кузнецов, — что некоторые другие писатели тоже явно были заняты слежкой, особенно некий Сытин, который теперь занимает одно из ключевых мест в советском кинематографическом мире. Из пятнадцати членов делегации один принадлежал к Интуристу, один был «ответственным товарищем» и по меньшей мере пять других были «добровольными сотрудниками».

Говоря о сотрудничестве с КГБ, А. Кузнецов выражает надежду, что и Евтушенко «расскажет, в каких условиях ему позволили путешествовать по всему свету и какие отчеты ему на этот счет пришлось писать».

Вскоре агенты КГБ снова дали знать о себе Кузнецову, поселившемуся в Туле. Они расспрашивали его о том, чем заняты Евтушенко, Аксенов, Гладилин и другие и что это за люди. А. Кузнецов дал о них лишь благоприятные отзывы. Но кагебисты возразили, что Евтушенко допускает ошибки, что А. Кузнецов недостаточно внимательно за ним наблюдает. Е. Евтушенко следует вызвать на откровенные высказывания, а затем сообщить об этом КГБ. С Кузнецовым стали говорить более резко и прибегать к угрозам.

А. Кузнецов вышел из себя и кагебисты вдруг без возражений удалились. А. Кузнецов надеялся уже было, что его оставят в покое, но, как оказалось, он глубоко ошибался. Его просто перевели из «первой» во «вторую категорию».

Через некоторое время к А. Кузнецову был подослан провокатор, «симпатичный молодой студент». Студент рассказал, что работает в учреждении, где есть документы, являющиеся государственной тайной, а также о том, что он якобы сотрудничал в студенческом подпольном журнале и что его коллеги все арестованы. «Он кричал, сквозь слезы, что он будет выпускать далее этот подпольный журнал один, — рассказывает А. Кузнецов. — Я ему ответил, что это было бы глупо и что этим путем он ничего не добьется».

Затем А. Кузнецова вызвал на свидание один из кагебистов. «Почему вы нам не позвонили? Некто говорит вам о государственных тайнах, дает вам информации о подпольной литературе, а вы просто-напросто возражаете, что собеседник ваш не на правильном пути. Где же, по вашему мнению, правильный путь?..»

«Я теперь еще дрожу, — продолжает Кузнецов, — когда я пишу об этом разговоре, происходившем на скамейке в сквере. Я был прощен и мне позволили удалиться, но я был предупрежден... Я был членом компартии, признанным советским писателем, я хотел лишь одного — писать далее. Но я автоматически подлежал слежке по тому, что я попал во вторую категорию...»

Далее автор рассказывает, что с того времени к нему были приставлены доносчики и наблюдатели, в частности во время его пребывания в Ясной Поляне. Он говорит тоже о добрых, неизвестных ему людях, оказывавших ему всяческую помощь. Раз один незнакомец позвонил ему из автомата на трамвайной остановке. Он точно изложил содержание писем А. Кузнецова к матери и уточнил, какой иностранный журнал имеется у него на дому. Он сказал ему, что все его письма вскрываются, что соседи, живущие по обе стороны и напротив, за ним наблюдают и что его телефонные разговоры регистрируются.

После этого А. Кузнецов стал хранить свои «опасные» рукописи в земле.

«За несколько дней до съезда писателей, на котором я должен был участвовать в качестве делегата от Тулы, Солженицын прислал мне экземпляр своего знаменитого письма, в котором он заклеймил цензуру, — рассказывает А. Кузнецов. — Я это письмо обдумывал в течение нескольких ночей. Мои домашние не могли понять, что со мною происходит. Я им сказал: Солженицын предлагает покончить совместно с ним самоубийством. Да, я не нашел в себе достаточно мужества и, вероятно, вполне заслужил презрение Солженицына. Я просто воздержался от участия в съезде, я не поставил своей подписи

ни под каким протестом ни тогда, ни позднее. Я спасал свою собственную шкуру и оставался в стороне от событий. Других исключили из партии и из Союза писателей и их произведения перестали печатать. Но я продолжал печататься и «товарищи» возобновили свое ко мне доброе и приятельское отношение... Я хорошо сделал, сказали они, не подписав никаких протестов, такое дело не к лицу художнику слова. Но теперь мне следует попытаться повлиять на моих заблудших друзей и дать им понять, что если они не перестанут нарушать порядок, то... ну, вы сами понимаете...»

После того, как ночью 20 августа 1968 г. советские танки вторглись в Чехословакию, многие русские восприняли это как начало поворота к фашизму. «Я понял, что далее оставаться я здесь не могу».

Кузнецов отправляется в Батуми с тем, чтобы там изучить местность. «Мне пришлось тогда в голову проплыть под водой до Турции при помощи водолазного аппарата, толкая перед собой подводный плот, снабженный резервуарами с кислородом... Я натренировался плыть непрерывно по 15 часов...»

Автор отказывается от выполнения этого отчаянного плана и решает предпринять последнюю попытку получить разрешение на поездку за границу.

КГБ, как и гестапо, любит доносы. А. Кузнецов решил написать «донос». Он намекнул кагебистам, что как будто бы антисоветский заговор замысливается в среде писателей. Это на них произвело впечатление и они поверили. А. Кузнецов сообщил, что писатели замыслили издавать опасный подпольный журнал, под названием «Полярная звезда» или «Искра», но что они все еще спорят о названии. Среди лиц, которые якобы будут в нем соучаствовать, он назвал Евтушенко, Аксенова, Гладилина, Ефремова, Табакова, Аркадия Райкина и других. В настоящее время, сообщил А. Кузнецов, они заняты сбором денег и рукописей. В первом номере будет напечатан меморандум академика Сахарова.

КГБ перевело А. Кузнецова в первую категорию и выпустило в Англию — для сбора материалов о Ленине. С собой А. Кузнецов привез микропленки своих произведений в их первоначальном, неискаженном виде. Среди них — его донос в КГБ.

«Я рассказал вам только о самом себе, — заканчивает А. Кузнецов. — Но поверьте, имеется много людей, которые могли бы рассказать аналогичную историю...»

## Атака КГБ на Анатолия Кузнецова

«Дейли телеграф», 4.10.69

Газета сообщает о том, как даже пожилая мать писателя, проживающая в Киеве, была принуждена властями обратиться к «заблудшему» сыну с призывом вернуться домой. Корреспондент газеты ее навестил. При свидании присутствовали представители агентства «Новости», «специфические связи» коих всякому известны. Однако, либо КГБ плохо подготовило мать писателя к встрече с иностранным журналистом, либо она сама вышла за рамки подготовленного ей властями подстрочника.

«Приведенные госпожой Кузнецовой доводы, согласно которым ее сын «психически расстроен», совпадают с версией, пущенной в ход в Москве неофициальным, но заинтересованным источником».

Но с причинами ухода Кузнецова получилось во время разговора что-то неубедительное: «Его прежняя жена Ирина была очень плохой домохозяйкой. Она постоянно просила денег и не исполняла никаких домашних работ. Этим был вынужден заниматься Анатолий и даже бегать за покупками».

Неужели из-за таких мотивов Кузнецов собирался даже уплыть под водою до берегов Турции? О том, что ожидало бы Кузнецова, в случае возвращения в СССР, мать не нарисовала радужную официальную картину:

«Я спросил о том, не был бы он арестован за антисоветскую деятельность, основанную на тех заявлениях, которые он сделал в Лондоне.

— Я не принадлежу к властям и не могу сказать что с ним случилось бы, — ответила она. Но здесь его родина, и, я думаю, она бы ему простила».

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...смотрел на него выжидательно — все-таки он «на колесах», а не я, ему везти машину, а не мне, ему рисковать, приезжая в опальный дом. Себя я в расчет не брал, рассуждая, что я все равно под надзором и на Лубянку потащат в очередной раз непременно — теперь из-за побега Кузнецова. (И не ошибся).

— А что? — пожал плечами Скуратовский. — Поехали.

Он тогда был легок на подъем. Гораздо легче, чем сегодня. Но сделаем скидку на 30 лет.

Каплан довольно запыхтел, но уточнил, что по дороге неплохо бы заправиться вином, которое ему в дороге не помешает.

— О чем вопрос? — согласился Алик. — По дороге и заправимся.

Каплан снова заурчал, как кот.

Скуратовский завел свой серый («горбатый») «запорожец» и мы поехали в Тулу.

Ехали сравнительно недолго, хотя всевозможные тревожные мысли не давали покоя. Носили они всем понятный характер: что изъято при обыске? какие комнаты опечатаны? почему опечатаны? можно ли сорвать печать? И тому подобные, которые непременно приходят в подобном состоянии.

Наконец приехали.

Надя была под хмельком.

Она, наверно, со дня отъезда Кузнецова находилась в таком состоянии.

«Дейли телеграф», 7.10.69

Мобилизованной на дело изобличения Кузнецова оказалась и его бывшая молодая секретарша Надя Цуркан. По этому поводу писатель заявил газете: «...Сказанное не соответствует ее мышлению, ее манере выражаться и даже языку. Я даже не уверен, что она видела текст этого интервью после того, как оно было кем-то написано».

Надя Цуркан якобы заявила, в частности, что была в обществе Кузнецова, «когда он закапывал горшки в землю».

Но она утверждает, что он закопал только порнографические журналы, а не рукописи его произведений... Она утверждает также, что ему удалось вывезти с собою только тексты двух коротких повестей и что при нем не было микрофильмов его рукописей.

Отметим со своей стороны, что КГБ окончательно запутался. Рукописи не были закопаны в горшках. Вывезены за границу они тоже не были. Где ж они?.. Очевидно, КГБ жалеет, что не сумел их захватить и надолго скрыть от русского читателя, как это было сделано с частью творений Солженицына!

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...сведения об обыске и количестве изъятого я аккуратно переписал из отставленной гэбистами копии протокола обыска, что мне показала Надя.

Рукописи? Наверно, старые черновики, решил я, едва ли Толя оставил что-нибудь стоящее. Фотопленки? Наверно, семейные, снимки матери, сына, а магнитофонные ленты — музыка, решил я, не обратив особого внимания на цифры.

Я слишком хорошо помнил его осторожность и потаенность поступков. Он как-то заметил мне:

— А ты не боишься носить записную книжку?

Я в ответ постучал себя по лбу.

— Все нужные телефоны здесь.

— Всех не запомнишь, — уклончиво заметил он.

Я в ответ сказал, что, разумеется, у меня есть две записные книжки: одна со всеми нужными телефонами (хранится дома) и другая, где телефоны редакций, издательств, работы родителей, знакомых девчонок, где я записываю строчки стихов или всплывший из глубин подсознания сюжет...

— Если меня сейчас схватят, — закончил я, — то в моей записной книжке КГБ ничего интересного для себя не найдут. А если придут с обыском, то я всегда успею уничтожить вторую...

Он недоверчиво посмотрел на меня, но что-то для себя решил.

В тексте протокола обыска были неточности, которые мне сразу бросились в глаза.

Ирина Марченко тогда не была женой перебежчика. Они давно состояли в разводе, Ирина жила с Файбышенко, что ни для кого в Туле, да и в Москве не было секретом. Даже мама Кузнецова, когда я привез последний сувенир сына, спросила: «А Ирина совсем не появляется?» Я ответил, что один раз приходила, когда я приезжал. Мать недовольно поджала губы, из чего я заключил, что с невесткой они не ладили.

Но, может, официально Кузнецов не оформил свой развод?

— А что за письма? — спросил я, прочитав про 168 изъятых писем.

— Поздравительные, открытки с Новым годом, ну, от разных писателей, — неопределенно ответила она.

— А конкретно от кого не помнишь?

Она, не задумываясь, выпалила имена и я записал, ни капли не сомневаясь, что все сказанное ею — правда.

Но откуда я мог знать, что Надька фантазирует? Что она выпалила три запомнившиеся ей фамилии иностранных писателей, книги которых Анатолий Васильевич, вероятно, читал в последнее время, или они просто стояли на полках?

**«Посев», Примечания ко «Второму специальному выпуску», декабрь 1969**

Кузнецов Анатолий. На запрос редакции «Посева» по поводу сообщения «Хроники» в связи с обыском в его квартире, А. Анатолий (Кузнецов) ответил следующее:

*«ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЫСКА В МОЕЙ КВАРТИРЕ.*

Писем от Яна Прохазки, Алана Силлитоу и Грэма Грина у меня не могло быть, я с ними *не знаком* и никогда не переписывался.

Перед отъездом я все бумаги и письма сжег, оставив лишь небольшую часть, которую зарыл, и если даже это верно — насчет писем Солженицына и крымских татар, то в том случае, что они пришли *после* моего отъезда.

Фотопленок я также *не оставлял*. Магнитофонные ленты — надиктованный текст романа «Огонь», самый обший и первоначальный, который затем в рукописях много раз переделывался и отработывался, — так что эти ленты не имеют никакого значения. Гораздо более полный текст «Огня» — опубликован. 1500 листов рукописей — это машинописные копии тех текстов «Бабыего Яра», «Огня», «У себя дома» и некоторых рассказов, которые остались в редакциях, т.е. текстов официальных. Полные и «крамольные» рукописи я вообще в доме никогда не держал, так как тайные обыски у меня делались и раньше. Эти рукописи остались зарытыми, после того, как я их все переснял на пленки, которые увез с собой в Англию. Уезжая, я несколько раз пересмотрел все, что оставалось в квартире, чтобы чего-то не оставить к удовольствию КГБ, трижды вывозил на велосипеде большие мешки и сжигал их за городом, а напоследок сфотографировал квартиру на память, зная, что больше ее не увижу. Так что, я считаю, на этот *обыск* КГБ только время потеряло.

*А. Анатолий (Кузнецов)*

### *ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ*

В январе 1989 года мы обнимались с моим близким другом, которого я не видел пятнадцать лет.

Дело происходило в кантине радио «Свобода» в Мюнхене. Дело в том, что друга звали Евгений Кушев и он работал главным редактором тематических программ русской редакции.

Когда обнимания, разглядывания и сравнения с прошлым обликом закончились, он вдруг заявил:

— А мы тебя часто вспоминали, когда я в Англии жил.

— Да?

— Знаешь с кем? Никогда не догадаешься. С Анатолием Кузнецовым.

— Не может быть!

— Может. Он даже признавался, что давал тебе читать свой неопубликованный роман «Тейч файф».

— Точно! Он жив?

— Нет, умер. Десять лет назад.

— КГБ? — я вспомнил разговоры в московских компаниях, что «Кузнецова вышвырнули из фуникулера... Кузнецову устроили автокатастрофу...»

— Инфаркт. Но не первый.

И Кушев стал рассказывать, какой тяжелой жизнью жил Анатолий Кузнецов в Англии, что для заработка работал ... машинисткой (если можно так назвать!) — перепечатывал чужие рукописи;

что после того, как издал в полном виде роман «Бабий Яр» (без цензурных вымарок), он сделал анализ привезенных с собой рукописей и поставил сам себе и своему творчеству беспощадный диагноз —

все его произведения вторичны, являются перепевами чужого, а роман «Тейч файф» похож на «1884» Оруэлла (Кузнецов не знал этого произведения, но тем страшнее оказалось знакомство — он изобретал велосипед...)

Он увидел насколько он отстал от мировой литературы. Железный занавес ударил писателя в самое чувствительное место — отсутствие информации.

Я это понял в первый же день пребывания в Германии.

Увидев полки, манящие к себе именами, о которых только слышал, но не читал! не знал! не изучал с карандашом! — я понял, что в один момент мне этого не одолеть.

И я понял, что мой собственный разрыв в литературном образовании надо начинать с периодики. Я взял журналы, которые на них стояли. Я взял комплект «Континента» (№№ 1-58), комплект «Грани» (№№ 59-150), комплект «Время и мы» (№№ 28-99), комплект «22» (№№ 31-60) и три месяца читал.

Я читал, записывал, делал ксерокопии.

Наверно, Кузнецов шел аналогичным путем. Это заметно по некоторым его поздним статьям — появился новый литературный багаж.

Кузнецов писал для радио «Свобода», вел рубрику, собирал материалы, написал публицистическую книгу «Совесть» (не закончена). Но все это были подступы. Было видно, что писатель готовится к прыжку. Куда? Мне сегодня кажется, что в иное, в новое для себя литературное качество.

Какое оно будет?

Никто из нас сегодня не ответит на этот вопрос.

## Анатолий КУЗНЕЦОВ. БАБИЙ ЯР

*К читателям*

Первоначальную рукопись этой книги я принес в журнал «Юность» в 1965 году. Мне ее немедленно — можно сказать, в ужасе — вернули и посоветовали никому не показывать, пока не уберу «антисоветчину», которую поотмечали в тексте.

Я убрал важные куски из глав о Крещатике, о взрыве Лавры, о катастрофе 1961 года и другие — и официально представил смягченный вариант, в котором смысл книги был затушеван, но все же угадывался.

Тогда в СССР было еще свежо хрущевское «разоблачение культа личности Сталина», многим казалось, что начинается серьезная либерализация, опубликование «Одного дня Ивана Денисовича» А. Солженицына вселяло надежду, что, может, наконец, возможна настоящая литература.

Но смягченный вариант моего «Бабьего Яра» опять озадачил редакторов. Рукопись была нарасхват, все читали, восторженно отзывались в личном разговоре, а официально выдвигали убийственную критику, и редакция не отваживалась на публикацию без специального позволения. На советском языке это именуется «Вы должны посоветоваться с вышестоящими товарищами».

Рукопись пошла по инстанциям — вплоть до ЦК КПСС, где ее прочел (но без ряда глав), как мне сказали, Сус-

лов, и он в общем разрешил. Решающим для «вышестоящих товарищей» оказался ловкий аргумент редакции что моя книга якобы опровергает известное стихотворение Евтушенко о Бабьем Яре, вызвавшее в свое время большой скандал и шум.

Нет, конечно, я это великолепное стихотворение не опровергал. Более того, Евтушенко, с которым мы дружили и учились в одном институте, задумал свое стихотворение в день, когда мы вместе однажды пошли к Бабьему Яру. Мы стояли над крутым обрывом, я рассказывал, откуда и как гнали людей, как потом ручей вымывал кости, как шла борьба за памятник, которого так и нет. «Над Бабьим Яром памятника нет...» — задумчиво сказал Евтушенко, и потом я узнал эту первую строчку в его стихотворении. Я не противопоставлял ему свою книгу, просто размер романа позволял рассказать о Бабьем Яре куда больше и во всех его аспектах.

В некоторых зарубежных изданиях к моему роману вместо предисловия ставили стихотворение Евтушенко, что лучше всего говорит само за себя.

Так или иначе публикация была разрешена, но поскольку в ЦК читали без ряда глав, следовало в первую очередь эти главы убрать. Затем главный редактор «Юности» Борис Полевой, ответственный секретарь Леопольд Железнов и еще много других людей сделали столько купюр, изменений, пометок, что порой за их разноцветными исправлениями не видно было текста.

С огромным трудом удалось сохранить название, его категорически требовали изменить («Чтобы не вызывало воспоминаний о стихотворении Евтушенко»), но тщательно убрали все критические упоминания о Сталине («Есть такое мнение, что сейчас не время»), вообще малейшую критику чего-нибудь советского («Роман антифашистский, критикуйте только гитлеровский режим»).

Доходило буквально до анекдота. В начале романа есть фраза, что у немцев орудия тянули огромные рыжие кони-тяжеловозы, перед которыми лошададки, на которых отступала Красная Армия, показались бы жеребятами. Фразу немедленно вычеркнули. Я доказывал, что в конце книги описываю, как немцы отступают на наших малорослых лошадачках, ибо их рыжие тяжеловозы передохли, не выдержав. На это Б. Полевой возражал «Пока читатель дочитает, он забудет начало, а в памяти у него останется лишь, что у немцев лошади были лучше, чем у нас». После отчаянных споров и всеобщих обсуждений фразу оставили в смягченном виде, но это было едва ли не единственное исключение.

О брошенном подбитом танке я, например, писал «Прекрасной игрушкой для деревенских детей был этот танк». Вычеркнули, изрисовав поля знаками вопроса и ругательствами оказывается, в этой фразе заключена страшная крамола - пацифизм. «Мы не бесхребетные пацифисты, мы не можем воспитывать у молодежи подобные настроения и неуважение к танкам».

Или я отважился высмеять негодные воинские повозки, которые, «храни Бог войны, ездить не годятся» — это уже вычеркивалось, как прямая антисоветчина, с какой-то патологической ненавистью. И что-то доказать, отстоять хоть единое слово — невозможно. Само собой разумеется, что такие главы, как «Людоеды» ли «Горели книги» перечеркивали одним взмахом, и о них даже речи не могло быть. В романе есть три главы под одинаковым названием «Горели книги» — сперва книги горят в 1937 году во время сталинских чисток, затем они горят в 1942 году при немцах, и наконец в 1946 году после вытупления Жданова. Была оставлена только средняя глава, как книги горят при немцах.

Я спорил отчаянно, доказывал, что критически описывал злоупотребления культа личности, которые ведь осуждены. Мне возражали так «Партия осудила достаточно. И нечего дальше об этом писать». А когда уж не было аргумента, то, при плотно закрытых дверях, многозначительно говорили мне «Они нам этого не пропускают, понятно?»

«Кто они? — спрашивал я. — Дайте мне с ними поговорить, вдруг сумею их убедить». Но существует правило никогда, ни при каких обстоятельствах не допускать контакта автора с профессиональным цензором. И сколько я ни пытался, так ни разу не смог увидеть таинственных «их» и не знаю их имен.

До неузнаваемости переделывались и все мои прежние работы, как и писателей, с которыми я был знаком. Мы старались читать произведения друг друга в рукописях, а не напечатанными, потому что разница — огромная.

Перед писателем в СССР эта дилемма стоит всегда либо вообще не печататься, либо печататься хотя бы то, что цензура позволила. Многие считают, что лучше донести до читателя хоть что-нибудь, чем ничего.

Я тоже так считал. Была у меня переписка с Солженицыным на эту тему, я рассказывал, как меня уродует цензура и как всякий раз, несмотря на отчаянное мое сопротивление, добывается своего, так что в свет выходят книги-уроды, которые мне самому становятся ненавистны. Он писал, что на разумные уступки цензуре идти можно и приходится, но — до известного предела, очевидно.

Когда я увидел, что из «Бабьего Яра» выбрасывается четверть особо важного текста, в смысл романа из-за



этого переворачивается с ног на голову, я заявил, что в таком случае печатать отказываюсь — и потребовал рукопись обратно.

Вот тут случилось нечто, уж совсем неожиданное.

Рукопись не отдавали. Словно бы я уже не был хозяином ее. Помните заявления Солженицына, что он не имеет никакого контроля над своими рукописями? Так вот, отдав рукопись редакторам, я не мог получить ее обратно. Дошло до дикой сцены в кабинете Б. Полевого, где собралось все начальство редакции, я требовал рукопись, я совсем ошалел, кричал: «Это же моя работа, моя рукопись, моя бумага наконец! Отдайте, я не желаю печатать!»

А Полевой цинично, издеваясь, говорил: «Печатать или не печатать — не вам решать. И рукопись вам никто не отдаст, и напечатаем, как считаем нужным».

Потом мне объяснили, что это не было самодурством или случайностью. В моем случае рукопись получила «добро» из самого ЦК, и теперь ее уже и не публиковать было нельзя. А осуди ее ЦК, опять-таки она нужна — для рассмотрения «в другом месте». Но я тогда, в кабинете Полевого, не помня себя, кинулся в драку, выхватил рукопись, выбежал на улицу Воровского, рвал, набивал клочками мусорные урны вплоть до самой Арбатской площади, проклиная день, когда начал писать.

Позже выяснилось, что в «Юности» остался другой экземпляр, а может и несколько, включая те, что перепечатывали для ЦК. Редакция позвонила мне домой и сообщила, что вся правка уже проделана, новый текст заново перепечатан, а мне лучше не смотреть, чтобы не портить нервы. Идя навстречу, Б. Полевой согласен проставить на первой странице «Роман печатается в сокращении». На это я написал письмо, что подам в суд. Но, подумав, понял, что суд найдет способ, как отказать мне, и при этом все будут говорить: «Что вам надо, ведь редакция сама заявляет, что публикует роман в сокращении».

Последнее как-то убеждало и меня, опять исходя из принципа «хоть что-нибудь». И может, люди, увидев сноску, начекаются, будут искать смысл между строк...

Переделанная без меня рукопись пошла в набор, прислали мне гранки, начал их читать, и у меня потемнело в глазах, точно помню, в прямом смысле.

Я еще не знал, что и это не все. Потом еще из гранок продолжали вырезать да переверстывать, что я обнаружил, лишь уже когда купил в киоске журнал.

И внизу была едва заметная, ничего не говорящая сноска «Журнальный вариант» вместо обещанной «Печатается в сокращении»...

К тому времени у меня был договор на издание романа отдельной книгой — с издательством «Молодая гвар-

дия». Оставалась еще надежда что-нибудь восстановить должна же «полная» книга чем-то отличаться от журнального варианта.

Сразу выяснилось, что издательство и слышать не хочет о добавлениях, наоборот, требует еще новых сокращений. Здесь началась история, возможная только в Советском Союзе.

Журнал «Юность» поступил за границу. И сразу во многих странах роман принялись переводить. Мне посыпались недоуменные письма переводчиков они не понимали многих мест.

Например, цензура досокращалась до того, что в главе «Профессия — поджигатели» не осталось поджигателей, ни намек, даже слова такого нет, а оставлено лишь несколько абзацев о том, как герой читает Пушкина.

Или вырезан парень с гармошкой, среди всеобщего отступления отрешенно играющий полечку, — но повторное упоминание о нем по недосмотру осталось, и оно совершенно непонятно без первого. Ругань деда Семерика в адрес советской власти, когда он называет ее порядки «кракамедией», вырезана, — и в другом месте непонятно, о каких «кракамедиях» дед снова говорит. И так далее.

Но, главное, переводчики запрашивали полный текст в отличие от журнального варианта, наивно принимая сноску «Юности» в прямом смысле и всерьез. Они посылали запросы официально через «Международную книгу». Ни я, ни «Международная книга» не знали, что им отвечать.

Наконец, где-то на верхах было решено снова обратиться к рукописи. С трудом удалось отобрать страниц 30 машинописного текста, которые вне контекста выглядели безобидно, и после великих трудностей, с поддержкой Иностранной комиссии Союза писателей, «Международная книга» исхлопотала штампы цензуры на каждой из страниц исключительно для доказательства иностранцам, что полный текст есть.

Но пока эти страницы кочевали по инстанциям со всей их бюрократией, заграничные переводы по выходили, и страницы со штампами цензуры опоздали.

Тогда я отнес их в «Молодую гвардию», это были главы «Профессия — поджигатели», «Осколки империи», «Миллион рублей» (но опять-таки сильно урезанные), несколько кусочков к другим главам. В издательстве долго не хотели их вставлять. Я доказывал: «Это разрешено даже для заграничных», мне возражали: «Для заграничных может быть разрешено, но это еще не значит, что разрешено для СССР». Потом решились вставить, но при условии, что и я смягчу в других местах и допишу идейно-выдержанные абзацы «для равновесия», содержание которых мне редакторы буквально диктовали, чтобы спасти книгу в це-

лом, я дописывал. Иногда читаешь хорошую книгу советского писателя — и вдруг натыкаешься на места, такие безвкусные, «идейные», что плюнуть хочется. Автор их дописывал, отлично зная, что они вызовут только недоумение и презрение читателя, но далеко не все читатели знают, что только такой ценой могло выйти в свет произведение. Особенно ярко это проявляется в книгах стихов. Они должны открываться стихами дежурно-идейными, которыми автор зарабатывает право поместить дальше уже и подлинную поэзию. Поэтому многие читатели начинают читать сборники стихов с конца, т.е. с лучшего.

Воевать за каждую фразу, торговаться, дописывать идейшину мне приходилось всегда. В СССР, с его иезуитским издательским делом, все запутано, сложно, любая книга обрастает наслоениями и зияет цензурными дырами. Издашь в журнале сколько сумеешь, потом в отдельной книге потихоньку что — то добавишь, а при переиздании еще чуточку, но вдруг меняется ситуация, и то, что легко проходило прежде, сегодня уже — страшная крамола, и наоборот.

И рукописи у меня существовали как минимум в двух вариантах главный — только для себя, глубоко запрятанный, для печати же предлагается смягченный.

«Ситуация» изменилась в СССР как раз во время выхода «Бабьего Яра» отдельной книгой. Компетентные люди мне говорили, что с книгой мне повезло, еще месяцем другой, и она бы не вышла. Книга вдруг вызвала гнев в ЦК ВЛКСМ, затем в ЦК КПСС, публикация «Бабьего Яра» вообще была признана ошибкой, переиздание запрещено, в библиотеках книгу перестали выдавать — началась новая волна государственного антисемитизма.

У меня, однако, оставалась главная рукопись. Я продолжал над ней работать, уже, так сказать, «для себя и для истины». Вставил обратно переработанные и улучшенные куски к Крещатику, Лавре, катастрофе, добавлял новые факты, причем теперь уже о цензуре не думал, и рукопись стала такой, что я ее дома не хранил. У меня во время отъездов делались обыски, а однажды неизвестно кем был подожжен и сгорел мой кабинет. Важнейшие рукописи были у меня пересняты на пленки, которые в железной коробке были зарыты недалеко от дома, а сами рукописи я зарыл в стеклянных банках в лесу под Тулой, где они, надеюсь, лежат и сейчас.

Летом 1969 года я бежал из СССР, взяв с собой пленки, в том числе и пленку с полным «Бабьим Яром». Вот его выпускаю, как первую свою книгу без всякой политической цензуры, — и прошу только данный текст «Бабьего Яра» считать действительным.

Здесь сведено воедино и опубликованное, и выброшенное цензурой, и писавшееся после публикации, вклю-

чая окончательную стилистическую шлифовку. Это, наконец, действительно то, что я написал. Но главные различия я решил сохранить, и вот зачем.

Для тех, кто этим интересуется, они могут дать представление об условиях, в каких выпускаются книги в СССР. Еще раз подчеркиваю мой пример не исключение, наоборот, он самый рядовой и типичный. Читая книгу советского автора, всегда делайте поправку на цензуру, мысль ищите между строк.

Далее, изуродованный цензурой текст «Бабьего Яра» печатался миллионами экземпляров. Людям, которые его читали, а хотели бы знать полный текст, достаточно будет прочесть в этом издании лишь то новое, что публикуется впервые. Тем более, что в выделенных текстах заключается главный смысл книги, ради которого она вообще написана.

Должен сказать, что выделить тексты было не так просто. Засчитывать ли, как выброшенное цензурой, то, что я сам сократил после того, как мне вернули первую рукопись с отмеченной «антисоветчиной» и советом никому не показывать? Нет, очевидно. Это была самоцензура, вынужденная, но самоцензура.

Потом я эти куски и переработал, и восстановил, но это уже мое дело, а подлинная цензура их не видела.

**РАЗЛИЧИЯ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ СДЕЛАНЫ ТАК:  
ОБЫКНОВЕННЫЙ ШРИФТ — ЭТО ВЫЛО ОПУБЛИКОВА-  
НО ЖУРНАЛОМ «ЮНОСТЬ» В 1966 Г.**

**КУРСИВ — БЫЛО ВЫРЕЗАНО ЦЕНЗУРОЙ ТОГДА ЖЕ.  
ВЗЯТОЕ В СКОБКИ — ДОПОЛНЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ В  
1967-69 ГГ.**

Автор  
Лондон, 1970 г.



Н. БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА

## ДРОБИ, МОЙ ПНЕВНЫЙ ЯМБ, КАМЕНЬЯ

*Американская трагедия Аркадия Белинкова*  
Глава из книги «Распря с веком.»<sup>1</sup>

Явные признаки несовместимости беглеца из СССР и его западных коллег были поначалу восприняты нами, как временные и легко преодолимые недоразумения.

Но они распространялись на все более широкие области, накапливались и постепенно перерастали в трагедию. Дело касалось не только академических, но и, неожиданным образом, дипломатических кругов,

Желая помочь Белинкову «обустроиться» в новых условиях, Светлана Аллилуева пригласила к себе Джорджа Кеннана<sup>2</sup> в то же самое время, когда гостили у нее мы. Встреча оставила горький осадок. Между дипломатом, бле-

<sup>1</sup> Публикуется с сокращением.

<sup>2</sup> Джорж Кеннан — бывший американский посол в СССР. Сыграл решающую роль в получении Светланой Аллилуевой политического убежища в Америке.

стящим и уверенным в себе, и эмигрантом, еще не освоившимся в новом мире, с первых же минут возникло напряжение. У каждого было свое мнение о России и о путях, по которым ей идти. К тому же Аркадий затронул «неприличную» тему: он придумал, как можно безопасным способом провозить самиздат на Запад и тамиздат в Россию — результат тщательного обследования спальных вагонов в международных поездах.

Со стороны это, должно быть, выглядело мелким жульничеством. Кто знает, как бы Кеннан отнесся к проекту Белинкова, если бы сам испытал голод по свободной литературе в тоталитарной стране? Не исключено также, что бывший посол пришел с уже предвзятым мнением, и скрываемое им недоброжелательство сковало Аркадия. Аллилуева рекомендовала его Кеннану как одного из умнейших людей России. В глазах последнего Белинков такой характеристики, по-видимому, не оправдал.

Пост полномочного представителя государства Израиль в год нашего бегства занимал Исаак Рабин, а пост пресс-атташе при посольстве — Наум Леванон.

Наум Иосифович Леванон, вашингтонский телефонный номер которого сохранился в старой телефонной книжке Аркадия, приехал к нам в Нью-Хейвен, едва только мы там обосновались, а потом бывал у нас довольно часто.

Едва начав преподавать в Йельском университете, Аркадий направился в Университет Джорджа Вашингтона, в столицу Соединенных Штатов. Там он прочитал публичную лекцию о литературных брожениях в СССР. За несколько дней, проведенных в Вашингтоне, Аркадий выступил в Институте советско-китайских отношений. Он говорил о методах подавления в Китае интеллектуальной оппозиции. В Ассоциации преподавателей русского языка участвовал в дискуссии на тему о литературе нравственного сопротивления. Побывал он и на «Голосе Америки», встречался с хозяином магазина русских книг Виктором Камкиным, познакомился с Борисом Филипповым, соиздателем многотомных собраний Мандельштама, Ахматовой и Гумилева. Всего не перечислить. Поездка со всеми ее встречами была организована заведующей

кафедрой Славянского отдела Джордж-вашигтонского университета Еленой Александровной Якобсон<sup>3</sup>. Нас надолго связала с ней искренняя дружба.

Первые же выступления Белинкова в Америке принесли ему славу блестящего оратора, но одновременно составили репутацию человека, не вписывающегося в среду либерально настроенных студентов и преподавателей. Его отношение к советской диктатуре слишком резко расходилось с их представлением о стране социализма.

Обладая острым политическим чутьем, Елена Александровна была достаточно твердой, чтобы не следовать академической моде своих либеральных коллег и всякий раз защищала Белинкова, не боясь войти с ними в конфликт.

Но предвидеть, где именно мы наткнемся на подводные камни, она, конечно, была не в силах.

В тот первый приезд в Вашингтон мы были приглашены на обед к специалисту по советским делам Абраму Брумбергу, сотруднику Информационного агентства США. Предполагалось, что у него в доме мы получили возможность встретиться с крупными американскими журналистами.

Аркадий отправился на эту встречу, хоть и с серьезными намерениями, но без особых иллюзий (опыт с Патришей Блейк в знаменитом «Тайме» его уже многому научил). Он не сомневался, что будет разговаривать на равных. Разговора на равных не вышло. На нас смотрели, как на выходцев с другой планеты. Когда разговор зашел о России, нас тотчас поставили на место.

<sup>3</sup> Елена Александровна Якобсон, автор нескольких учебников и пособий по преподаванию русского языка в свое время работала на радиостанции «Голос Америки», была организатором многочисленных конференций, собраний, встреч, была даже переводчицей первой леди — жены президента Никсона. О себе самой она рассказала в книге Helen Jakobson. «Crossing Borders. From revolutionary Russia to China, to America». Hermitage, N. J. USA 1994.

Через два года после кончины Аркадия Елена Александровна устроила в своем университете ежегодные «Белинковские чтения.» На первом чтении выступал известный деятель польского диссидентского движения, лауреат Нобелевской премии Чеслав Милош. В Славянском отделе университета ею была устроена «Полка Белинкова» маленькая библиотечка диссидентской литературы в СССР — самиздата, тамиздата и трудов западных специалистов на темы оппозиционного движения в социалистических странах.

«А чего вы, собственно, хотите? У вас же есть работа, которой вы зарабатываете на хлеб!»

В подобных случаях обычно взрывался Аркадий. В этот раз не удержалась — я. Взывая к справедливости, я что-то горячо и беспомощно восклицала. Защищая меня, Аркадий «включился с пол-оборота». Моя взволнованность подлила масла в огонь. Кое-как досидели до конца обеда и ушли опустошенными.

Шаг за шагом мы убеждались, что являемся безнадежными чужаками в том журналистско-издательском мире. Нам явно не положено было совать нос в чужие дела и давать им свои оценки. Но что было делать? Приходилось вгрызаться в новую жизнь, продолжать деловые отношения, зарабатывать деньги.

Примерно год спустя, Брумберг заказал Аркадию статью для своего журнала. И опять что-то повернулось не так. Память, к сожалению, не удержала ни названия статьи, ни журнала. Однако, сохранился черновик письма Аркадия, в котором он отказывался работать с Брумбергом: уж слишком его редакторские манеры напоминали советские. Письмо заканчивалось припиской: «С приятным воспоминанием о приеме-засаде, который Вы устроили в своем доме людям, только что пережившим разрыв со своей родиной».

Позже Брумберг, встречаясь с московскими интеллектуалами, с ехидной усмешкой будет самодовольно рассказывать о том, «как мы провалили Белинкова». Для него это была просто забавная история. У нас ломалась жизнь.

Все же американские специалисты, особенно из тех, кто ездил в СССР по обмену, обращались к Белинкову то за советом, то за нужным адресочком. Аркадий дорожил укреплением связей между старыми друзьями и новыми знакомыми. Мы так же старались посылать в Россию книги, теплые вещи. В редких случаях у нас брали письма. В этой скрытой от посторонних глаз деятельности Белинков (как и в случае с журналом «Тайм») выступал в роли человека-невидимки (либо по собственному выбору, а то и не по своей воле).

На приеме в университете штата Индиана к нам подсел тогда еще никому неизвестный Карл Проффер. Он

был необыкновенно мил и внимателен, Аркадий доверчив. Проффер, намеревавшийся вместе с женой ехать в Москву, получил от Аркадия адреса хранителей московских архивов, в частности, Елены Сергеевны Булгаковой. Вскоре Проффер создал крупное издательство «Ардис», успех которого начался с публикаций материалов из архива Булгакова.

...Один нью-йоркский журналист часто ездил в СССР. Он печатался в «Литературной газете», в то же время ухитряясь встречаться с оппозиционно настроенными писателями и диссидентами. В частности, стал своим человеком в доме Литвиновых.

Однажды он заехал к нам в Нью-Хейвен перед очередной поездкой в Москву. Мы быстро собрали посылку. Пока я ее заворачивала, он и Белинков успели схватиться на тему об ответственности западной и советской интеллигенции перед человечеством. (Что бы им поговорить о погоде!)

Мне в тот день надо было попасть на радиостанцию «Свобода», и я отправилась в Нью-Йорк вместе с нашим гостем; сначала ехали поездом, а последний отрезок пути — на сабвее. В сложной сети маршрутов нью-йоркского метро я еще плохо разбиралась и надеялась, что в крайнем случае спутник меня выручит. Начатый дома разговор продолжился. Я записала его по памяти и хочу здесь воспроизвести.

Я (передавая посылку): «Письма вам никакого не даем, чтобы не испортить вам жизнь в Москве».

Он (щеголяя знанием русского языка): «Добре!»

Я: «Пустяки писать нет смысла, а то, что вы не захотите передавать другое письмо, легко догадаться по вашим статьям».

Он: «Добре!»

Я: «Вот только Литвиновым: свитер Павлу, сумка Флоре, часы Тане».

Он: «Очень хорошо».

Объявляются остановки: «19-я стрит», «5-я авеню»

Он (пытаясь шутить): «Теперь мы по крайней мере будем знать разницу между авеню и стритами».

Я: «Да, в этом разобраться полегче, чем в настроениях американской интеллигенции».

Он: «Что вы имеете в виду?»

Я: «Любовь к некоторым системам, с которыми борются Синявский, Солженицын, Павел Литвинов».

Он: «А именно?»

Я: «К социализму, коммунизму, тоталитаризму, диктатуре».

Он: «Ну, где вы таких нашли? Кого вы имеете в виду?»

Я: «Вас!»

Он: «Зачем же так, вы же меня не знаете...»

Я: «Знаю, по вашим статьям в «Литературке».

Он: «А что... Я писал то, что думаю. Тане [Литвиновой] понравилось. Я писал, что здешние студенты анархичны и отклоняются от истинного марксизма. Если вы это имеете в виду, то я за марксизм».

Я: «Но ведь это смешно! Марксизм, который дает такие плоды, ведь давно изжил себя».

Он: «В том, что марксизм исказили, Маркс не виноват».

Я: «Неужели плоды марксизма вас ничему не научили?»

Он: «Нельзя же так все чернить. О марксизме здесь спорят очень серьезные люди».

Я: «Здесь спорят аргументами, а там — кровью, нервами, жизнью».

Объявляется остановка: «42-я стрит!»

Он (явно с чувством облегчения): «Ваша остановка...»

Я: «Счастливой поездки!»

Пусть этот журналист, когда-то бывший завсегдаем в Москве и Переделкино, останется неназванным. Отсутствие подлинного имени лишь выведет этот эпизод из частного случая в общую тенденцию.

Белинков отличался от своих коллег не только взглядами и методами исследования литературных явлений, но даже своим поведением.

К пяти часам дня американские профессора обычно покидали свои университетские офисы. На полуслове обычно прерывали свои начатые беседы, прощались с коллегами, и, как прочие американские бизнесмены, возвращались в свои чистенькие, белые дома.

Профессиональная жизнь кончалась, вступала в свои права жизнь частная. Иногда она прерывалась вежливой-

ми приемами, о времени и месте которых приглашенные уведомялись за месяц вперед соответствующими открытками. Состав гостей зависел от того, «принадлежали» вы или «не принадлежали». Белинков «принадлежал», но... не вписывался. К такой форме социального общения, как «Smalltalk» (умение говорить ни о чем), он оказался неспособен. В спорах Аркадий не умел быть беспристрастным. Для него литература была не просто профессией, но самой его жизнью. К сожалению, литература, которой он занимался, была связана с политикой. И за это он уже дорого заплатил. Он не мог после пяти часов вечера оставить часть своей личности за закрытой дверью офиса, для этого он был слишком цельным человеком.

Не сразу мы поняли, что страна, в которой мы волей судьбы оказались, жила по своим нормам жизни. На церемониях приема в Новой Англии говорить о работе, о делах, тем более о политике, считалось дурным тоном. Да и наши студенты, выслушав рассказы о том, как мы проводили наши вечера с друзьями в России (разговоры по душам о передачах иностранных радиостанций, обмен мнениями о том, что умалчивала цензура), удивленно восклицали: «Зачем же собираться? Чтобы говорить о неприятном?» Политикой, этим грязным делом, предоставлялось заниматься конгрессменам, сенаторам, обозревателям новостей и, конечно, президенту страны. Любая политика — это пропаганда! А «пропаганда» — ругательное слово. Специалист по советской литературе и пропаганда — вещи несовместимые. Над откровенным антисоветизмом Аркадия втайне насмехались. Мы не знали этого, но чувствовали себя не в своей тарелке.

«Почему, пока вы в России, вы все левые, а когда приезжаете сюда, становитесь правыми?» — слышали мы изо дня в день.

В Йельском университете составляли программы на следующий (1970-71) учебный год. К великому облегчению декана факультета Александра Шенкера, сменившего Виктора Эрлиха, Белинков добровольно отказался от продолжения семинара «Государство и писатель». Он предложил совершенно аполитичный (на первый взгляд) курс «Две-

надцать лирических стихотворений в русской поэзии», чему новый декан был несказанно рад. В ответ Белинков резко и темпераментно стал доказывать, что радоваться тут нечему, что русская литература никогда не была аполитична, что эстетские стихи Пушкина — это такие же политические стихи, что даже ритм русских стихотворений диктуется дыханием времени. И, цитируя блока, неистово кричал в трубку: «Дроби, мой гневный ямб, каменья!» (Разговор происходил по телефону.)

Между тем, иллюзия, что перенесенная Аркадием операция на сердце дала хорошие результаты, мало-помалу испарялась. Усилились и уже не прекращались боли в груди. Не хватало свежего воздуха, и теперь даже зимой он работал за письменным столом у открытого окна. Число студентов сократилось. Семинары были перенесены на дом. Они прерывались, если преподаватель оказывался в больнице. Но и из больницы он продолжал руководить своими дипломниками. Однажды врачи разрешили ему уйти «в отпуск». Аркадий прочитал лекцию в Колумбийском университете о методологии преподавания русской литературы и вернулся долеживать в больницу.

Причин, по которым Белинков не вписывался ни в университетскую, ни в журналистскую среду, было много, они сублимировались постепенно. Но кризис наступил сразу.

К весне 1970 года (конец учебного 69-70 года) атмосфера на кафедре резко переменялась. Репутация Белинкова (и как ученого, и как писателя) перестала играть прежнюю роль. Многочисленных блестящих лекций в университетах Америки как будто не было. Печатных работ и в СССР, и за рубежом как будто тоже не существовало. Бывшее членство в Союзе писателей, приравнивавшееся в СССР к кандидатской степени, во внимание уже не принималось.

Начались разговоры о том, что занимаемая Белинковым позиция временная. Роберт Найт уже не занимался нами так, как раньше, и не у кого было спросить, откуда была получена и куда уплывала белинковская ставка. Эрлих, принимавший нас на работу, давал весьма туманные объяснения. Возможно, что нам, как беженцам, была обеспече-

на только временная помощь из неизвестных нам «фондов» или государственных источников. Последнее в глазах американской интеллигенции и студентов считалось зазорным. Может быть, факультет хотел административно «очиститься»? Может быть, надо было избавиться от Белинкова из-за его «реакционных» взглядов? Может быть, он просто не оправдал возложенных на него надежд?

Для продолжения его работы в университете выдвигались все новые условия. Вдруг возникла необходимость обзавестись американской докторской степенью и для этого сдать соответствующие экзамены, написать диссертацию и, конечно, овладеть английским языком. Без выполнения этих условий, обязательных для каждого аспиранта, делающего первые шаги в избранной им специальности, т. е. без получения «PHD»<sup>4</sup>, контракт на работу не возобновлялся. Талантливейшему российскому публицисту и критику, имя которого не произносилось без восхищения, предлагалось принять участие в спектакле: «Сдача экзаменов на профпригодность».

Признаться, что вас выживают из университета, где вы в данный момент преподаете, невозможно. Вы начинаете искать работу в другом месте, а вам говорят: «Вы хотите уйти из Йеля? Да это лучший университет страны!» Тогда вы, в зависимости от географического нахождения другого места работы, пытаетесь как-то выпутаться, говорите, что мечтаете жить в большом городе с музеями и концертными залами или что врачи вам советуют уехать в глухую деревню на свежий воздух... Вам, конечно, не верят.

Вот тогда-то и полетели письма в Европу: на радиостанцию «Свобода», в «Институт по изучению СССР», друзьям в Восточную Европу. Аркадий писал их и в госпитале, и дома, в промежутках перед госпитализациями. Письма были деловые, отчаянные, шуточные. «В одной из газет я прочитал приблизительно следующее: «Колледж Св. Антония, Оксфорд, Англия, остро нуждается в преподавателях русской литературы, языка, истории и социологии. Низкая

<sup>4</sup> PHD (пи-эйч-ди) — американская ученая степень. Получивший эту степень в Америке называется «доктором». Советская ученая степень «Кандидат наук» здесь приравнивается к PHD.

квалификация претендентов не может служить препятствием для получения должности. Главное требование — сносное знание русского языка.»

Закончив цитату, почерпнутую из «Нового русского слова», Аркадий добавил: «Могли бы еще написать: «И не является полным идиотом» и тогда бедный университет, наконец получил бы полный преподавательский состав. Если главное достоинство претендентов это — невежество, то, может быть, и у меня есть некоторые шансы на получение должности в одном из лучших университетов. ...Конечно, нам хотелось переехать в Европу, и если для этого нужно утверждать, что «Кавалер золотой звезды» написал Лев Толстой, то я это сделаю не хуже профессора Джаксона из Йельского университета или профессора Терраз из университета в Пенсильвании или профессора Поплюйко из университета имени Джорджа Вашингтона».

Отсюда, по-видимому, и возникло представление о том, что Белинков «не полюбил Америку». Но ведь он выбирал не страну, а среду для своей деятельности, среду для творчества.

Казалось, что отдушина нашлась в университете штата Индиана. Там его уже хорошо знали по семинару о Солженицыне и готовы были принять на работу нас обоих, но, конечно, при соблюдении некоторых условий. Здесь тоже надо было создать видимость прохождения через аспирантуру, но в более «щадящем режиме», как выражаются врачи.

Вместо диссертации засчитывалась либо готовая книга об Олеше либо материалы к книге о Солженицыне (по выбору автора). Вместо экзамена предстояло собеседование «на равных». Английский язык? Достаточно было, что Аркадий им уже занимается. По этому поводу сохранилась переписка Белинкова с профессорами университета М. Фридбергом и Б. Эджертоном: «У нас, как и повсюду, еще не изжиты пережитки канцелярщины... описывать вам подробности докторской и магистратской программ (последняя — для меня. Н.Б.-Я.) почти неловко, так как в сущности вы наши коллеги, а не начинающие аспиранты. Другое отношение к вашим программам с нашей стороны было бы немыслимо, как для вас, так и для нас».

Как резко это отличалось от письма ректора родного Йельского университета: «Если Вы будете зачислены (в аспирантуру), вы будете обязаны выполнить все обычные условия, которые требуются от дипломников и аспирантов». Ни много, ни мало!

Но и в Индиане не все шло так гладко, как хотелось бы. Преподаватели, участвующие в программах по обмену с Советским Союзом, были явно обеспокоены. Если антисоветчики Белинковы станут их коллегами, то как бы не сорвалась университетская программа по обмену. Поездки в СССР — вещь, необычайно важная для карьеры.

К ректору обратилась с протестом целая делегация; в нее вошли, как нам сказали, знакомые нам люди: профессор Проффер и племянница того дяди Марка, который в первые дни предлагал нам денег.

А Аркадий пока действовал на два фронта. Продолжал просить ректора Йельского университета о допуске к экзаменам в аспирантуру и подавал бумаги в университет штата Индиана. О том, что в «спасительной» Индиане климат невыносим даже для здорового человека, мы тогда не подумали. Последние свои дни Аркадий тратил на сбор рецензий о своих работах, составление списков о прочитанных курсах, заполнение анкет.

Обоим университетам «повезло». Ни одному из них не пришлось ни увольнять Белинкова, ни отказывать ему в приеме на работу.

Аркадий чувствовал, что на последнем жизненном экзамене, который он назначил себе сам, он проваливается: побег оказывался безрезультатен, жертвы, принесенные свободе, бессмысленны. И еще был стыд: ему казалось, что его жизнь — так, как она сложилась в Америке, — компрометирует Запад его мечты. Как он боялся, что обо всем этом станет известно московским друзьям и знакомым!

Стало известно. Один из первых «легальных» эмигрантов третьей волны «привез» в Америку вопрос из нашей московской среды: «В чем же заключалась трагедия Белинкова?» Тогда я ответить на этот вопрос не сумела.

Позже, пытаясь разобраться в нем, вновь прибывший привел слова неизвестного мне агента ЦРУ: «Белинков

совсем не понимал американской интеллигенции и не был ею принят». (Разрядка моя. Н.Б.-Я.)

Сам Аркадий тоже хотел понять, что происходит. Он задумчиво повторял: «Они не плохие люди, они — другие». Принят — не принят. Само по себе его это не очень беспокоило. Беспокоило то, что «Олеша» еще не издан, трилогия еще не завершена.

Но издательские поезда двигались медленно. Книги его были длинными, с лирическими отступлениями, с литературоведческими обобщениями, с политическими обвинениями, с притчами, подтекстом, сарказмом и иронией. Переводить их было трудно. Второй план, который схватывался на лету в России, здесь был чужд, непонятен и потому, казалось, не нужен. Аркадию предлагали изменения: «смягчить», «сократить», «дотянуть», подстричь под общую гребенку, привести к общему знаменателю.

В январе 1970 года редактор русского отдела издательства «Doubleday» Лина Деминг прислала четыре страницы замечаний по рукописи «Олеши». Большею частью они были связаны с требованием убрать или сократить excursus в русскую историю, размышления о сходстве различных тиранических режимов, обращения к советской истории, параллели между СССР и Германией, цитаты из нацистских документов, а также атаки, как ей показалось, личного характера по адресу отдельных советских литераторов, в частности, «выдающегося советского критика Шкловского». Цитирование советской прессы тоже показалось ей ненужным и подлежало удалению. И, самое главное: *«Статистические данные, подтверждающие упадок советской литературы, являются бессмысленными для задного читателя. То же относится и к вкладу Олеши в этот процесс.»* (выделено мной. Н.Б.-Я.)

Спрашивается, что же оставалось от книги «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша»?

Подневольный писатель сумел напечатать в сибирском журнале «Байкал» то, что свободному человеку невозможно было напечатать в нью-йоркском издательстве «Doubleday».

Через четыре месяца Аркадия не стало. Вместо трех книг «Doubleday» решило было выпустить одну. Предпола-



галось, что в нее войдут отрывки из его книг о Тынянове и Олеше, черновики из книги о Солженицыне и мой краткий обзор современной литературы — эдакий Тянитолкай в разные стороны! Со мной даже перезаключили старый договор, что, казалось, говорило о серьезных намерениях издательства. Но вскоре кто-то «опомнился». Договор был расторгнут еще до предоставления рукописи.

Были свои проблемы и с русскими изданиями. Сотрудница издательского отдела радиостанции «Свобода» уговаривала Аркадия издать у них его книгу о «Тыняеве» (это не опечатка!) в объеме двухсот страниц. И такой книжечке предстояло быть заменой исправленного и дополненного третьего издания, подготовленного автором для «Советского писателя!» Во втором издании «Юрия Тынянова» было 635 страниц. В третьем, набор которого был рассыпан после нашего бегства, должно было быть около тысячи.

Но больше всего трудностей возникло со «Сдачей и гибелью советского интеллигента...» Об издании этой книги на русском языке Аркадий вел переговоры с издательствами: «...фонда Герцена», «Fink Verlag», «Moliton». Переговоры затягивались. Снова все упиралось в объем.

Еще сложнее дело обстояло с Народно-Трудовым Союзом, издававшим журналы «Посев» и «Грани». Там готовы были напечатать всю книгу, но с тем только условием, что на титуле будет помещена логограмма «НТС». Возникла щекотливая переписка. Хотя Аркадий и делал издательству комплименты: «НТС — единственная серьезная политическая антисоветская организация», он все же не хотел, чтобы ее логограмма украшала его книгу.

«Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» долго оставалась рукописью. Когда я начала хлопоты по ее изданию уже после кончины Аркадия, я получила совет профессора Чижевского, переданный мне Виктором Франком: издавать книги размером не более двухсот страниц. В рукописи «Олеши» их тоже было около тысячи.

«Русского Олешу» удалось выпустить в свет только в 1976 году в Испании не без помощи издательского отдела «Свободы» (часть тиража за мой счет, подготовка к печати, предисловие — мои). Книга напечатана в русской типографии Алек-

сея Владимировича Ставровского в Мадриде. В Испании печать и бумага были дешевле, чем в США. Второе (сокращенное) издание «Олеши» вышло в Москве в 1997 году.

Через год после побега Аркадий понял: ему не преодолеть пропасти, отделяющей его от «либеральной» интеллигенции Запада. Может быть, из Америки надо бежать? Позади Россия, Польша, Чехословакия. Куда? В Югославию!

Завязывается переписка с югославскими литераторами<sup>5</sup>.

«Я не могу тосковать по своей родине: больше ее нет и не будет. Но я могу позволить себе счастье отчаяния тосковать по близкой земле» (Аркадий Белинков).

«Диапазон и потенциал Вашего духа слишком широки и глубоко для югославских масштабов. Люди Вашего калибра и в Югославии — «внутренние эмигранты», они действуют в международном плане — пишут за границей, а живут в Югославии, так как их родина в Югославии. Но вы не южный славянин, почему Вам ехать и работать в такой глуши? С другой стороны, все-таки ясно, что для вас Америка тоже не подходит» (Далибор Брозович).

«Вы и Ваши друзья возвращаете меня в атмосферу привязанностей и интересов, с которыми я прожил всю жизнь и от которых отказаться я не смогу никогда» (Аркадий Белинков).

«Мы все, кто помнит Вас и имели счастье слушать Ваши замечательные выступления и читать Ваши выдающиеся труды, счастливы и рады, что увидим Вас снова в нашей стране. Не скрою от вас, что в наших кругах, как научных, так и политических, некоторые высказывают взгляды, что прибытие в Югославию такого известного человека, как Вы, сопряжено с небезопасностью лично для Вас со стороны советской полиции и вызовет серьезные трения между югославской и советской стороной, чего наши функционеры считают нежелательным» (Милон Добрович).

«Я мог бы принести некоторую пользу Вашей стране, а для меня это значит и своей» (Аркадий Белинков).

«Здесь (в Америке) пропадете непременно. У Вас нет иммунитета к Западу. Вам надо жить одной ногой в славянском мире. Для Вас самое лучшее было бы жить и работать в Вене, приезжать часто, хотя бы и только в Югославию, и

<sup>5</sup> Ниже приводятся выдержки из писем из личного архива Белинкова.

уезжать, когда угодно, с западным паспортом в кармане. В Вене — хороший университет... Вас возьмут, как только им дадите намек...» (Далибор Брозович).

«Я не ответил сразу же, потому что на следующий день должен был встретиться с Фрицем Франклом и корреспондентом ТАНЮГ Богоевичем. Это была очень дружеская, очень неофициальная и очень откровенная встреча. Я думаю, что понял правильно этих людей: трудности положения Вашей страны исключают, по крайней мере сейчас, мое официальное пребывание там и, в частности, получение политического убежища (на что я смотрю, как на самый отдаленный пункт всей программы)» (Аркадий Белинков).

Переписка оборвалась и не возобновилась.

Через несколько недель Аркадий перенес операцию на сердце. Трудно сказать, продлила она его жизнь или сократила. Ему суждено было остаться в Америке еще на год и бросить вызов либеральному мнению о том, что государственный строй тоталитарной страны во многих отношениях прекраснее демократического.

В сентябре 1969 года во Франции в Ментоне происходил Конгресс ПЕН-клуба. На повестке дня был вопрос о положении писателей в СССР. Только что ставши членом международного клуба (секция «Русские писатели зарубежья») Аркадий Белинков обратился к Конгрессу с открытым письмом «Западная интеллигенция, советская оппозиция и свобода, которой угрожает смерть», выступая не столько против притеснений интеллектуальной свободы в Советском Союзе, сколько против западных либералов, непомерные восторги которых от «успехов и достижений» страны советов, неминуемо делают из них пособников тоталитарного режима.

Под письмом стоит двойная дата: 27 июня 1968 года — 10 сентября 1969 года. Первая — день, когда мы приземлились в международном аэропорту имени Кеннеди. Последняя — день, когда обращение было закончено.

О причинах недовольства западным образом жизни и заигрывания интеллигенции свободных стран с советским руководством (или наоборот, советского руководства с западной интеллигенцией) высказались и другие русские литераторы, те, что на себе испытали ограничение творческой свободы по-советски и в 60-е годы сумели перебраться на Запад.

«На Западе есть множество людей, недовольных по тем или иным причинам жизнью. Против правительств, претив существующих гнилых государственных институтов бунтует их гордый дух. Они бичуют, протестуют, разоблачают, они «глаголом жгут сердца людей». Они придерживаются разных взглядов, но все они с удовольствием называют себя левыми.

Эти люди видят в своих странах только темные стороны, только скверные, отталкивающие явления. Но если так, то должен же быть где-то другой, светлый полюс. С целью его отыскания они едут на месяц в Советский Союз и возвращаются в полном восторге»<sup>6</sup>.

«Советский Союз — фашистская страна. А на Западе все толкуют о каком-то диалоге с этим миром, о каких-то надеждах на либеральные преобразования в СССР, о каком-то коммунизме с «человеческим» лицом.

И вот воспитанные среди западной демократии, некоторые писатели приезжают в СССР, сразу же получают полный комплект потемкинских деревень, деньги, водку, икру (которой, кстати, сами русские не видят) — и растаивают от удовольствия. С ними работают сотрудники КГБ, а они ведут с ними «диалоги»<sup>7</sup>.

С письмом Белинкова в ПЕН-клуб повторилось то же, что и с письмом в Союз писателей СССР. Оно не было оглашено, не было напечатано в свободной западной прессе (кроме одного журнала, немецкого «Ориентирунг»<sup>8</sup>) и валялось на столе Конгресса вместе с другими второстепенными материалами «для ознакомления».

В первоначальном варианте письмо опубликовали только в русской зарубежной прессе<sup>9</sup>, где оно получило неожиданное освещение и вызвало широкое обсуждение. С лихвой возместив молчание западных газет, полемику начал критик, давно известный в русской эмиграции. Он громко возмущался тем, что Белинков «тянет всех иностранцев

<sup>6</sup> Л. Владимиров. Западные либералы и СССР. — «Зарубежье» № 4, 1969.

<sup>7</sup> А. Кузнецов. Обращение к ПЕН-клубу. — «Зарубежье», № 12, 1969.

<sup>8</sup> «Ориентирунг». № 258, июнь 1970.

<sup>9</sup> Аркадий Белинков «Западная интеллигенция, советская оппозиция и свобода, которой угрожает смерть». «Новое русское слово» 16, 17, 18 сент. 1969; «Зарубежье» Мюнхен, № 12, 1969; «Письмо А. Белинкова конгрессу ПЭН-клуба». «Посев» июнь 1970.

под свою «стену плача»»; рьяно отстаивал право западной интеллигенции на выбор любой идеологии, включая марксистскую; отвергал необходимость поддержки оппозиции в СССР и заканчивал сногшибательным заключением: *«Для советских людей остается только один путь к освобождению, но он ведет не через заграничные ПЕН-клубы, а через советские каторги и тюрьмы... — и, обращаясь к автору письма, — терновому венцу полагается быть на голове, а не в петлице»*<sup>10</sup> (выделено мной. — Н.Б.-Я.)

Один из авторов «Нового русского слова» нашел, что к концовке статьи Рафальского только и остается, что прибавить: «Крови, Яго, крови!»

Сам Аркадий ответил критику через редактора газеты. М.Г.Г. Редактор!

В статье «Путь к освобождению» С. Рафальский призывает меня бороться с советской властью «не через заграничные ПЕН-клубы, а через советские каторги и тюрьмы».

Я не думаю, что этот путь единственный и лучший.

Я пришел к этому заключению не сразу. Перед этим мне пришлось просидеть тринадцать лет в советских тюрьмах и лагерях. Теперь я пробую другие способы борьбы с советской властью. В изгнании они бывают не менее трудными, чем в России, но я надеюсь, что здесь они будут более плодотворны.

Письмо в ПЕН-клуб передавали по «Би-Би-Си», «Голосу Америки», «Свободе», оно распространялось в самиздате, и о нем расспрашивал А. Д. Сахарова заместитель Главного прокурора СССР Маляров. «Я считаю Белинкова выдающимся писателем-публицистом. В частности, я высоко ценю его письмо в ПЕН-клуб, в котором он протестует против притеснений интеллектуальной свободы в Советском Союзе», — ответил Андрей Дмитриевич.

Лет через двадцать после того, как мы вступили на землю Соединенных Штатов, Союз Советских социалистических Республик был назван «империей зла». Берлинская стена пала. СССР распался. Западная либеральная интеллигенция продолжает упорствовать в своих заблуждениях. Говорили, что Белинков не был готов к Западу. Может быть, Запад не был готов к Белинкову?

<sup>10</sup> Сергей Рафальский. «Путь к освобождению», — «Новое русское слово», 29 сент. 1969.



А. БЕЛИНКОВ

## СВОБОДА, КОТОРОЙ УГРОЖАЕТ СМЕРТЬ

В литературе так много легких вещей, что их уже и не хочется делать.

Не стоит сравнивать глаза женщины с бирюзой, а с жемчугом — зубы.

В прекрасном курортном городе Ментоне, расположенном в 2877 километрах от Москвы, легко выражать неодобрение Союзу писателей СССР за то, что он не защищает своих членов. Это легко и безопасно и, может быть, даже нужно, если приходится выбирать лишь между неодобрением и равнодушием.

Гораздо труднее, и безусловно более необходимо, в этом курортном городе сказать людям, которые считают себя гуманистами и либералами, что они пособники секретарей правления Союза советских писателей и палачей и что их пособничество привело к гибели Мандельштама и Цветаевой, сговору Сталина с Гитлером, расстрелу венгерского восстания, травле Пастернака, суду над Синявским и Даниэлем, оккупации Чехословакии, трагедии Со-

Полное название письма Аркадия Белинкова в ПЕН-клуб: «Западная интеллигенция, советская оппозиция и свобода, которой угрожает смерть»

лженицына. Это вы вместе со своими советскими товарищами по перу обожествляли Сталина, это вы вместе с советскими прокурорами обвиняли на процессах 37-го года, это вы пишете о том, что писатели, бежавшие из советского застенка» — шкурники.

Люди, которые убили Мандельштама и Бабеля, Пильняка и Цветаеву, делают свое дело, потому что они советские коммунисты, и их делу не следует удивляться, как не удивляемся мы делу хорька, который душит ни в чем неповинные и беззащитные существа. Отвратительное животное нельзя ни перевоспитать, ни исправить, ни научить нравственности. Его нельзя порицать, его нужно уничтожить.

Гораздо хуже то, что мы не можем перевоспитать, переубедить и заставить задуматься людей, которые сами неповинных и беззащитных существ не душат, но уверяют нас, что в определенные эпохи это, увы, исторически неизбежно. Еще труднее заставить опомниться тех, кто вообще удушение категорически осуждают, но клянется, что если бы пришли другие, более образованные и молодые хорьки, то они Осипа Мандельштама и Марину Цветаеву ми за что бы не задушили. Нас просят, нас умоляют подождать, когда придет образованный и интеллектуальный, слушающий Би-Би-Си и имеющий диплом Московского государственного университета подлинный советский хорек.

Подпрыгивая от заложенного в них гуманизма, эту концепцию на разные голоса излагают некоторые советские и многочисленные западные интеллигенты.

В связи с озадачивающей оригинальностью аспекта возникают разнообразные вопросы, из которых я считаю важным выделить более академический: какой дурак лучше?

Я спрашиваю вас: какой дурак лучше — советский или американский (французский, голландский, мадагаскарский)?

Хорошо. Я отвечаю на этот вопрос вместо вас, и, поверьте, не только как патриот своей великой советской родины, но главным образом как человек, стремящийся только к подлинно научной истине: советский дурак лучше.

Он лучше потому, что страстно, самоотверженно хочет стать умным, но на его пути стоит неумолимый социально-экономический процесс. Ему гораздо, просто неизмеримо труднее быть умным, чем американскому дураку, которому созданы все условия для самоусовершенствования и который пренебрежительно отворачивается от них. Роковая безвыходность состоит в том, что американский дурак может быть умным, но из высших

соображений не хочет, а советский не может. Советский дурак обречен, потому что его надежда на исправление советской власти вызвана тем, что практически он не может получить надежную информацию, которая опровергла бы безумное заблуждение. Американский дурак может. Он хуже советского, потому пренебрегает информацией, которой от него не прячут, либо плохо понимает ее, либо не доверяет ей.

В то же время советским дураком быть выгоднее, чем американским; глупость может сохранить ему жизнь, а при удачных обстоятельствах даже выстроить дачу.

В Советском Союзе на глупость можно выстроить дачу, а в Америке нет.

Вы не доверяете этой информации? Напрасно. Каждый человек в Советском Союзе, обладающий хоть крупицей ума, понимает всю противоестественность, бесчеловечность, бессмысленность этой власти, а за такое понимание в моем отечестве вместо дачного участка дают участок на лесоповале недалеко от города Потьма (Мордовская АССР). Многие советские писатели выбирают дачный участок в Переделкино. Сейчас пойдут некоторые дефиниции. Известная часть жителей Переделкина переезжает туда не только потому, что обладает наиболее распространенной и наименее социально опасной формой глупости — отсутствием ума, но потому, что обладает другой и гораздо более опасной формой глупости — лицемерием. Лицемерие это такая форма, когда советский писатель все очень хорошо понимает, но пишет о том, как прекрасна советская власть.

Для того, чтобы вам стало ясно, почему так стимулируется советский дурак, я расскажу вам случай, который некоторым из вас может показаться занимательным, а другим — не лишенным обобщающего значения.

Через несколько месяцев после смерти Сталина и через несколько дней после расстрела Берия нас, заключенных 9-го Спасского отделения Управления Песчаного лагеря КГБ СССР, согнали на поверку и заместитель начальника лагерного отделения по политработе капитан Ветров закричал:

— Партия и правительство идут навстречу пожеланиям; кто будет хорошо работать, того будем хоронить в гробах.

До этого хоронили иначе: бирка к ноге.

Я рассказал вам этот занимательный эпизод не в жанре «картинки быта и нравов», а для обобщения.

Это — эпиграф ко многим институтам Советского Союза и даже к такому ответственному, как взаимоотношения государства и общества.

Общество должно отдавать советскому государству все; назад получает оно немного: кто хорошо работает, того хоронят в гробах. И общество старается работать хорошо. Особенно интеллигенция. Для того, чтобы хоронили в гробах, она пишет подлые романы и романсы, ставит спектакли, снимает фильмы, создает концепции и межконтинентальные ракеты.

Тем, кто не хочет писать романсы и создавать концепции для этого государства и в формах, которые требует это государство, привязывают бирку к ноге.

Гробы в Советском Союзе имеют разнообразную форму. Для особенно выдающихся они приобретают форму вышеописанных переделкинских дач, автомобилей и государственных лупанаров.

Гробы американских (французских, голландских, мадагаскарских) интеллигентов имеют другую форму и несут иную функцию.

Американский (голландский, мадагаскарский) интеллигент чаще всего нахваливает советскую власть и уверяет, что она с каждым днем становится все лучше, не за дачу в Кейп Коде. Дача в Америке стоит недорого, и в конце концов ее можно купить, не деля гадость, а заработать, правдиво описав бензоколонку. Разнообразие гробов и изощренность их использования в современном мире, переживающем неслыханные социальные и невиданные психологические катаклизмы, часто таковы, что явному предательству они придают форму благородного стиля.

Почему Сартр нахваливает советскую власть? Потому что ему не нравится система французского образования, ханжество буржуазии, не одобряющей его неоформленный законом брак, и реакционные тенденции V республики. И когда он спорит с Французской Республикой, он приводит в доказательство Союз Советских Социалистических Республик. Когда же Советский Союз делает что-нибудь неприятное (сажает писателей в тюрьмы, развязывает войны и преследует евреев), то Сартр обижается на него. И это можно понять: ведь даже Сартру очень трудно выдать оккупацию Чехословакии за освобождение человечества от мрака средневековья. И тогда он снова получает дивиденд: он порицает великую прогрессивную колониальную державу и, таким образом, выигрывает в объективности.

Все, что я говорю здесь, обращено против интеллигенции, которая называет себя «либеральной», потому что осуждает несовершенства западной демократии и приветствует бурные успехи социалистического строитель-

ства. В прошлом такая интеллигенция называлась иначе: монархической, обскуранткой, реакционной и профашистской. На моей родине эту интеллигенцию мы считали более отвратительной и опасной, чем собственных налетчиков на нашу свободу.

Положение либеральной западной интеллигенции, конечно, сложнее, чем это кажется советской оппозиционной интеллигенции. Сложность заключается в том, что она выполняет сразу две функции: либеральную и реакционную. Ее роль в собственной стране чаще всего действительно прогрессивна, но борясь за прогресс у себя, она обращается к союзу с самой отвратительной реакцией, которую когда-либо создавала щедрая на злодеяния всемирная история. Эти союзы либеральной интеллигенции нужны для победы в ее собственной борьбе. И она борется за свою демократию, как она ее понимает. И ничего больше ее не интересует. И поэтому Россия, наша кровь, наше горе, горечь и смерть для нее значения не имеют, и Россия привлекается лишь как доказательство в споре, для доказательства и победы.

Нужно понять, что скорбные фразы о печальной судьбе России, произносимые либеральной интеллигенцией Запада озбоченным голосом, — лицемерие и выполнение обязанности по демократическому амплу. Упомянутую либеральную интеллигенцию не интересуют ни судьбы России, ни, возможно, и окружающее ее мироздание. Эту часть человечества занимают преимущественно только ее собственные тревожения и сложнейшие перипетии различных частей собственной души.

По нынешним обстоятельствам на идеологическом рынке для получения прибыли выгоднее презрительно отворачиваться от западной демократии и с энтузиазмом приветствовать освежающую новизну молодого мира. У этой концепции давняя традиция, начатая Тацитом и продолженная Габриэле Д'Аннунцио, Кнутом Гамсуном, Луи Селином, Максимом Горьким и многими другими нашими братьями по перу, приветствовавшими, кто германцев, кто фашистов, кто нацистов, кто коммунистов.

Вы, конечно, плюете на наши заботы, и мы, конечно, тоже не посыпаяем головы пеплом из-за ваших бед. Но никто из вас ни об одной из своих забот не может сказать, что она угрожает человечеству рабством или уничтожением. А мы можем. Это не ваши реакционеры уничтожили миллионы людей в своей стране, захватили треть Европы, половину Азии, четверть Африки и часть Америки. Никому из ваших реакционеров не удалось уничтожить национальные культуры, вытоптать свободу, запереть на замок еще недавно свободные страны, де-

портить народы. А нашим реакционерам это удалось, и в этом помогаете им вы.

Речь идет о жизненно важных вещах: о взаимоотношениях советской оппозиции и западной интеллигенции. Это жизненно важно, потому что советскую оппозицию физически уничтожают, и помощь она может принять не от генералов, а от интеллигентов. Эти взаимоотношения — советской оппозиции и западной интеллигенции — очень сложны, и сложности возникают не только от недоразумений и непонимания. Это не вы, это мы защищаем свободу, погибая в лагерях, уходя в изгнание, обрекая себя на голод, страдания и смерть. А вы убеждаете нас в том, что советская власть вообще не так плоха, а в ближайшие дни станет еще лучше. Мы говорим с вами, как с людьми, которые предали нас.

Слезы обиды, обиды либеральных, добрых людей, у которых есть дети, книги, а у некоторых даже Ленинские премии мира, слезы обиды забрызгали мой письменный стол. Это мы не знаем, но вы-то знаете, что сделали столько добра нам: вздыхали по Синявском и Даниэле, со всей резкостью сказали «Руки прочь от Чехословакии (и Вьетнама)», писали, что Солженицына надо издавать в Советском Союзе, потому что от этого советской власти будет только одна польза. Многие из вас никогда не скрывали, что с искренним уважением, а некоторые даже с любовью относятся к либеральной советской интеллигенции. Это может подтвердить Евгений Евтушенко, которого вы так тепло принимали в трудный для него час появления крайне неприятной заметки о его стихотворении в газете «Вечерняя Москва».

Увы, я должен вас огорчить. Я не хотел этого, не хотел. Случалось ли вам полюбить женщину, которая вас не любила?

Решающая причина, по которой прогрессивная интеллигенция СССР, та интеллигенция, которая борется с советской властью, с неприкрытой враждебностью относится к интеллигенции Запада, которая называет себя «либеральной», заключается в том, что советская интеллигенция, та, которую сажают в тюрьмы, которой не дают говорить и писать, борется со своими врагами — советскими диктаторами, а западная интеллигенция, которая называет себя «либеральной», ездит к этим врагам в гости, обменивается с ними рукопожатиями, повторяет их ложь и разрушает ту демократию, которая кажется им недостаточно совершенной и которая для оппозиционной советской интеллигенции является недосягаемым идеалом.

Мне пришлось многое пережить, прежде чем я преодолел эту враждебность и постарался увидеть и иногда действительно видел среди западных интеллигентов искренних и серьезных людей, чья неосознанная трагедия в том, что они в ожесточении борьбы со своими врагами не замечают, как оказываются союзниками преступников.

Разговаривая с западными интеллигентами, я часто слышу слова сочувствия к своим друзьям в Советском Союзе. Но никто из моих друзей не просил передать этим сочувствующим благодарность. Женщина, которую вы полюбили, с презрением и скорбью отворачивается от вас.

Вы и советская свободолюбивая интеллигенция боретесь против разных врагов. Советские интеллигенты борются против советского фашизма, а вы — против демократии. То, что вы называете более совершенной формой общественного устройства, в реальной истории обращается фашизмом разных цветов, сейчас с преобладанием красного.

Нет, самая несовершенная демократия лучше самого хорошего фашизма.

Я говорю уже довольно долго и сказал много неприятных слов — фашизм, предательство, стоны расстреливаемых, — и еще не произнес и слова о застенке, из которого только что вырвался и который литературно образованные люди художественно называют Союзом писателей СССР. Я и дальше не собираюсь о нем рассуждать. И не только потому, что на этом собрании беседуют об искусстве слова, а не о том, как советская литература много делает для истребления человечества, но потому, что западная интеллигенция и про Союз писателей и про истребления знает еще лучше советской, поскольку она читает статьи господина Солсбери в оригинале. Я вижу свой долг не в обнажении язв советской власти, а в том, чтобы одним западным интеллигентам показать, как гнусны другие западные интеллигенты, предающие сначала свободу моей родины, а потом и своей.

Что действительно прекрасно в западной либеральной интеллигенции, так это ее поэтическое бескорыстие и непрактичность: она не откладывает про черный день, она не рантье, чтобы делать социальные сбережения и вообще заботиться о будущем своем собственном и остальной части человечества, которое тоже кое-что стоит. Прелестная в своем легкомыслии так называемая либеральная интеллигенция Запада очаровательно не понимает, что если она ошибается, то, увы, навсегда, на-

всегда. Она не понимает, что советскую власть нельзя попробовать, а если не понравится выплюнуть, В сущности, либеральная интеллигенция Чехословакии в феврале 1948 года так и хотела сделать, но, как мы теперь знаем, так и не выплюнула.

Что касается Соединенных Штатов Америки, Объединенного Королевства, Франции, Новой Зеландии, Гренландии и Лапландии, то в этих странах кадры либеральной интеллигенции формируются из людей, научно или художественно занимающихся Советским Союзом.

При тщательном изучении процесс формирования названных кадров представляется так:

Кто занимается Советской Россией? Русисты. Чье мнение о России авторитетно? Русистов. Где черпают русисты свои сведения о России? В России. Каких русистов пускают в Россию? Хороших. Какие русисты хорошие? Те, которые любят советскую власть.

Любя советскую власть и стараясь помочь советским хорякам, они говорят, что у американцев дома гораздо больше забот, чем на Луне, и что ботинки Нила Армстронга слишком дорого обходятся налогоплательщикам, в связи с чем дети Черной Африки и старики Юго-Восточной Азии голодают. Юрий же Гагарин самоокупается, и народы Советского Союза расцветают под сенью стратегических ракет класса «Земля-Земля», а советские писатели, бегущие на Запад — шкурники.

Все это совершенно очевидные, во всех странах одинаковые интеллигентские непотребства, и в этом смысле западные интеллигенты мало чем отличаются от своих советских коллег. Только таких на моей родине мы никогда не называли «либералами».

Знаете ли вы, интеллигенты Запада, что и вас советская власть уже перевоспитала? Что и вы, приехав в гости к советской власти, или еще хуже, готовясь к поездке, уже ведете себя как перевоспитанные? Как своих, кто плохо себя ведет, советская власть не пускает за границу, так и вас, если вы плохо себя ведете, она не пускает к себе. И как советские, уже хорошо воспитанные интеллигенты, так и вы, западные, ведете себя хорошо, чтобы вас пускали. А если кто-нибудь у себя в Нью-Хемпшире вел себя плохо, то его сначала пустят, а потом посадят. Следующий приезжающий будет хорошим. Это не все. Советская власть держит вас в страхе, как держит она и своих. Попробуйте попросить кого-нибудь из наших дорогих коллег провезти книгу или позвонить в Москве кому-нибудь из друзей, и вы увидите такие же испуганные глаза ливерпульца, какие я еще недавно видел у хабаровца.

Для перевоспитания западной интеллигенции советская власть применяет те же методы, что и для своей: страх и подкуп.

Бирку к ноге привязывали лучшим русским писателям Есенину, Мандельштаму, Бабелю, Цветаевой.

Это делали простые советские люди: прокуроры и судьи, секретари ЦК партии и секретари правления Союза писателей, университетские профессора и учащиеся средней школы.

Теперь к ним присоединяется либеральная интеллигенция Запада.

Либеральная интеллигенция Запада старательно и с увлечением трудится над изготовлением для еще свободной части человечества бирки к ноге.

Из наиболее старательно вычерчивающих, строгоющих и полирующих бирку следует назвать Лилиан Хелман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра, Джеймса Олдриджа, Вильяма Стайрона.

В связи с тем, что попрание гуманизма и идеи свободы осуждается пунктом III Хартии П.Е.Н, призывающей «бороться за идеалы всего человечества», я предлагаю Лилиан Хелман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра из состава ПЕН-клуба исключить.

И на основании пункта IV, который провозглашает свободу печати и борется с «произволом цензуры в мирное время», принять в ПЕН-клуб самых достойных русских писателей, борющихся за освобождение людей от тирании: А. Марченко, А. Синявского, Ю. Даниэля, А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, И. Бродского и А. Солженицына.

\*\*\*

Нельзя обличительной статьей французского писателя или английского публициста остановить шестисотпятдесятитысячную армию, оккупирующую Чехословакию. Но вы должны понять, что, если из 90 строк советского сообщения от 22 августа 1968 г. об оккупации Чехословакии 68 строк посвящены идеологическим мотивам (нападкам на радио, телевидение и журналистов), то из этого с несомненностью следует, что вопросы идеологии являются для Советского Союза решающими, и с такой же несомненностью следует, что люди другой идеологии для Советского Союза опасны.

Люди, собравшиеся на Конгресс писателей в курортном городе, далеко не всегда производят впечатление идеологических противников советских прокуроров, сек-

ретарей, палачей. В лучшем случае они производят впечатление людей, которые считают, что советские руководители действительно иногда допускают грубые ошибки, которые другие советские руководители, более молодые и интеллигентные, никогда бы себе не позволили. Это курортная социология.

Трагедия России в том, что советская власть, если бы и захотела, то не смогла бы сделать добро. Она даже попробовала его сделать. Немного, но все-таки попробовала весной и летом 1956 года. А потом перестала. И не могла не перестать. За 52 года своего существования она причинила людям столько зла и страданий, что люди уже не могли считать себя удовлетворенными только тем, что оставшихся в живых выпустили из тюрем, еще не посаженных не посадили, злодеяний Сталина обещали не повторять и стали печатать стихи Евтушенко. Трагедия России в том, что если бы она не посадила Синявского и Даниэля за печатание своих книг за границей, то за границей стали бы печатать свои книги десятки писателей, а если бы она не разогнала два десятка человек, вышедших с лозунгом на Пушкинскую площадь, то через два дня на Пушкинскую площадь пришло бы две тысячи протестантов. Она хорошо понимает, что если бы не расстреляла венгерское восстание, не подавила бы чехословацкую демократию, то она оказалась бы без Восточной Европы. Если бы она не сажала украинских националистов, прибалтийских сепаратистов и крымских татар, то рассыпалась бы гигантская империя. И люди, вышедшие на Пушкинскую площадь, печатающие свои книги за границей, распространяющие рукописи в самиздате, могли бы сделать то же, что сделали такие же люди в Чехословакии, а в Чехословакии первое, что они сделали, это лишили палачей власти. Советские палачи не хотят, чтобы их лишили власти, и они хорошо понимают, гораздо лучше, чем западные интеллигенты, что такую власть они могут сохранить только такими методами. Трагедия России в том, что советская власть демократической быть не может, а перестать быть советской властью не хочет.

Интеллигентская оппозиция России раздавлена. Внутривластная борьба остается. Поэтому Россию ждут государственные перевороты, которые совершат сильные личности. Но сильные личности совершают государственные перевороты не во имя демократии. Могут уничтожить Брежнева, но это не значит, что Шелепин остановится перед румынской или югославской границей или перед оппозицией переделкинской интеллигенции.

Из моих слов вы сделаете вывод, в котором есть сомнительная убедительность: если все так безнадежно, то зачем же бороться с советской властью, которую победить нельзя?

Когда в ночь с 13 на 14 декабря 1825 года на квартире Рылеева собрались люди, которые через несколько часов должны были вывести войска для насильственного изменения государственного строя, то они знали, что восстание кончится поражением, а сами они погибнут. Но через несколько часов они вышли. Восстание кончилось поражением, и они погибли. Люди, которые не вышли на площадь свергать монархию в России, говорили, что только безумцы могут пойти на верную смерть. Но нельзя представить себе, чем же была бы история России, если бы ее абсолютизму, ее монархизму не мешали безумцы, обреченные на поражение. Эти безумцы мешали абсолютизму вытоптать все живое. Советскую власть уничтожить нельзя. Но помешать ей вытоптать все живое можно. Только это мы в состоянии сделать. И это стоит того, чтобы бороться и умереть.

27 июня 1968 года — 10 сентября 1969 г.

*Соединенные Штаты Америки*





## ЖИВОПИСЬ КОНТРАПУНКТА

Как передать на холсте стон натянутых струн, рвущихся под ударами жестокого смычка? Или хрип микрофона в прокуренном джаз-клубе? Или взмах палочки старого дирижера, у которого один глаз — застывший, почти невидящий, другой — сверкающий вечной юностью?

Краски не могут передать звук, музыку, свист ветра в ушах. Краски и кисти могут только то, что они могут. Могут все...

Кто сказал, что эти картины двумерны? Они — запахнутые окна в удивительный мир. Вон из наших тесных домов и запруженных улиц! Угольно-черный жеребец несется по бушующей степи. «Воля!» На его спине, на скаку, влюбленная пара слилась в единое целое. Воля! Нет запретов для души художника, нет пределов!

Владимир Айтуганов: «Я всегда пишу фигуры обнаженными — как символ обнаженной души». Крик сердца перекрывает сонное бормотание обыденности, заставляет вздрогнуть, проснуться. Искусство — есть, оно рядом, оно живо.

Образы и персонажи картин рождаются из цветowych пятен. Ментальность композиций сродни необычности сюжетов и тем его работ. На репродукциях многие его картины выглядят гигантскими полотнами, хотя в действительности они интерьерного размера.

Айтуганов занимает особое место в современном искусстве. Трудно назвать близких ему авторов. Можно долго гадать, что где-то у кого-то, кажется, нечто подобное когда-то видели. Только что это, назвать не получается.

Айтуганов рисует с детства: первая персональная выставка была в Московском университете в 1976 году, когда ему было 18 лет. В Европе выставляется с 1983, в Штатах — с 1987. Музей Метрополитен в 1992 г. купил две его работы, одну художник подарил.

Как оказался Айтуганов в Америке? «Я уехал с женой и сыном в 1991. Не мог больше выносить ежедневное хамство на всех уровнях. Робкая надежда на цивилизованное движение России умерла скоро. Английский знал хорошо: учился в Москве в спецшколе и в университете. Несколько раз был в Америке с выставками, здесь появились друзья, которые помогли в первое время эмиграции. По сравнению с Европой, в Штатах нет такого национализма к приехавшим: здесь все эмигранты».

Отечественная живопись находится в странном положении в мире. Поколение советских нонконформистов 60-х годов сделало свое дело: показало Западу, что и в России творят абстракт, концепт и сюр. Запад ахнул и умилился: «Надо же, там есть что-то кроме реализма!» И продолжал ахать и холить нескольких художников, пока в Бруклин не понаехала толпа живописцев на все вкусы. Правда, мэтры 60-х уже заполнили арт-рынок гротескными носами, голово-задницами и дверьми коммунальных квартир. Искусства вот только не осталось, коммерция победила.

Поколению художников Владимира Айтуганова досталось трудное время, интерес к русскому искусству пропал как только оно перестало быть под запретом. Старые авангардисты, повторяя самих себя, плавно ехали на своей давней репутации, нового в их работах не было уже лет двадцать. Статус-кво оказалось достаточно удобным.

Перед российскими художниками в Америке, да и в самой России, стоит тяжкий выбор: стоит ли настаивать на своем искусстве или лучше идти по пути наименьшего сопротивления, взяв за образец что-нибудь из проверенного арсенала? Ответ многим хорошо известен: стену лбом не пробить, а постоянный заработок нужен всегда.

Анархист и хиппи 70-х, Айтуганов мало изменился за прошедшие двадцать пять лет. Его не переделали ни советская система, ни западная: индивидуализм в искусстве, неприятие толпы, отрицание авторитетов, надежда на себя и вера в свои силы. «Художник всегда один: группового творчества не бывает».

Когда мужчине сорок лет, он давно сформировался как личность и как художник. Это время наиболее плодотворной работы. Время, когда многое сделано и можно подводить предварительные итоги.

«Концерто Гроссо» — одна из самых трагических работ. Худой голый скрипач играет концерт на залитой кровью плахе. Гамма красок очень скупая: черная, белая и потеки алой крови. Освенцим, сталинские лагеря, термидор, «охота на ведьм»...

Жизнь часто бьет по ребрам. Можно сжаться от многочисленных ударов в комок, закрыть голову руками, зажмурить глаза, заткнуть уши. Что делать, если руки-ноги связаны (картина «Охота на иноходца»? Можно яростно сопротивляться, рычать и кусаться. А можно хохотать и издеваться над противниками.

«Никогда не сдавайся» — лучше всего подходит для картин Айтуганова с лошадьми. Вообще это не лошади, это — гуингмы Свифта. Их антропоморфность поражает. Глаза под спутанными гривами кажутся очень знакомыми. Их улыбки, боли, страсти близки вам. Неунывающий «Милый Друг» — насмешка в каждой черте, хочется сказать, лица. Розовый цвет кожи и темно-зеленая грива вполне соответствуют этому симпатяге с «конскими» зубами.

Шокирует «Автопортрет в образе лошади». Расставив передние ноги, Он уперся на своем, не сдвинуть Его с места никакой силой; ноздри широко раздуваются, глаза готовы выскочить из орбит от напряжения, хлопья пены кипят на искусанных губах.

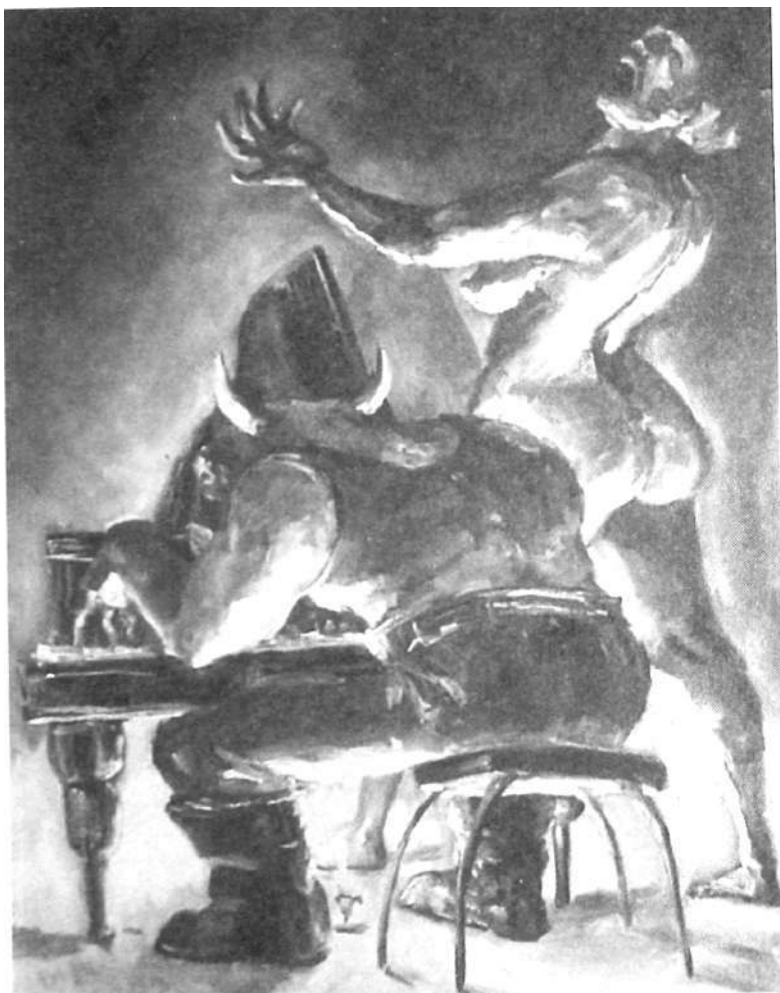
Айтуганов не может жить иначе: максимализм в искусстве и в жизни. Как результат — большинство собратьев по цеху сторонятся его. Он не ходит на всевозможные собрания, смеется над доморощенными союзами художников, не терпит посредственности и дилетантизма. В галереях всегда трудно выставлять работы Владимира с чьими-то еще — слишком сильное энергетическое поле они излучают.

Помогла ли художнику эмиграция в Штаты? «Здесь легче быть самим собой. Внутренне я был свободен всегда, мне нужно только место, где поставить мольберт. Здесь выживать не просто, но зато и работается свободнее. Можно концентрироваться на искусстве...».

*Петр Храмов*



«Соло на саксафоне», 1996  
36"х24", холст масло



**«Концерт», 1997  
28"х22", холст масло**



**«Кончерто Гроссо», 1996  
48"х30", холст масло**

292



**«Маленькая скрипочка», 1996  
36"х24", холст масло**



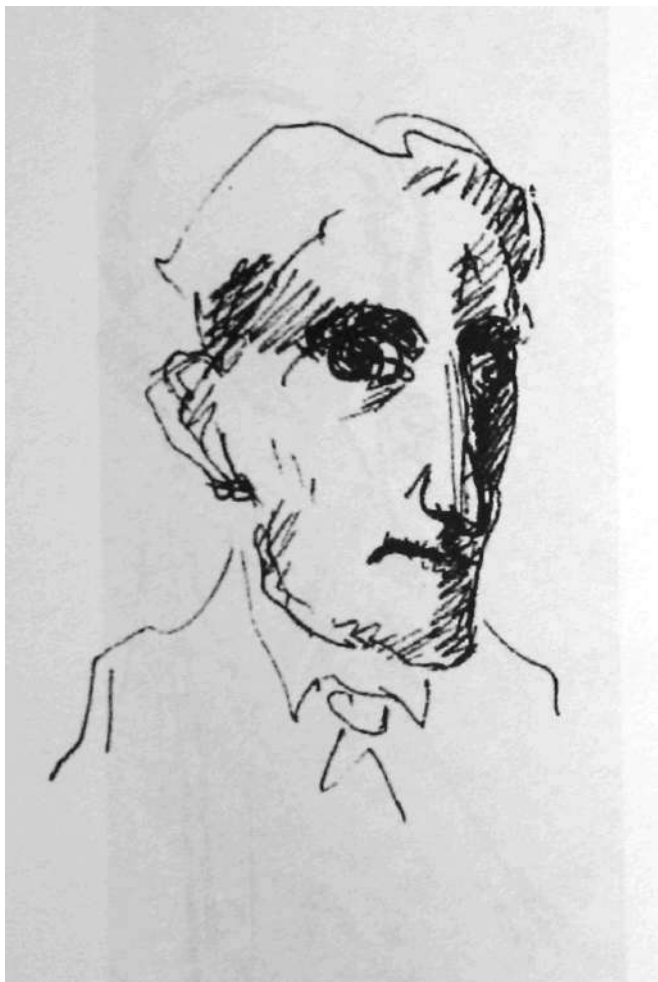
**«Дирижер», 1997  
50"х36", холст масло**



**«Милый друг», 1998  
50"х24", холст масло**



**«Лев Толстой», 1998  
тушь**



**«Александр Блок», 1998  
тушь, перо**



**«Саффо в пустыне», 1998  
тушь, перо**

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**Виктор ПЕРЕЛЬМАН.** Издатель и главный редактор журнала ««Время и мы». Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом московского радио, фельетонистом газеты «Труд», специальным корреспондентом и заведующим отделом «Литературной газеты». В 1973 году эмигрировал в Израиль, с 1973 по 1975 год был обозревателем израильской газеты «Аль Гамишмар». В 1975 году основал журнал «Время и мы». В 1981 году вместе с редакцией переехал в Соединенные Штаты Америки, где и живет в настоящее время. Автор книг «Покинутая Россия» (удостоена второй премии Иерусалимского университета), «Театр абсурда», романа «Грехопадение Цезаря».

**Юрий РЯБИНИН** родился в Москве в 1963 году. Окончил филологический факультет университета. Автор книги прозы «Операция доктора Снегирева» и многочисленных публикаций в периодической печати. В 1996 году за цикл опубликованных рассказов в газете «Литературная Россия» стал лауреатом премии этой газеты. Живет в Москве.

**Владимир ФРИДКИН.** Доктор физико-математических наук, профессор, является сотрудником института кристаллографии РАН, также профессором университетов в Тренто (Италия) и в Линкольне (США). Российскому читателю известен как автор двух книг о Пушкине и его времени — «Пропавший дневник

Пушкина», «Чемодан Клода Дантеса» и многих рассказов. На вопрос о том, как ему одновременно удается быть и физиком и лириком, В. М. Фридкин отвечает так: «Большинство людей использует только одно полушарие головного мозга, правое, ведающее искусством, или левое, отвечающее за рациональную сферу. Я выбрал более легкий путь, попеременно работая обеими».

Товий ХАРХУР — см. № 145

**Нина КРАСНОВА.** Родилась в Рязани, живет в Москве. Окончила Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей Москвы. Печаталась в журналах «Юность», «Москва», «Новый мир», «Дружба народов» «Время и мы» «Студенческий меридиан», «Крокодил», в альманахах «Поэзия» и «День поэзии». Автор шести книг стихов «Разбег» (М. «Советский писатель», 1979) «Такие красные цветы» (М. «Молодая гвардия», 1984) «Потеряное кольцо» (М. «Советский писатель») «Семейная неидиллия» (М. «ЛАВ», 1950) и др., а также одной книги прозы «Храм Андрея на виртуальном ветру» — субъективные заметки о творчестве Андрея Вознесенского (М. «Московский парнас», 1999)

**Джордж СОРОС.** Родился в Венгрии в 1930 году. Изучал философию в Лондоне под руководством Карла Поппера. В 1956 году переезжает в США. Становится обладателем крупного капитала и позже — всемирно известным финансистом. Будучи убежден, что российская система образования снискала славу одной из лучших в мире, Джордж Сорос выделил в помощь ученым стран СНГ 120 млн долларов

**Анна ГЕРТ.** Родилась в Харькове. Закончила московский экономический институт. Более 20 лет преподавала статистику в Алма-атинском институте народного хозяйства. Ее работы по экономике, статистике, и демографии регулярно публиковались и продолжают печататься в научных и массовых изданиях России и зарубежья.

**Андрей НУЙКИН.** Родился в 1931 году в Новосибирске. Закончил Новосибирский пединститут. Автор более девятнадцати книг и более пятисот газетных и журнальных статей, секретарь Союза писателей Москвы, член Комиссии по правам человека при президенте РФ. С 1993 по 1995 годы — депутат Государственной Думы (Комитет по образованию, культуре и науке).

**Владимир ШЛЯПЕНТОХ.** Один из основателей советской социологии в 60-е годы в России. Стал известным в стране своими национальными опросами общественного мнения в 60 — 70-е годы. В эти годы он опубликовал около 10 книг и множество статей, в частности в «Литературной газете». В 1972 году эмигрировал в США, где стал одним из ведущих экспертов по России. В частности, на протяжении многих лет он консультирует американское правительство по проблемам России. Работая по вопросам социологии в Мичиганском государственном университете, он опубликовал за время деятельности в Америке 12 книг и десятки статей. Его статьи печатались в New York Times, Washington Post и других ведущих американских газетах.

**Игорь ЗОЛОТУССКИЙ.** Родился в 1930 году в Москве. Автор книг «Час выбора», «Монолог с вариациями», «По следам Гоголя», «Гоголь» (в серии ЖЗЛ) и других. Живет в Москве.

**Владимир НОВИКОВ.** Родился в 1948 году в Омске. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Автор монографий о В. Каверине, Ю. Тынянове, В. Высотском, о литературной пародии, двух сборников критических статей. Выступал с лекциями в университетах Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, США, Швеции.

**Борис ХАЗАНОВ** — читайте публикацию.

**Джон ГЛЭД** — читайте публикацию.

**Владимир БАТШЕВ.** Журналист и писатель, главный редактор журнала «Литературный европеец». Активный участник правозащитного движения. В прошлом — член общества «СМОГ». За активное участие в диссидентском движении отбывал наказание в лагерях ГУЛАГА.

**Н. БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА.** Критик и литературовед. Наиболее известный издатель и публикатор Аркадия Белинкова. Окончила московскую аспирантуру. В 1970 году вместе с мужем Аркадием Белинковым бежала на Запад. После его смерти подготовила публикации наиболее крупных его вещей: «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», «Черновик чувств» и ряд других работ, при подготовке которых широко использовались архивы КГБ.

**Аркадий БЕЛИНКОВ** — крупнейший публицист и критик XX века. За антисоветскую деятельность был заключен на девять лет в лагеря Гулага. В 1970 году вместе с женой Н.Белинковой-Яблоковой бежал на Запад. Преподавал в ряде американских университетов. Автор книг «Юрий Тынянов», «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», «Черновик чувств» и многих других.



# ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

Ежемесячный журнал Союза русских писателей  
в Германии

Postfach 800833

65929 Frankfurt am Main, Germany

Выходит с апреля 1998

ПРОЗА\*ПОЭЗИЯ\*ПУБЛИЦИСТИКА\*ИСТОРИЯ  
МЫ И ЛИТЕРАТУРА\*ВОСПОМИНАНИЯ  
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГУЛКИ\*АРХИВ\*ЮМОР  
ИСКУССТВО ПЕРЕВОД\*РЕЦЕНЗИИ  
СТРАНИЦА РЕДАКТОРА\*ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ФОТО\*РИСУНКИ

Издатель — *Союз русских писателей в Германии*

Редактор — *Владимир Батшев*

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ**

единственный ежемесячный

литературный журнал в Европе

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ**

журнал не только русских писателей в Германии  
и Европе, но и русских читателей в мире

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ**

единственное независимое ни от кого издание,  
которое издается сугубо на деньги подписчиков

**ПОДПИСКА на 12 номеров с любого месяца**

(с доставкой)

**В США - 72 \$**

**Konto-** Frankfurter Sparkasse: Verband russische  
Schriftsteller 652482 BLZ 500 502 01

## ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 2000

### Установлены следующие условия подписки:

Стоимость годовой подписки — 63 доллара, с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 98 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка на Западе оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. Чеки высылаются в адрес корпорации "Время и мы" по следующему адресу:

409 Highwood Ave, Leonia, New Jersey 07605, USA  
Тел.: (201) 592-61-55

### Подписной талон

Фамилия.....

Имя.....>.....

Адрес.....<.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы"  
на.....год.

Высылать с номера..... Журнал высылается обычной  
(авиа) почтой по адресу:

Подпись.....

*Редакция оставляет за собой право давать  
в отдельных случаях скидки в размере до 50 %  
от стоимости подписки.*

304

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605

USA (201) 592-61-55

На первой странице обложки:  
работа Вагрича Бахчаняна

На четвертой странице обложки:  
Владимир Айтуганов: «Крещендо»

Верстка "Новое время", тел. 229-23-26

Электронный вывод и печать в ППП «Типография «Наука»  
121099, Москва, Шубинский пер., 6.

Заказ № 248



